

87. 3

В 51

Проф. Р. Випперъ.

# ДВѢ ИНТЕЛЛИГЕНЦІИ

и

## ДРУГІЕ ОЧЕРКИ.

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ И ПУБЛИЧНЫХЪ ЛЕКЦІЙ.

1900—1912.

Цѣна 1 руб.



















Проф. Р. Випперъ.

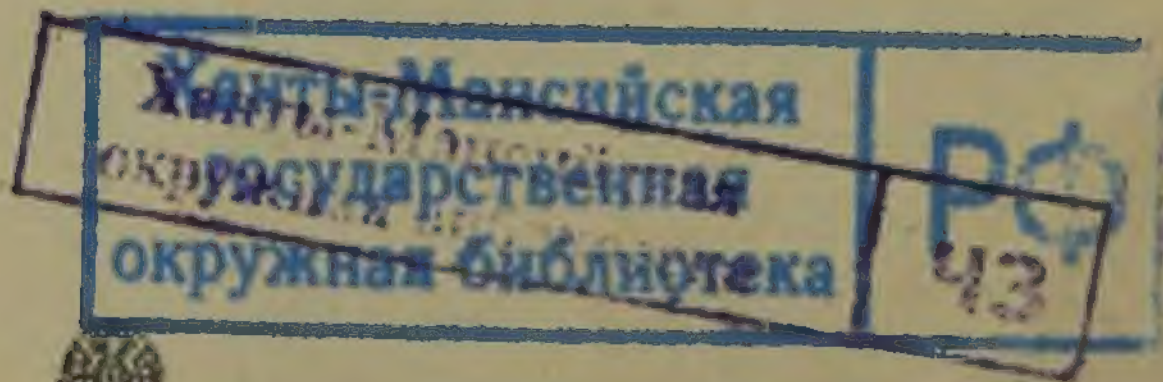
# ДВѢ ИНТЕЛЛИГЕНЦІИ

и

ДРУГІЕ ОЧЕРКИ.

СБОРНИКЪ СТАТЕЙ И ПУБЛИЧНЫХЪ ЛЕКЦІЙ.

1900—1912.



Типо-литогр. Т-ва И. Н. КУШНЕРЕВЪ и К<sup>с</sup>. Пименовская ул., с. д.  
МОСКВА—1912.

-044.717-

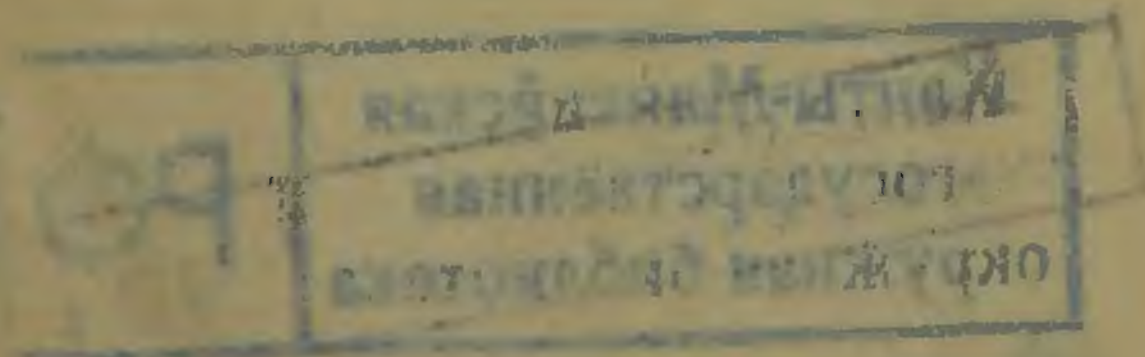
George F. Bennett

# THE NINETEENTH

CENTURY

GEORGE F. BENNETT

1891-1892





## ПРЕДИСЛОВІЕ.

---

Въ настоящемъ сборникѣ соединены статьи и публичныя лекціи, помѣщенные за время 1900 — 1910 гг. въ различныхъ, большею частью періодическихъ, изданіяхъ. Только заглавная статья нигдѣ не была напечатана.

Очерки посвящены темамъ весьма различнымъ, но авторъ очень живо чувствуетъ ихъ взаимную связь между собою. Въ нихъ отражаются большею частью очередные общіе вопросы исторической науки, съ которыми приходилось встрѣчаться въ ходѣ занятій надъ реальнымъ матеріаломъ исторіи. Иное удалось обработать въ болѣе систематической и обстоятельной формѣ. То, что остается пока въ видѣ набросковъ и статей, авторъ считалъ возможнымъ воспроизвести еще разъ въ качествѣ, до известной степени, лѣтописи тѣхъ направленій научнаго интереса, которымъ онъ слѣдовалъ.

Москва, мартъ, 1912 г.

---



## ОГЛАВЛЕНІЕ.

	<i>Стр.</i>
1. Двѣ интеллигенціи. Историческая фантазія. 1912 г. . . . .	1
<hr/>	
2. Нѣсколько замѣчаній о теоріи историческаго позна- нія. („Вопросы Философіи и Психологіи“, 1900 г., май— іюнь.) . . . . .	26
3. Либерализмъ и первая историческая формула борь- бы классовъ. („Міръ Божій“, 1901 г., мартъ.) . . . .	62
4. Психологія театра. Публичная лекція, прочитанная въ Москвѣ 26 ноября 1901 г. („Міръ Божій“, 1902 г., февраль.)	110
5. Новыя направленія въ философіи общественной науки. („Міръ Божій“, 1903 г., ноябрь.) . . . . .	141
6. Символизмъ въ человѣческой мысли и творествѣ. Публичная лекція, прочитанная въ Москвѣ 27 ноября 1904 г. („Русская Мысль“, 1905 г., февраль.) . . . . .	176
7. Общественно - историческіе взгляды Грановскаго. Къ пятидесятилѣтію смерти. („Міръ Божій“, 1905 г., ноябрь.) . . . . .	210
8. Новые горизонты въ исторической наукѣ. („Современ- ный Міръ“, 1906 г., ноябрь.) . . . . .	234
9. Реакціонный идеализмъ и новая наука. („Современный Міръ“, 1908 г., іюль.) . . . . .	262
10. Нѣсколько замѣчаній о происхожденіи церкви. (Изъ сборника статей, посвященныхъ В. О. Ключевскому.) . .	280
11. Сумерки людей. Публичная лекція, прочитанная въ Мо- сквѣ 27 января 1910 г. („Русское Богатство“, 1910 г., май.)	297



## Двѣ интеллигенціи.

(ИСТОРИЧЕСКАЯ ФАНТАЗІЯ.)

Всѣмъ извѣстна книга, въ которой собраны жестокія обвиненія и нападки на русскую интеллигенцію. Нашлись представители самой интеллигенціи, безповоротно осудившіе все, что до сихъ поръ сдѣлано классомъ образованныхъ людей: всѣ его идеалы, желанія, цѣли, программы, пріемы и наклоны мысли. Все это было признано самообманомъ и грѣхомъ, въ которомъ надо каяться, и судьи сами показали примѣръ покаянія. Они намъ сказали затѣмъ ясно, что, по ихъ мнѣнію, хорошо и что дурно, что должна была дѣлать интеллигенція и что дѣлать ей не слѣдовало. Она оказалась виновата въ томъ, что любила справедливость больше, чѣмъ истину, т.-е. (какъ пришлось разъяснить непосвященнымъ) больше занималась наукой и общественными вопросами, чѣмъ метафизикой и религіознымъ созерцаніемъ. Въ другой версіи, болѣе рѣзкой, интеллигенціи ставилось въ вину то, что она искала удовлетворенія нуждъ народа, заботилась объ интересахъ большинства, о матеріальномъ устроеніи и умственномъ просвѣщеніи массы вмѣсто того, чтобы углубляться въ личное самоусовершенствованіе, культивировать индивидуальныя сокровища души.

Принеся покаяніе, обвинители, кажется, увѣрились, что

сами они уже не принадлежать болѣе къ грѣховной и жалкой средѣ, называемой интеллигенціей. Чтобы не остаться одинокими, они поспѣшили обезпечить за собой нѣсколько блестящихъ историческихъ именъ и объявили, что русскіе великіе писатели не были интеллигентами. Это уже было ненужнымъ преувеличеніемъ основной мысли обвиненія. Не ясно ли въ самомъ дѣлѣ, что строгіе судьи вовсе не хотятъ сами себя выключать отъ умственной культуры, что они скорѣе себя считаютъ интеллигенціей, но только интеллигенціей истинной, стоящей на правильномъ пути, тогда какъ въ своихъ осуждаемыхъ противникахъ они видятъ несчастныхъ, заблудшихъ или злонамѣренно соскользнувшихъ съ этого пути?

Можно не соглашаться съ такими оцѣнками, но отчего не признать правильности самого дѣленія, проведеннаго обвинителями? Не стоятъ ли дѣйствительно другъ противъ друга двѣ интеллигенціи, взаимно враждебныя и въ корнѣ несогласныя между собою? И не было ли такъ всегда? Не встрѣтились ли мы съ фактомъ почти исконнымъ въ культурной исторіи? Можетъ быть, даже содержаніе новѣйшихъ нападокъ очень старо и представляетъ повтореніе унылыхъ мотивовъ упадочной поры, сказанныхъ давно по другимъ поводамъ и въ другой общественной средѣ? Невольно вспоминаются бесѣды и споры въ старинномъ культурномъ обществѣ Греціи. У насъ сохранились такія яркія свидѣтельства этой эпохи, что не надо большой игры фантазіи, чтобы вообразить ея жизнь; достаточно связать вмѣстѣ дошедшіе пестрые обрывки.

---

Въ 443 г. до Р. Х. въ синихъ водахъ Тарентинскаго залива было замѣтно необыкновенное оживленіе. Къ берегу, гдѣ когда-то стоялъ извѣстный своимъ роскоше-



ствомъ Сибарисъ, разрушенный и дотла сожженный воинственными сосѣдями, подъѣзжали большія пассажирскія суда, подвозившія новыхъ поселенцевъ со всѣхъ концовъ тогдашней Греціи. Вотъ пріѣхала партія аркадскихъ виноградарей; дома они едва перебивались на своихъ карликовыхъ надѣлахъ; они слышали отъ ходоковъ и пріѣзжихъ изъ южной Италіи, что земля тамъ плодородія необычайнаго; особенно хорошо растетъ виноградъ на склонахъ, залитыхъ лавой старинныхъ вулканическихъ изверженій. Вотъ приближается тріера аѳинской республики; еще нѣсколько взмаховъ длиннѣйшихъ веселъ въ ударъ такта, выбиваемаго молоткомъ по деревянному барабану, и корабль плавно и ловко поворачиваетъ къ пристани: онъ привезъ мастеровъ, работающихъ художественно разрисованную посуду. Вся Италія покупаетъ аѳинскія вазы съ красными и черными фигурами, и кустари хотятъ устроить свои мастерскія поближе къ сбыту. А тамъ подъѣзжаетъ артель каменщиковъ, большею частью уроженцевъ Малой Азіи, и во главѣ ихъ знаменитый по всей Греціи архитекторъ и инженеръ Гипподамъ Милетскій: его рекомендовали итальянскимъ новоселамъ аѳиняне, для которыхъ онъ построилъ новый портъ. Гипподамъ много путешествовалъ и изучалъ большіе города богатаго Востока. Онъ—рѣшительный противникъ старинной стройки, гдѣ дома загораживаютъ другъ другу свѣтъ Божій и тѣсняются въ узкихъ, извилистыхъ переулочкахъ; его городской планъ—широкіе проспекты, прямые перекрестки, просторныя и красивыя общественныя зданія.

Кто же основатели этой пестрой колоніи? Что сплочиваетъ вмѣстѣ такіе разнородные элементы?

Передъ нами—предпріятіе, совершенно рѣдкостное, и можетъ быть, ему найдется только одна аналогія въ исто-

ріи человечества. Уроженцы разныхъ греческихъ городовъ и областей, граждане различныхъ независимыхъ общинъ рѣшили отправить колонистовъ изъ своей среды, снабдить ихъ всѣмъ необходимымъ и устроить новый большой поселокъ по всѣмъ правиламъ техники, гигиены и политическаго искусства, согласно требованіямъ разума и общественной справедливости. Такая горячая увѣренность въ исполнимости разъ задуманной общественной цѣли повторилась развѣ только еще въ XVIII вѣкѣ, когда европейскіе строители жизни привѣтствовали американскихъ борцовъ за независимость, когда сдавленные старымъ порядкомъ европейскіе публицисты думали, что въ Америкѣ, на новой почвѣ, далеко отъ предразсудковъ, отъ неравенства и несправедливости старой Европы удастся устроить разумное, здоровое общество.

Мы должны перенестись мыслью въ вѣкъ демократіи, среди котораго всеобщее вниманіе приковала къ себѣ великая аѳинская республика, такъ что современному историку само слово «народоправство» казалось великолѣпнымъ звукомъ. Новая община, которая зовется Θυρίи, строить свою жизнь при полной свободѣ слова; всѣ частности управленія проходятъ подъ контролемъ общественнаго мнѣнія. И вотъ теперь, когда предстоитъ организовать судъ, выборная администрація Θυρίи устроила для всеобщаго освѣдомленія гражданъ публичную лекцію съ преніями.

Прямо противъ главнаго проспекта, на возвышеніи, съ котораго открывается красивый видъ на долину рѣки и на заливъ, Гипподамъ построилъ большой портикъ. Въ длинныхъ крыльяхъ открытой галлерей, по обѣ стороны срединнаго большого зала, вдоль безконечнаго ряда колоннъ, помѣстились лавки и выставки товаровъ; въ днев-



ные часы здѣсь скрываются отъ палящихъ лучей солнца покупатели, дѣловые люди и всѣ, кто хочетъ отдохнуть или поболтать. Надъ центральнымъ павильономъ крыша поднимается въ видѣ купола: подъ нимъ эстрада, окруженная широкимъ амфитеатромъ каменныхъ скамей. Это—мѣсто для общедоступныхъ собраній всякаго рода, концертовъ, декламацій, публичныхъ бесѣдъ.

Шумно привѣтствуетъ масса лектора, поднимающагося на кафедру. Это—составитель свода законовъ Θурій, Протагоръ.

Уроженецъ маленькой Абдеры, городка далекой Θракіи, Протагоръ получилъ извѣстность по всей Греціи, какъ странствующій профессоръ. Говорятъ, стоитъ ему пріѣхать въ Аѣины, и уже на другой день вѣсть о его прибытіи распространяется среди интеллигенціи, жадной до науки. Молодые и старые почитатели его таланта собираются съ ранняго утра и осаждаютъ домъ богатаго Каллія, гдѣ остановился Протагоръ. Привратникъ прячется и перестаетъ открывать двери непрерывно нарастающей толпѣ посѣтителей. Въ обширной внутренней галлерей у Каллія уже идетъ бесѣда: лекторъ, прохаживаясь, излагаетъ предметъ. Онъ потомъ усядется среди аудиторіи и будетъ отвѣчать на задаваемые вопросы. И эти внимательные слушатели, безконечные и настойчивые вопрошатели, непокорные спорщики, не устаютъ проводить такъ день за днемъ весь сезонъ, въ теченіе котораго Протагоръ излагаетъ свой курсъ.

Въ данный моментъ въ Θуріяхъ Протагоръ долженъ говорить на тему о значеніи свободы и принужденія въ дѣлѣ общественнаго воспитанія: на чемъ построить общежитіе, на доброй и благородной природѣ человѣка, или на системѣ запретовъ и устрашеній? Протагоръ выска-



зывается противъ практики тяжкихъ наказаній за проступки.

«Мы, граждане, не дикари болѣе, которые мстятъ несчастному подсудимому и отплачиваютъ око за око, зубъ за зубъ. Казни и увѣчья въ отместку за злое дѣло безсмысленны. Все равно не исправишь и не вернешь назадъ совершившагося. Наказаніе можетъ имѣть только одинъ смыслъ—предупредить другихъ людей, остановить возможные будущіе проступки. Но я не буду вамъ доказывать, граждане, что наказанія воспитываютъ людей. Нѣтъ, въ насъ вложено отъ природы сознаніе правды и неправды. Старая сказка говоритъ, что верховный Богъ сотворилъ людей глубоко различными во всемъ, начиная отъ роста и цвѣта волосъ и кончая дарованіями, но одно вложилъ имъ всѣмъ въ одинаковой мѣрѣ—совѣсть. Спросите любого человѣка: всякій готовъ признаться въ той или иной слабости, недостаткѣ, въ неумѣніи сдѣлать что-нибудь; но никто никогда не скажетъ, что у него нѣтъ совѣсти, что онъ не умѣетъ различить добра и зла. Однако внутренній голосъ можетъ заглухнуть тамъ, гдѣ люди служатъ изменнымъ влеченіямъ, гдѣ одни высокомерно царятъ наподобіе боговъ, а другіе пресмыкаются передъ ними. Напротивъ, тамъ, гдѣ общежитіе основано на справедливомъ равенствѣ, гдѣ нѣтъ ни трутней, ни пригнетенныхъ къ труду рабовъ, тамъ врожденное чувство правды крѣпнетъ и громко говоритъ устами самыхъ простыхъ людей. И вотъ почему правы аѳиняне,—говоритъ лекторъ, обратясь въ сторону группы мастеровъ-переселенцевъ изъ Аѳинъ,—когда они рѣшаются допустить къ политикѣ, т.-е. сужденію объ интересахъ общихъ, и кузнецовъ, и кожевниковъ, и ткачей, и вообще людей ручного труда, наравнѣ съ эстетически развитыми богачами».

Съ интересомъ ждетъ теперь масса слушателей, что скажетъ поднявшійся съ мѣста странный человѣкъ въ ярко-красномъ плащѣ съ какимъ-то восточнымъ тюрбаномъ на головѣ. Это очень извѣстный врачъ и натуралистъ Эмпедоклъ изъ Акраганта въ Сициліи. Удивительныя вещи рассказываютъ про него. Онъ необычайно богатъ, но живетъ крайне просто; вѣчно онъ переѣзжаетъ изъ города въ городъ. Въ Селинунтѣ онъ устроилъ на свой счетъ канализацію и избавилъ городъ отъ вредныхъ испареній болотистой низины, заражавшей округу лихорадками. Онъ любитъ, пріѣхавши въ городъ, спросить списокъ бѣдныхъ дѣвушекъ и раздавать имъ приданое. Эмпедоклъ лѣчитъ даромъ, и какъ лѣчитъ! всѣ знаютъ, что онъ воскресилъ изъ летаргіи женщину въ Акрагантѣ. Но еще чуднѣе, что онъ гипнотизировалъ музыкальными мелодіями молодого человѣка, котораго охватила манія убить своего соперника, и удержалъ его такимъ способомъ отъ преступленія. Говорятъ, у него на краю кратера Этны башня съ обсерваторіей, и онъ не боится смотрѣть въ глубь вулкана. Кто-то пустилъ однажды слухъ, что Эмпедоклъ заплатился за свое любопытство. Богъ огненной пучины разсердился будто бы на его безцеремонное заглядываніе и затащилъ ученаго въ свой кипящій котелъ, но выбросилъ назадъ его мѣдную подошву, подбитую какими-то мудреными гвоздями.

Эмпедоклъ любитъ парадоксы и анекдоты.—«Вашъ лекторъ, граждане, умнѣйшій и ученѣйшій человѣкъ, но не всѣ таковы на его родинѣ, въ маленькой Абдерѣ. Это—глухой городишко, гдѣ обыватели ограничены узкимъ кругозоромъ и больше всего на свѣтѣ боятся колдуновъ. Когда я пріѣхалъ туда, и въ городѣ узнали, что я врачъ, меня тотчасъ же отправили забрать опасно



больного человека, который явно помѣшался въ умѣ, такъ что его только оставалось посадить на цѣпь въ домѣ сумасшедшихъ. Я прошелъ въ небольшой внутренній дворикъ, гдѣ сидѣлъ указанный больной. Онъ былъ обложенъ книгами, костями животныхъ, стеблями растеній и т. д. и быстро записывалъ что-то, приложивъ листокъ на согнутое колѣно. Привѣтливо попросилъ онъ меня садиться, и мы сразу разговорились. Я скоро понялъ, что имѣю дѣло съ великимъ ученымъ и мыслителемъ. Это былъ Демокритъ, и съ того дня началось мое знакомство съ нимъ. Я объяснилъ абдеритамъ, что этотъ ученый—благословеніе небесъ ихъ городу. Вотъ, граждане, не вводите въ свой уголовный сводъ статьи противъ колдуновъ, а то рискуете сжечь у себя новаго Демокрита».

Изъ среды слушателей выступаетъ коринѳскій горшечникъ и заявляетъ: «Нѣтъ, Эмпедоклъ, не бойся, у насъ въ Θуріяхъ не будутъ притѣснять людей науки. Изслѣдуйте все на свѣтѣ, изучайте все живое и мертвое и на землѣ, и подъ землей, и даже занимайтесь астрономіей!»

«Какой же ты великодушный!—шутить Эмпедоклъ:—даже астрономіей! Все-таки, видно, что ты считаешь астрономію немного подозрительной. Но ты можешь успокоиться. Люди, проникающіе въ тайны небеснаго міра, такъ же свободны отъ всякихъ злыхъ помысловъ, какъ и мы, врачи, а ты вѣдь не боишься насъ. Не ослѣпляютъ себя мыслью, что блескъ вѣчныхъ свѣтилъ, что явленія небесныя отъ насъ далеки, чужды намъ. Вся вселенная, всѣ существа, большія и малыя, состоятъ изъ однихъ и тѣхъ же основныхъ стихій: земли, воды, воздуха и огня, которыя въ видѣ малѣйшихъ частицъ кружатся вихремъ, смѣшиваются между собою и образуютъ предметы живого міра. Двѣ силы управляютъ этими смѣне-

ніями, Любовь и Ненависть, притяженіе и отталкиваніе. Солнце и звѣзды состоятъ изъ тѣхъ же элементовъ, что и люди. И въ насъ есть искра, занесенная изъ вышняго міра. Это—нашъ духъ, улетающій въ моментъ смерти. Онъ не исчезнетъ безслѣдно, и раньше, чѣмъ вселиться въ меня, онъ оживлялъ другія существа, жилъ въ птицѣ, въ деревѣ, былъ въ другомъ человѣкѣ, жилъ 1000 лѣтъ тому назадъ».

Эмпедоклъ, по обыкновенію, увлекся и ушелъ отъ предмета бесѣды. Слѣдующій ораторъ намѣренъ вернуть слушателей на почву дѣйствительности. Это—Геродотъ, прославленный путешественникъ, побывавшій въ глубинѣ Азіи, на Нилѣ у египетскихъ пирамидъ и на далекихъ берегахъ Чернаго моря, въ странѣ полуночныхъ холодовъ. Горячій сторонникъ свободы и равенства, «чудесныхъ словъ для греческаго уха», Геродотъ однимъ изъ первыхъ записался въ гражданство города Θυρίи.

«Ученіе о переселеніи душъ, которое ты намъ изложилъ, Эмпедоклъ, я слышалъ въ Египтѣ, у тамошнихъ ученыхъ священниковъ. На востокѣ многіе вѣрятъ въ жизнь за гробомъ. Я видѣлъ картину, гдѣ изображена судьба человѣческой души въ другомъ мірѣ. Тамъ сидитъ грозный богъ на тронѣ наподобіе царя, допрашиваетъ умершаго о всѣхъ дѣлахъ, совершенныхъ при жизни. Особый секретарь пишетъ подробную лѣтопись. Затѣмъ Судья рѣшаетъ верховно и безповоротнo, кого отдать на вѣчныя муки и кому дать вѣчную же награду. Вы спросите меня, видѣлъ ли я пользу отъ такого вѣроученія? Не сдерживаетъ ли людей отъ пороковъ и преступленій страхъ передъ вѣчнымъ Судіей и его гнѣвомъ? На это я отвѣчу вамъ. Люди вездѣ одинаковы, они руководятся разумомъ или страстями. Различны обычаи, и здѣсь человѣкъ дер-



жится крѣпко своего, хотя бы и нелѣпаго, порядка, а все чужое ему непріятно или смѣшно. Вѣдь вамъ, грекамъ, было бы странно рисовать себѣ бога всемогущимъ деспотомъ; а жители азіатской державы, которые дрожатъ передъ властными рѣшеніями своего самодержца, и бога не могутъ себѣ представить иначе, какъ въ образѣ своего страшнаго царя, чуждаго имъ въ своемъ величіи, загороженнаго отъ нихъ въ своихъ сверкающихъ чертогахъ. И разъ ихъ царь тоже считается богомъ, имъ трудно даже сказать, который изъ боговъ выше, небесный или земной. Однако, несмотря на угрожающій гнѣвъ двухъ властителей, люди тамъ не живутъ по правдѣ; мысль о вѣчныхъ мукахъ за гробомъ не удерживаетъ ихъ отъ злодѣяній, отъ воровства и нанесенія обидъ ближнимъ».

Послѣ Геродота проситъ слова строитель города, Гипподамъ. Онъ предостерегаетъ гражданъ отъ ученій, усыпляющихъ здоровую волю человѣка и затуманивающихъ ясныя требованія разума. «Великій знатокъ жизни человѣческаго тѣла увѣрялъ васъ, что въ брэнной оболочкѣ временно живетъ нѣчто постороннее, божественное. Мнѣ кажется такой взглядъ очень страннымъ. Представьте себѣ арфу, изъ струнъ которой извлекается чудесная гармонія звуковъ. Арфу разбили, струны ея порвали; неужели вы будете теперь искать, куда улетѣла ея гармонія? Развѣ вы рѣшитесь сказать: вотъ въ арфѣ дерево, металлическія пластинки и т. д. образуютъ грубую, ломкую, портящуюся и гніющую матерію; но съ нею ничего общаго не имѣетъ божественная вѣчная чистая гармонія; освободясь отъ плоти, она продолжаетъ жить, она даже стала свободнѣе? Развѣ не ясно всякому, что гармонія и есть живая цѣлая арфа? И развѣ не такъ же смѣшно дѣлить человѣка на брэнное тѣло и божественную душу?»

«Нѣтъ, человѣкъ и его жизнь, въ моихъ глазахъ,—неразрывное цѣлое. И самое въ немъ цѣнное—его гордость, его жажда знанія и дѣятельности, его честь и достоинство, его независимость и чувство свободы. А вотъ мой совѣтъ, граждане, въ томъ дѣлѣ, которое вы теперь обсуждаете. Вы не забыли въ сводѣ судебныхъ законовъ обезпечить имущество отъ несправедливыхъ захватовъ; вы поставили наказанія за тѣлесныя обиды и за самое тяжкое дѣло, за убійство. Вы еще не оградилъ этимъ личности. Составьте третій отдѣлъ рядомъ съ гражданскими и уголовными законами, постарайтесь оградить судомъ честь и достоинство человѣка. Пусть ваши законодатели подумаютъ о томъ, какъ всего лучше обезпечить человѣку его независимость, безцѣнное благо его свободной личности».

Пренія закончены. Поднимается предсѣдатель собранія, городской голова, и благодаритъ лектора и участниковъ бесѣды. Онъ приглашаетъ ихъ затѣмъ въ качествѣ почетныхъ гостей на музыкальное празднество, которое дають въ большой новой палестрѣ спартанцы.

Здѣсь публика разсаживается на уступахъ амфитеатра уже подъ открытымъ небомъ. Выступаютъ нѣсколько хоровъ, которые поютъ, и чередуясь, и сливаясь вмѣстѣ въ гармоніи могучей пѣсни. Потомъ хористы раздѣляются на группы и подхватываютъ небольшіе щиты; подъ звуки флейтъ они мѣрно поворачиваются и образуютъ правильную сѣть, движущіяся гирлянды, которыя очень красивы, если смотрѣть сверху. Вотъ музыка становится громче, темпъ быстрѣе, присоединяется бубенъ; танцоры притопываютъ, поворачиваются скорѣе и скорѣе, наконецъ смѣшиваются въ общемъ вихрѣ. Но изъ хаоса выдѣляется что-то похожее на спираль, и она развертывается въ ши-



рокій кругъ. Танецъ замедляется, огромный кругъ дѣлится на кружки, и танцоры заканчиваютъ плавными красивыми движеніями.

Зрители въ восторгѣ. Взоры всѣхъ обращены на командира Θурій, съ которымъ пріѣхали спартанскіе воины-хористы. Клеандридъ, мало разговорчивый, какъ всѣ спартанцы, подходитъ къ Гипподаму и Протагору и говоритъ имъ: «Я внимательно слушалъ вашу бесѣду и прибавилъ бы только одно. Смотрите на моихъ спартанцевъ. Эти согласные хоры и пляски—большое наслажденіе для участвующихъ и для зрителей; но въ нихъ также могучее средство для выработки товарищескаго чувства. Человѣку нужна правильная очередь звуковъ и движеній такъ же, какъ ему нужно общество себѣ подобныхъ: тогда онъ не скучаетъ, тогда онъ готовъ исполнять самыя трудныя дѣла, тогда у него исчезаютъ дурные помыслы, зависть и мелкое самолюбіе. Старайтесь привить всѣмъ гражданамъ охоту къ спорту, музыкѣ, хороводамъ и большимъ общимъ играмъ. Вы много вольтете здоровой крови въ жизнь общества».

---

Мы видѣли интеллигенцію въ старинной Греціи на службѣ общаго дѣла, въ свободной демократической средѣ. Очень скоро вырастетъ другая интеллигенція въ иной роли и въ иной обстановкѣ.

Нѣсколько десятилѣтій спустя послѣ рассказанныхъ происшествій порядки въ Греціи рѣзко измѣнились. Долгая изнурительная междоусобная война разстроила почти всѣ демократическія общины. Сама великая аѳинская республика рушилась, потеряла свой непобѣдимый флотъ, своихъ смѣлыхъ моряковъ, всѣ заморскія владѣнія, всѣ

богатства, на которыхъ основывалась ея мощь. Въ критическій моментъ, когда истощилась внѣшняя сила аѳинскаго народа, объявились у него и внутренніе враги. Всѣ недовольные долгимъ преобладаніемъ «мореходной черни» сплотились вмѣстѣ. Два раза пытались «порядочные люди», какъ они называли себя сами, произвести государственный переворотъ и закрыть большія народныя собранія. Отъ этихъ попытокъ страшной памятью осталось краткое господство «тридцати тирановъ». Но все-таки въ Аѳинахъ порядочныхъ людей преслѣдовала неудача. Народъ возстановилъ опять равенство, свободу слова, отвѣтственность должностныхъ лицъ.

Тогда врагамъ демократіи осталось только эмигрировать. Кстати, обѣднѣвшая республика уже не въ силахъ была хорошо оплачивать своихъ офицеровъ, капитановъ, намѣстниковъ. И вотъ военные таланты и всякіе честолюбцы нанимаются на службу къ азіатскимъ и египетскимъ князьямъ и къ самому великому царю персидскому. Не всѣ однако ушли изъ Аѳинъ. Вѣдь сколько ни бранили они плебейскій городъ, гдѣ чернорабочіе не уступаютъ на улицѣ прилично одѣтымъ франтамъ, а все-таки нигдѣ на свѣтѣ нельзя найти столько удобствъ и удовольствій, какъ въ культурной столицѣ Греціи. Чего стоитъ несравненный театръ Аѳинъ! Какіе превосходные парки и сады на окраинахъ! Какой пріѣздъ иностранцевъ, какой подвозъ деликатесовъ и рѣдкостныхъ товаровъ со всѣхъ концовъ свѣта! Выдающіеся лекторы и ученые, знаменитые виртуозы попрежнему цѣнятъ больше всего воспримчивую аѳинскую публику.

Но пользуясь всѣми пріятностями аѳинской жизни, люди высшей породы продолжаютъ брюзжать и нервничать, проклиная прошлое и современность того города, въ ко-



торомъ они имѣли несчастіе родиться. Они собираются въ тѣсныя кружки, передаютъ другъ другу свои интимныя чувства и вырабатываютъ основы новаго міропониманія и новаго справедливаго общественнаго порядка, въ которомъ уже конечно просвѣтленныя высокія личности безраздѣльно будутъ царить надъ темнымъ, грубымъ, неосмысленнымъ людомъ.

Въ одномъ изъ этихъ кружковъ, члены котораго сходятся въ тѣнистомъ паркѣ гимнастической школы, называемой Академіей, необыкновеннымъ авторитетомъ пользуется Платонъ, ученый съ большимъ поэтическимъ дарованіемъ. Платонъ родомъ изъ богатой семьи и любитъ намекать на то, что его духовный отецъ—аристократическій богъ Аполлонъ. Вкусы и взгляды Платона совершенно лишаютъ его возможности выступить передъ вольнолюбивымъ плебействомъ Аѳинъ. Онъ ничего не имѣетъ сказать массѣ, боится ея и оправдываетъ свою вынужденную замкнутость и отреченіе отъ политики презрѣніемъ къ толпѣ.

Въ интимномъ кружкѣ, напротивъ, съ увлеченіемъ слушаютъ его драматическіе монологи. Вотъ онъ обрушивается на дѣятелей великой эпохи Аѳинъ: на Мильтіада,Themistocles, Перикла. Кто были эти прославленные вожди и радѣтели народа? Развѣ это были истинно просвѣщенные люди, обладавшіе глубиной знаній? Нѣтъ, это были только ораторы, мастера вкрадчивой и очаровывающей обманной рѣчи. вмѣсто того, чтобы воспитать народъ къ умѣренности и самоотреченію, они настроили гаваней и верфей, воздвигли крѣпостныя стѣны, навезли въ городъ пошлинъ, дани и товаровъ и избаловали народъ всею этою мишурой. Они разбудили злые аппетиты въ простомъ людѣ, они устроили ему вѣчный праздникъ

и пиръ. Но отъ этого угощенія народный организмъ не напился здоровой пищи, а лишь вздулся болѣзненно и покрылся внутри невидимыми язвами и нарывами. Нѣтъ, это были великіе развратители народа, они загубили заложенные въ немъ духовныя сокровища.

Кружокъ «порядочныхъ людей» аплодируетъ низверженію демократическихъ кумировъ. Но на другой день одинъ изъ непримиримыхъ, голова упрямая и настойчивая, ставитъ Платону въ упоръ вопросъ: «что же, ты бы хотѣлъ дать подлой черни хорошихъ, самоотверженныхъ учителей и проповѣдниковъ? Но тогда-то всѣ эти мѣщане и чернорабочіе опять поднимутся, сознаютъ свою силу, и горе намъ, соли земли, тонкому цвѣту и благоуханію человѣчества!»

Безпощадная логика и послѣдовательность не составляютъ сильной стороны Платона. Зато у него готова новая картина, новый горячій монологъ. Нужды нѣтъ, что онъ во многомъ противорѣчитъ первому.—О воспитаніи простонародія не можетъ быть рѣчи; это—напрасно потраченные усилія. Люди, копающіеся въ землѣ или сидящіе за ручнымъ трудомъ, не даромъ некрасивы, грязны, уродливо скрючены и неуклюжи. Ихъ помыслы также низменны и безобразны: они думаютъ только о копѣйкѣ; рабочій, вѣдь,—синонимъ дурного человѣка. Если они таковы отъ природы, то жизнь большого города, гдѣ развиваются непомѣрные вкусы, гдѣ на пустяки выбрасываютъ бѣшенныя деньги, еще больше портитъ людей низкаго труда. Здѣсь все вихремъ вертится вокругъ золота: ювелиры, драпировщики, куплетисты, актеры, паяцы, гетеры, кондитера, повара, няньки и гувернеры, врачи для всевозможныхъ болѣзней и т. д. Всѣ эти служители праздности и рабы мелкой наживы глупо любопытны, лакомы



до новинокъ и сплетенъ. И когда сойдется народное собраніе—а вѣдь они-то и заполняютъ эти большія, дикія сходки,—всѣ сидятъ, какъ въ театрѣ. Все тутъ—нездоровая жажда зрѣлища; и всякій дѣятель кривляется передъ толпой, а она, деспоть на часъ, раздаетъ свои аплодисменты и свистки.

Опять восторженные похвалы произведенію среди членовъ кружка. Они просятъ Платона записывать импровизированные монологи, возраженія и бесѣды и выпускать ихъ въ свѣтъ. Постепенно набирается матеріалъ для большаго систематическаго сочиненія. Его тема—«какъ должно быть устроено наилучшее государство, и каковы должны быть его правители».

Платонъ дѣлитъ весь родъ человѣческій на двѣ породы: рабочій скотъ, которымъ не стоитъ заниматься, и высшій слой людей въ собственномъ смыслѣ. Только тѣ, кто свободенъ отъ унижительной мысли о добываніи насущнаго хлѣба, способны воспринимать свѣтъ знанія, и только они пригодны къ трудному и сложному дѣлу управленія массами. Черта великаго раздѣла проходитъ черезъ весь живой міръ. Только избраннымъ натурамъ дана искра вселенской духовной энергіи; огромная масса человечества состоитъ изъ сырой и грубой матеріи. Поэтому политическое равенство и всеобщая свобода составляютъ порядокъ, какъ разъ противоположный указаніямъ природы, потому что при немъ всѣ блага въ рукахъ пошлаго мѣщанства, а божественные вожди и государи общества осуждены на молчаніе.

Едва ли когда-нибудь еще слагался такой свѣтозарный гимнъ въ честь безпечальной породы баловней судьбы, строящихъ свое благополучіе на невѣжествѣ, нуждѣ и приниженіи массы человечества! Вся эта глубоко-крѣ-

постническая система превращена мастерствомъ художника въ великолѣпный храмъ, сіяющій символами міровой справедливости. Вотъ ужъ поистинѣ навѣки поставленъ великій монументъ, и до сихъ поръ толкователи не рѣшаются произнести суровый, но правильный приговоръ: мавзолей этотъ кроетъ подъ собой червей и тлѣніе, онъ только художественно поэтическая форма злой человѣконенавистнической теоріи.

Долго изумлялись въ академическомъ кружкѣ мастерски написаннымъ картинамъ книги «о Государствѣ», блестящей сатирѣ на демократію, поэтическимъ сказкамъ и музыкальнымъ аллегоріямъ, въ которыя облечена у Платона исторія странствованія души, унесенной изъ небесныхъ сферъ въ жалкую земную юдоль. Но вотъ, очнувшись отъ чаръ художника, начинаютъ выражать учителю недоумѣнія: какъ узнать благородную расу рода человѣческаго, какъ выдѣлить прирожденныхъ государей общества отъ черни, каковы средства, чтобы воспитать и закрѣпить ихъ блистательныя данныя?

На эти вопросы у Платона были разные и колеблющіеся отвѣты. Одно время къ нему, повидимому, устремились непризнанные литературные и музыкальные таланты. Въ число враговъ демократіи записывались неудачники, осмѣянные за свои новшества въ аѳинскомъ театрѣ, гдѣ вкусы публики были воспитаны на величаво-спокойномъ стихѣ Софокла и на глубокой мысли Эврипида. Все упадочное, крикливое взываніе къ чувствамъ, преувеличенный эротизмъ, пристрастіе къ уродствамъ, игра въ мистику,—все это соединилось въ ожесточенномъ походѣ на холодную, разсудочную публику, испорченную просвѣтителями и ихъ плоской утилитарной философіей. Искусство для искусства, прочь прикосновеніе поэзіи къ жизни!

44117

Ханты-Мансийская  
государственная

РФ



Платонъ уступилъ натиску декадентовъ. Въ самомъ дѣлѣ, не въ этихъ ли гонимыхъ общественнымъ мнѣніемъ упадочникахъ спасеніе? И онъ написалъ гимнъ необузданной страсти человѣка, божественному бѣснованію, экстазу, возвеличилъ порывъ, внезапное вдохновеніе, пожаръ чувствъ и осмѣялъ логику разсудка, сдержку воли, методическую работу. Въ безпорядочномъ будто разстроенномъ поэтѣ, въ одержимомъ болѣзнью пророкѣ, въ судорожномъ экстазѣ любви, въ тоскѣ по идеалу красоты—вотъ гдѣ должно искать проявленія высшихъ натуръ.

Но потомъ это пристрастіе Платона къ маніакамъ, эротикамъ и эстетамъ прошло. Въ кружкахъ будирующихъ реакціонеровъ появились другія увлеченія. Признакомъ хорошаго тона стало заниматься вопросами астрономіи, разсуждать о центральномъ міровомъ огнѣ, изслѣдовать свойства шара и другихъ удивительныхъ математическихъ фигуръ, углубляться въ геометрическіе чертежи и пересматривать калейдоскопъ мистическихъ чиселъ. Поэтому и у Платона призванные государи общества перестали кадить Эросу, богу всемірной Любви, преклоняться передъ святымъ бѣшенствомъ, а начали пространно и вѣско трактовать о строеніи міра, о вѣчныхъ его двигателяхъ и т. д.

Нельзя однако было ограничить свою жизнь созерцаніемъ и безсильной критикой окружающаго. Ученики были болѣе нетерпѣливы, чѣмъ учитель. И развинченные поэты перваго періода его школы, и осмотнительные математики второй манеры требовали дѣла, приложенія своей энергіи. Довольно строить утопіи, дайте намъ въ руки управленіе обществомъ! Конечно, объ Аѳинахъ не можетъ быть рѣчи. Всегда въ академическомъ кружкѣ говорили, что высшее знаніе, философія не могутъ процвѣтать при

господствѣ широкаго общественнаго мнѣнія. Прегніе про-свѣтителі, правда, искали широкой популярности, но это потому именно, что они стояли на уровнѣ неизменной, жадной и пустой массы народа; имъ недоступна была истина, и вдобавокъ они сами объявили ее недостижимой. Истинный философъ-просвѣтитель новаго типа избѣгаетъ безумной и злой толпы. Онъ можетъ найти опору лишь при дворѣ государя. Въ это время на западѣ въ Сициліи сложилось государство, еще крупнѣе аѳинской республики; столица его, Сиракузы, разрослась вдвое больше Аѳинъ. А во главѣ новой первенствующей силы Греціи уже не многоголовый народъ-правитель, а настоящій самодержецъ, командующій огромнымъ войскомъ, заставившій смолкнуть народное собраніе, задавившій всѣ попытки оппозиціи.

Ко двору грознаго Діонисія Старшаго Платонъ уже разъ ѣздилъ. Казалось, ихъ сблизить вражда къ аѳинской демократіи. Правитель къ тому же искалъ, въ дополненіе къ своей военной славѣ, еще литературныхъ лавровъ, писалъ драмы и былъ не прочь украсить свой дворъ благонамѣренными и невинными литераторами. Діонисій и Платонъ не поладили однако, хотя аристократическій философъ могъ цѣлымъ и невредимымъ уѣхать изъ Сиракузъ и не подвергся участи поэта Филоксена, котораго Діонисій отправилъ въ каторжныя работы за нѣсколько ядовитыхъ намековъ на свою особу. Сиракузскій государь и аѳинскій философъ не сошлись характерами, но послѣдній былъ въ восторгѣ отъ сицилійской столицы подъ монархическимъ режимомъ. У него не нашлось словъ осужденія для той сѣти полицейскаго шпіонства, посредствомъ которой тиранъ задушилъ общественную жизнь Сиракузъ; не нашлось осужденія и для системы безко-



нечныхъ казней и для грандіозной организаціи каторжныхъ тюремъ, про которыя рассказывали, что въ подземныхъ галлереяхъ каменоломенъ осужденные проводили всю жизнь, женились и родили дѣтей, а когда дѣти поднимались на свѣтъ Божій, то пугались лошадей, точно выходцы съ того свѣта.

Сиракузская жизнь оставила неизгладимое впечатлѣніе у Платона; ему понравились колоссальныя сооруженія города, онъ заинтересовался грандіозными планами здѣшнихъ моряковъ, которые искали путей на западъ къ таинственной Атлантикѣ, сказочному материку, лежащему на краю свѣта за Геракловыми столбами. Онъ искренно смѣялся пародіямъ уличныхъ мимовъ, этому веселому порожденію насмѣшливой сиракузской публики, импровизаціямъ переходящихъ куплетистовъ и актеровъ, которые подхватывали въ своихъ сценкахъ все, что занимало общество. Поразительно было разнообразіе фантазіи, тонкость наблюденія у народныхъ актеровъ, умѣвшихъ втянуть въ кругъ своихъ водевилей даже увлеченіе какой-нибудь философіей или научной теоріей. Напр., разъ была разыграна слѣдующая сцена подъ заголовкомъ: «Перерожденіе человѣка». Недобросовѣстный должникъ приходитъ къ кредитору и расписываетъ ему свои философскія увлеченія; согласно теоріи Гераклита о вѣчномъ и непрерывномъ измѣненіи жизни, онъ сталъ теперь совсѣмъ новымъ человѣкомъ, забылъ все, чѣмъ жилъ раньше, а слѣд. и всѣ прежнія обязательства. Кредиторъ скрываетъ свое раздраженіе и мститъ по-своему: онъ зоветъ обновленнаго должника отобѣдать; тотъ въ восторгѣ, что такъ легко отдѣлался, и приходитъ на обѣдъ. Тогда кредиторъ въ свою очередь объявляетъ, что и онъ самъ совсѣмъ возродился, а посему забылъ о всякомъ угощеніи.

Двадцать лѣтъ спустя послѣ перваго посѣщенія Сиракузъ, Платонъ снова попыталъ счастья при томъ же дворѣ. Діонисій Старшій умеръ. Его мѣсто занялъ сынъ, Діонисій Младшій, человѣкъ ничтожный и пустой. Въ свое время отецъ держалъ его во дворцѣ взаперти, и принцъ занималъ досуги точеніемъ дерева. Вырвавшись на свободу, онъ рѣшительно не зналъ, чѣмъ заполнить дни жизни. Съ большимъ увлеченіемъ ухватился онъ за предложеніе своего родственника, Діона, выписать изъ Аѳинъ академическую школу съ Платономъ во главѣ. Ему представлялось впереди хорошее развлеченіе. Однако Діонъ былъ человѣкъ серьезный; онъ собирался устроить въ Сиракузахъ режимъ богатыхъ и устранить навсегда возможность демократическихъ революцій. Въ своихъ аѳинскихъ друзьяхъ-философахъ онъ видѣлъ отличныхъ пособниковъ для новаго управленія. Діону казалось, что въ качествѣ чиновниковъ нѣтъ матеріала болѣе цѣннаго, чѣмъ чужіе люди, не связанные интересами съ мѣстнымъ населеніемъ. Обратно, члены академическаго кружка нашли наконецъ то, о чемъ давно мечтали: союзъ съ благожелательнымъ властителемъ; они составятъ его совѣтъ и дадутъ ему глубину своего разума, онъ предоставитъ въ ихъ распоряженіе всю силу своей подавляющей мощи; ихъ мудрость будетъ непосредственно претворяться въ его непререкаемые указы.

Блестящая тріера сиракузскаго монарха была отправлена за море, чтобы привезти прославленнаго учителя съ его лучшими учениками. При высадкѣ почетныхъ гостей въ сиракузской гавани ихъ ждали разукрашенные придворные экипажи, а помѣщеніе имъ отвели въ дворцовомъ паркѣ.

Діонисій Младшій кое-что слышалъ объ интересныхъ



опытахъ съ огнемъ и водой, которые показывали греческіе ученые, но Платонъ строго объявилъ, что путь въ область высшей истины, лежитъ черезъ врата геометріи. Итакъ, прежде всего чертежи треугольниковъ, отысканіе центра въ кругѣ, вычисленіе угловъ. Діонисію это показалось забавнымъ; вся придворная свита бросилась на геометрію, натащили песку въ дворцовыя залы, исчертали всѣ дорожки въ саду. Послѣ перваго сеанса, затянувшагося глубоко въ лунную ночь, утромъ садовники и рабочіе, пришедшіе выметать садъ, съ изумленіемъ глядѣли на таинственные рисунки, оставленные знатными господами на всѣхъ площадкахъ и перекресткахъ.

Діонисій скоро потребовалъ перехода къ слѣдующему курсу, къ астрономіи. Но, къ сожалѣнію, онъ понималъ все въ видѣ фокусовъ и еще никакъ не могъ отдѣлаться отъ привычки за всякое доставленное ему научное удовольствіе сейчасъ же платить изъ казначейства. Одинъ изъ учениковъ Платона, Геликонъ Кизикскій, предсказалъ солнечное затменіе. Оно наступило въ назначенный день и часъ; немедленно Діонисій велѣлъ выдать хитрому мастеру за удавшійся номеръ мѣшокъ серебра.

Какъ это все ни было странно, ученые, прибывшіе въ Сиракузы, продолжали уповать на своихъ сановныхъ благодѣтелей. Они и не думали спускаться въ массу народа, просвѣщать темныхъ людей. Не лучше ли даже, если эта масса останется при своихъ предразсудкахъ? Напр., зачѣмъ простолюдину знать, что затменія происходятъ отъ встрѣчи двухъ небесныхъ тѣлъ, правильно вращающихся, что тутъ нѣтъ ничего сверхъестественнаго или зловѣщаго, что человѣкъ можетъ задолго вычислить затменіе? А вотъ и случай для практической провѣрки вопроса о пригодности чрезмѣрнаго просвѣщенія у народной массы. Государь

посылаетъ солдатъ въ походъ; передъ отпавкой онъ даетъ имъ хорошее угощеніе, но ужинъ затягивается и наступаетъ ночь. Вдругъ черная тѣнь начинаетъ закрывать ликъ луны. Солдаты—въ страхъ; быть бѣдѣ, лучше разойтись по домамъ. Но придворный астрономъ спасаетъ положеніе; онъ увѣряетъ, что затменіе—превосходный знакъ: «это вашъ врагъ потускнѣетъ, подобно лунѣ, и боги нарочно послали вамъ утѣшеніе, а ему грозное предзнаменованіе».

Да, прошло время просвѣтителей, обращавшихся къ широкимъ массамъ! У народа осталась только одна возможность проявить самостоятельное сужденіе. Діонисій Старшій закрылъ всѣ клубы, сходки и собранія, запретилъ вольную литературу; его агенты проникали всюду и подслушивали по частнымъ домамъ. Одного онъ не могъ истребить въ Сиракузахъ—уличныхъ актеровъ, мимовъ, съ ихъ импровизированными сценками и куплетами. Придавленное, загнанное въ политикѣ общество мстило своимъ правителямъ насмѣшкой и злымъ фарсомъ. И вотъ однажды на всѣхъ перекресткахъ была разыграна такая сцена. Выходятъ двѣ фигуры, одна вертлявая, другая солидная, съ бородой, первый въ сверкающемъ шлемѣ, второй въ высокомъ ассирійскомъ колпакѣ съ изображеніемъ звѣриныхъ знаковъ. Бородатый дѣлаетъ жестъ, чтобы воитель снялъ шлемъ, и надѣваетъ ему тоже колпакъ на голову; затѣмъ онъ начинаетъ широко разводить руками, показываетъ на небо, пространно объясняетъ и перебираетъ на пальцахъ, чертитъ что-то на землѣ. Ученикъ ничего не можетъ понять и все скидаетъ свой новый колпакъ, чтобы найти тамъ объясненіе. Наконецъ онъ теряетъ терпѣніе, сердится, топаетъ ногами и показываетъ философу дорогу назадъ въ Аѳины. Философъ требуетъ придворнаго экипажа и царской галеры, но его



собесѣдникъ въ свою очередь разводитъ руками и предлагаетъ пуститься вплавъ по морю.

Уличный водевиль, разыгранный мимами, недалеко ушелъ отъ правды. Платонъ и его Академія пріѣлись сиракузскому властителю: онъ былъ доволенъ отъѣзду великаго учителя и, въ противоположность блестящей встрѣчѣ, не устроилъ торжественныхъ проводовъ. Академія раскололась. Люди болѣе практическаго склада остались въ Сициліи и начали помогать Діону въ его попыткахъ свергнуть Діонисія и установить господство немногихъ богатыхъ фамилій; мечтатели и теоретики вернулись съ Платономъ въ Аѣины. Они добавили теперь къ своей государственной теоріи главу о дурномъ правителѣ, отдающемся прихотямъ и капризу вмѣсто того, чтобы служить высшей истинѣ; исполненіе своихъ надеждъ они отложили до того счастливаго случая, когда найдется вполне пригодный и послушный государь. Въ этомъ видѣ теорія дожила до нашего времени, и новая аристократія духа упивается платоновскими аргументами, воспроизводитъ его сарказмы, его обличенія неосмысленной толпы, повторяетъ его гимны высшей породѣ человѣчества, его прославленіе неограниченной власти, подъ сѣнью которой «духовные люди» могутъ спокойно отдаваться высшему созерцанію и совершенствованію своей личности.

Жизнь греческаго общества, гдѣ впервые раздались эти рѣчи, конечно, во многомъ отличалась отъ нашей. Но два типа интеллигенціи, которые отмѣчены современными намъ судьями ея, даны уже тамъ за 2400 лѣтъ до нашего времени: одной, которая зажигаетъ свѣточъ знанія для всѣхъ и отдаетъ свои силы дѣлу необозримой массы безвѣстныхъ работниковъ жизни; и другой, которая прячетъ свою струйку свѣта только для себя, только для самоусовершенствованія, только для выработки вну-

треннихъ сокровищъ своей души и въ остальномъ чловѣчествѣ видить бруски эстрады, нужной для того, чтобы возглашать высокомерную проповѣдь о божественности собственнаго духа.

Сколько разъ ни повторялась въ исторіи культурнаго общества эта смѣна двухъ интеллигенцій, повторялось и еще одно явленіе, которое мы только что пережили у себя. Интеллигенція второго типа, образца платоновской Академіи, появившись на сценѣ послѣ разгрома первой, со страстностью и энергіей, достойными лучшей участи, принималась проклинать своихъ предшественниковъ, осмѣивать ихъ, объявлять ихъ дѣло безбожнымъ и разрушительнымъ.

Я имѣлъ право обратиться за сравненіемъ къ умственнымъ спорамъ древняго міра. Вѣдь изъ среды очень близкой къ обществу античной Греціи до насъ дошелъ призывъ, обращенный къ строителямъ духовной жизни. «Вы—соль земли; если же соль потеряетъ силу, то чѣмъ сдѣлаешь ее соленой? Она уже ни къ чему не годна, какъ развѣ выбросить ее вонъ, на погребеніе людямъ. Вы—свѣтъ міра. Не можетъ укрыться городъ, стоящій на верху горы. И зажегши свѣчу, не ставятъ ее подъ сосудомъ, но на подсвѣчникѣ, и свѣтитъ всѣмъ въ домъ».

Едва ли найдется въ міровой литературѣ другое обращеніе къ обладателямъ знанія, въ которомъ такъ громко звучало бы настойчивое и горячее требованіе просвѣтительства. И пусть насъ спросятъ: слѣдовала ли этому призыву наша интеллигенція? На этотъ вопросъ не можетъ быть двухъ отвѣтовъ. Наша великая страна во многомъ глубоко несчастлива, но одно въ ней здорово, сильно и обѣщаетъ выходъ и освобожденіе: это—мысль и порывъ ея интеллигенціи.



## Нѣсколько замѣчаній о теоріи историческаго познанія.

Эта наука (исторія) идетъ тѣмъ же методомъ, какъ и геометрія, потому что она создаетъ изъ самой себя міръ величинъ, строитъ сама себя изъ собственныхъ элементовъ. (Вико, Новая наука, кн. 1).

Въ современномъ движеніи философской мысли все болѣе выступаютъ на передовое мѣсто вопросы теоріи познанія. Интересъ къ нимъ заключаетъ въ себѣ начало крупнаго и глубокаго кризиса въ общемъ научномъ методѣ, въ научномъ анализѣ и пониманіи явленій. Характеръ этого кризиса, этой перемѣны очень отчетливо оттъняется тѣми научно-познавательными приѣмами, которые господствовали въ періодъ, лежащій позади насъ, періодъ «позитивизма».

Если говорить очень обще, позитивное направленіе мало интересовалось самимъ научно-мыслящимъ субъектомъ; молчаливо позитивизмъ принималъ человѣческій умъ за аппаратъ, за группу средствъ, служащихъ для простаго и чистаго отраженія внѣшнихъ фактовъ. Наши умственные опредѣленія вещей отъ склоненъ былъ отождествлять съ сущностью вещей; въ нашихъ схемахъ, рубрикахъ, классификаціяхъ, періодизаціяхъ позитивизмъ склоненъ былъ видѣть истинный порядокъ вещей, реальныя соотно-

шенія самихъ вещей; наконецъ, въ повторяющихся впечатлѣніяхъ смѣны или одновременности явленій позитивизмъ думалъ найти ни что иное, какъ отраженіе законовъ движенія и сосуществованія самихъ явленій.

Общее философское настроеніе въ настоящее время становится инымъ. Оно характеризуется стремленіемъ прежде всего дать себѣ отчетъ, опредѣлить, что мы сами вносимъ въ воспріятіе, въ наблюденіе фактовъ; съ какими категоріями подступаемъ мы къ нимъ; какіе элементы нашей психики мы вводимъ напередъ при всякомъ приступѣ нашемъ къ предмету изученія. Оно хочетъ опредѣлить, какова во всемъ нашемъ знаніи о мірѣ доля необходимыхъ и неизбѣжныхъ предрасположеній нашей мысли. Оно хочетъ знать тѣ психическія условія, въ которыхъ образуются наши представленія о реальномъ мірѣ, въ которыхъ происходитъ установленіе фактовъ и классификація ихъ. Оно хочетъ знать, каковъ психологическій смыслъ нашихъ заключеній о взаимной связи явленій реального міра, о ихъ закономерности и т. д. Оно требуетъ, если можно такъ выразиться, чтобы мы были судьями нашихъ собственныхъ научныхъ запросовъ.

Для отдѣльныхъ группъ наукъ эти общія теоретико-познавательныя задачи, выдвигаемыя новѣйшей философіей, получаютъ особый, спеціальный характеръ. Историческая наука, нѣтъ сомнѣнія, выставитъ свою *теорію историческаго познанія*. Я не увѣренъ, существуетъ ли уже и примѣнялся ли такой терминъ. Но соотвѣтствующій запросъ во всякомъ случаѣ ясно опредѣлился. Назову только имена Зиммеля, Штаммлера, Дюркгейма, недавно появившуюся книгу Ксенополя \*), чтобы указать на

---

\*) Xenopol, Principes fondamentaux de l'histoire 1899.



интересъ къ теоретико-познавательнымъ проблемамъ въ области общественныхъ наукъ.

Въ чемъ состоитъ въ настоящее время задача этого направленія? Безъ сомнѣнія,—въ анализѣ, въ пересмотрѣ установившихся въ исторіи и соціологіи рубрикъ и терминовъ, схемъ и подраздѣленій, приѣмовъ и методовъ. Такой пересмотръ очень важенъ.

Въ способѣ нашихъ разсужденій, въ постановкѣ вопросовъ, въ нашихъ сравненіяхъ и аналогіяхъ, во всей нашей терминологіи мы вполнѣ еще подчинены «реализму» позитивной науки, мы дѣйствуемъ по ея традиціямъ. Мы говоримъ о вліяніи личности на общество, и о вліяніи среды на личность; говоримъ о смѣнѣ общественныхъ состояній общественными катастрофами и о вліяніи событій на состоянія или состояній на событія; говоримъ о толчкахъ впередъ и вызываемыхъ ими реакціяхъ, о паденіяхъ и возрожденіяхъ, о торжествѣ нравственныхъ силъ надъ физическими или обратно—физическихъ надъ нравственными, о живучести и непобѣдимости идеи и т. п.

Въ популярномъ сознаніи всѣ эти названія отвѣчаютъ твердымъ фактамъ или группамъ фактовъ, которые предполагаются существующими внѣ насъ въ отчетливыхъ очертаніяхъ, все равно «даже если бы мы на нихъ не смотрѣли». Наше дѣло какъ будто бы состоитъ только въ томъ, чтобы открыть ихъ, воспринять въ существенныхъ чертахъ, схватить въ точныхъ опредѣленіяхъ и затѣмъ разъяснить ихъ отношенія. Въ популярномъ сознаніи едва ли есть подозрѣніе, что всѣ эти факты, группы и ряды составляютъ наши умственные разрѣзы, наши умственные опыты, что наше «простое воспріятіе», простое наблюденіе явленій прошлаго составляетъ сложную комбинаціонную и творческую работу. Позитивизмъ, игнорируя это условіе,

поддерживалъ популярное заблужденіе. Анализъ историческихъ и соціологическихъ терминовъ и формулъ съ точки зрѣнія теоріи познанія долженъ будетъ прежде всего опредѣлить, въ чемъ состоитъ эта комбинаціонная работа, какими началами руководимся мы въ нашихъ наблюденіяхъ.

Одинъ примѣръ, взятый изъ исторіи нашей науки, покажетъ намъ, въ какой мѣрѣ факты переставляются, мѣняются цвѣтъ и форму, исчезаютъ и вырастаютъ въ зависимости отъ перспективы нашей, отъ угла зрѣнія.

Господствовавшая когда-то теорія историческаго круговращенія представляла нормой въ историческихъ судьбахъ человѣчества смѣну двухъ движеній, движенія культуры вверхъ отъ нѣкотораго исходнаго пункта и движенія ея внизъ, назадъ къ исходу; смѣну подъема отъ нѣкотораго первоначальнаго уровня и обратно—паденія къ этому уровню; послѣ чего долженъ наступить опять новый и равный прежнему подъемъ и т. д. Теорія круговращенія считала нормой въ историческомъ ходѣ раздробленіе основной цѣльной формы жизни и исходной цѣльной вѣры людей на самостоятельныя существованія и индивидуальныя мнѣнія, а потомъ возвращеніе отъ анархіи и раздробленности къ прежнему единству.

Подъ вліяніемъ этого общаго представленія размѣщались факты исторіи Рима, исторіи христіанской церкви, исторіи новоевропейскихъ государствъ. По этой перспективѣ Римъ шелъ отъ монархіи черезъ аристократію и демократію опять къ монархіи; церковь отъ католическаго единства вѣры и строя черезъ ереси, черезъ анархію сектъ и понятій, черезъ отрицаніе идетъ къ новому объединенію, новому торжеству единого міровоззрѣнія; варварство смѣняется общественной организаціей, культурностью, кото-



рая въ свою очередь, утончаясь, ведетъ къ моральному упадку и создаетъ условія новаго одичанія, новаго варварства. Такимъ образомъ факты размѣщались, такъ сказать, по кривымъ линіямъ, концы которыхъ опять встрѣчались на извѣстномъ протяженіи, факты получали своеобразныя отмѣтки, связанныя съ понятіями повышенія или пониженія, цѣльности и дробленія, гармоніи и анархіи. Наблюденію историка такимъ образомъ былъ данъ какъ бы основной руководящій чертежъ; у него былъ въ рукахъ опредѣленный типъ, образецъ, съ котораго онъ могъ копировать всѣ свои картины: это была исторія Рима.

Совершенно иначе пошло наблюденіе, когда утвердилось теорія безконечнаго и послѣдовательнаго прогресса. Руководящая линія представляла теперь не кривую, а непрерывную восходящую прямую. Шаги впередъ, этапы слѣдованія по этой линіи назывались «улучшеніе», «усовершенствованіе». Наблюденіе должно было отнестись болѣе чутко къ однимъ фактамъ, чѣмъ къ другимъ, выдѣлять тѣ, у которыхъ можно было поставить отмѣтку «лучше, шире, человѣчнѣе» и т. д., и игнорировать другіе, гдѣ подобная отмѣтка оказывалась неприложимой. Или же тамъ, гдѣ подобные признаки не открывались сразу, наблюденіе искало «скрытыхъ» положительныхъ сторонъ; посредствомъ подстановки искомаго оно сознательно или безсознательно спасало вѣрность общаго закона.

Соотвѣтственно этой общей тенденціи типомъ, образцомъ для наблюденія служила другая реальная исторія; это была не исторія Рима, совершившая по прежней теоріи полный кругъ, такъ или иначе закончившая свой пробѣгъ, но исторія новой Европы въ послѣдніе 4—6 вѣковъ съ ея непрерывнымъ накопленіемъ богатствъ, ростомъ народонаселенія и обмѣна, быстро развивающейся техникой

и наукой,—исторія, обѣщавшая, повидимому, много успѣховъ впереди.

При такомъ общемъ истолкованіи наблюденіе видѣло другіе факты на мѣстѣ тѣхъ, какіе получались съ точки зрѣнія старой теоріи. Такъ, напримѣръ, оно не видѣло теперь возврата къ варварству, къ первобытному состоянію въ эпоху 300—800 гг. нашей эры. Для теоріи прогресса не могло быть полныхъ пробѣловъ, полныхъ потерь въ движеніи человѣчества. На мѣстѣ предполагавшагося ранѣе факта погруженія общества въ исходную дикость наблюденіе видѣло теперь совершенно другой фактъ: германскую свободу, мораль христіанства, культурно-воспитательную организацію церкви; вотъ великія положительныя данныя, которыя заступили мѣсто отжившей культуры, основанной на рабствѣ и подчиненіи личности государству, на морали патріота, а не на любви къ человѣку и т. д. (я воспроизвожу только обычную терминологію философско-историческихъ построеній съ точки зрѣнія теоріи прогресса). Вмѣсто паденія новая теорія видѣла выступленіе новыхъ свѣжихъ началъ, дополненіе старой несовершенной культуры элементами, которые должны были привести ее къ новой высшей ступени.

То, что размѣщается такимъ образомъ въ группахъ нашихъ наблюденій, нельзя назвать прямымъ и простымъ отраженіемъ дѣйствительности. Группы, которыя мы называемъ фактами, не составляютъ чего-либо намъ даннаго, что пассивно нами усваивается или просто открывается. Сознаніе извѣстнаго факта прошлаго есть результатъ прежде всего нашей способности, нашей привычки воспринимать впечатлѣнія въ извѣстной группировкѣ, въ извѣстномъ сцѣпленіи, связи. Представленія наши о фактахъ зависятъ отъ тѣхъ рамокъ, въ которыя мы вводимъ отры-



вочныя данныя традиціи и остатковъ прошлаго. «Факты» появляются и исчезаютъ въ различныхъ историческихъ представленіяхъ и картинахъ. Факты существуютъ для одного глаза и отсутствуютъ для другого.

Напримѣръ, о фактѣ «промышленной революціи» въ Англіи конца XVIII в. въ наукѣ стали говорить сравнительно очень недавно. Составныя части этого представленія—явленія успѣховъ техники машинъ и путей сообщенія, уходъ населенія съ земли и движеніе его въ фабричныя центры, расширеніе торговыхъ связей и колоній Англіи, сокращеніе мелкаго ремесла и развитіе домашней индустріи и фабричнаго производства,—все это было извѣстно и замѣчено раньше, прежде чѣмъ стали говорить о «фактѣ промышленнаго переворота»; эти явленія—не вновь, недавно открытые моменты. Но моментовъ этихъ не связывали прежде въ одну группу, въ нихъ не видѣли одного факта; того факта, какой мы сейчасъ себѣ представляемъ подъ этимъ собирательнымъ именемъ, не существовало въ умахъ.

Обратно, мы не видимъ теперь болѣе факта, который признавался въ наукѣ раньше и назывался «вліяніемъ на Европу крестовыхъ походовъ». Это была также группа разнообразныхъ явленій: сюда относили паденіе папства, ростъ городовъ, развитіе рыцарства, отрицаніе аскетическаго идеала и т. п. Группы эти раньше связывали вмѣстѣ подъ однимъ знакомъ. Для насъ, благодаря другой планировкѣ, составныя части этого «факта» оказались явленіями различныхъ рядовъ и даже различныхъ эпохъ, явленіями, которыя, какъ намъ представляется, ошибочно были сдвинуты въ одну плоскость, сложены въ общую перспективу.

На первый взглядъ кажется, что путь историческаго

изученія и обобщенія идетъ отъ вскрытія, накопленія, описанія и классификаціи новаго матеріала къ общимъ сужденіямъ на основаніи этого матеріала. Всматриваясь глубже, мы должны признать, что идемъ въ данномъ случаѣ почти обратнымъ путемъ: все равно, сознательно или нѣтъ, но мы приступаемъ къ дѣлу самого описанія или анализа матеріала съ опредѣленнымъ планомъ дѣйствія, который въ концѣ-концовъ сводится на цѣлое міровоззрѣніе. Подъ вліяніемъ такого плана происходитъ невольный, но опредѣленный подборъ фактовъ, ихъ постановка въ извѣстный уголъ зрѣнія: одни проходятъ мимо нашего вниманія, не отлагаются въ нашихъ представленіяхъ, какъ факты; другіе выступаютъ на первый планъ или освѣщаются опредѣленной стороной своей. Если выражаться строже,—подъ вліяніемъ такого плана происходитъ даже и не подборъ, а *созданіе фактовъ* въ умѣ нашемъ, ихъ формировка по чертежу, по архитектурнымъ линіямъ извѣстной системы. Но мы замѣчаемъ это обстоятельство, мы схватываемъ систему, которой служатъ факты, лишь когда стоимъ внѣ ея.

При анализѣ историческихъ и соціологическихъ методовъ съ точки зрѣнія теоріи познанія придется обратить вниманіе на роль этихъ сложившихся системъ въ процессѣ историческаго изученія. Наша работа движется въ рамкахъ традиціи, готовыхъ схемъ, которыя направляютъ, регулируютъ наше дѣло, но вмѣстѣ съ тѣмъ стѣсняютъ свободу нашей мысли. Когда мы приступаемъ къ изученію, матеріаль фактовъ уже разложенъ по отдѣламъ и разрѣзамъ; надъ отдѣлами уже стоятъ заголовки и памятные знаки; новые факты, новый матеріаль сначала приходится помѣщать въ затвердѣвшія схемы, приспособлять ихъ къ готовымъ формамъ и тонамъ.



Схемы и покрывающіе ихъ термины неизбежно отстаютъ отъ происходящаго въ наукѣ движенія. Вначалѣ символы живыхъ комбинацій мысли, они надолго переживаютъ общее воззрѣніе, которое ихъ вызвало. Достаточно вспомнить, что распредѣленіе историческаго матеріала по эпохамъ 4 монархій пророка Даніила, распредѣленіе, сложившееся подъ вліяніемъ іудейско-христіанскихъ ожиданій конца міра въ рамкахъ еще живой подлинной Римской имперіи въ эпоху Августа и Нерона,—что это раздѣленіе историческихъ эпохъ просуществовало до конца XVII в. Разъ укрѣпившись, термины получаютъ какую-то особенную жизнь: первоначально простые имена, простые знаки, они какъ будто превращаются въ умахъ въ неоспоримые общіе факты. Въ нихъ стараются открыть новый смыслъ, имъ даютъ новыя истолкованія.

Въ результатѣ термины, можно бы сказать, начинаютъ тираннизировать живой матеріалъ. Здѣсь сказывается особое свойство нашей психики—возводитъ въ неподвижныя абстрактныя величины формулы и системы предшествующей работы, забытой въ своихъ деталяхъ и въ своемъ реальномъ ходѣ: это черта, которая выражается, напримѣръ, въ исканіи таинственнаго смысла и глубокаго поученія среди символовъ и предразсудковъ, оставшихся отъ старины, или въ возвеличеніи традиціоннаго языка надъ конкретными потребностями живой рѣчи и мысли (какъ это было, напримѣръ, у представителей романтизма въ началѣ XIX в.), или въ обоготвореніи «нерукотворнаго» государства (какъ опять-таки это случилось съ реакціонерами начала XIX в.).

Силою такихъ символовъ обладаютъ прежде всего обозначенія «вѣковъ», понимаемъ ли мы ихъ въ смыслѣ столѣтій или вообще хронологически приблизительно отгра-

ниченнаго эпохъ. Мы очень хорошо знаемъ, что между числовыми періодами и смѣнами настроеній, понятій или культурныхъ экономическихъ состояній нѣтъ никакой связи, и тѣмъ не менѣе, разъ установилась характеристика вѣка, на примѣръ, XVIII столѣтія, или вѣка Людовика XIV, или вѣка Возрожденія,—такой періодъ принимаетъ въ воображеніи внѣшнія твердыя очертанія.

Представимъ себѣ, что открываются новые факты, не подходящіе къ тѣмъ титуламъ и эпиграфамъ, которые закрѣпились за извѣстнымъ вѣкомъ. Что происходитъ тогда? Мы рѣже признаемся, что наша характеристика вѣка была неполна, ошибочна. Сложенный раньше, рѣзко начерченный названіемъ заголовокъ его давитъ насъ; и мы говоримъ о новыхъ фактахъ или новыхъ чертахъ: «это не идетъ въ такой-то вѣкъ, на примѣръ, вѣкъ XVIII, хотя и принадлежитъ ему хронологически», или «это—черта въ вѣкѣ запоздалая», или, напротивъ, «скороспѣлая», или: «это—черта, чуждая остальнымъ явленіямъ, не связанная съ остальнымъ органически».

То, что легко поддается припискѣ въ извѣстный типъ, то мы обыкновенно относимъ въ опредѣленный, уже раньше фиксированный вѣкъ. Что производитъ впечатлѣніе колеблющееся, неустойчивое, что дробится между двумя уже сложившимися въ нашихъ представленіяхъ типами, то очень легко мы склонны относить въ рубрику «переходныхъ эпохъ». Страннымъ образомъ это ничего не выражающее опредѣленіе «переходной эпохи», въ которомъ сказывается только извѣстная безпомощность объясняющаго—это опредѣленіе какъ будто способно удовлетворить нѣкоторый запросъ, что-то объяснить въ историческихъ построеніяхъ. Разъ оно прикрѣплено къ той или другой эпохѣ, оно уже потомъ участвуетъ въ нашемъ дальнѣй-



шемъ истолкованіи названной такимъ образомъ эпохи. Оно заставляетъ насъ всякій разъ искать въ такой эпохѣ какой-то особой смуты, какихъ-то особенныхъ противорѣчій, страданій, неясности, двойственности и т. д., хотя въ сущности смута, неясность и противорѣчія были только въ нашихъ понятіяхъ о ней.

Для того, чтобы иллюстрировать вліяніе на насъ заголовковъ, классификацій, категорій и названій, можно было бы указать на роль терминовъ «реакція», «возрожденіе», «индивидуализмъ», «античное міровоззрѣніе», «германская идея свободы» и т. п. Разъ, напримѣръ, индивидуализмъ—терминъ впрочемъ до крайности неясный и растяжимый—присвоенъ былъ въ качествѣ характерной черты Новому времени, въ предшествовавшей эпохѣ, въ силу противоположности, стали искать началъ принудительно-общественныхъ, соціалистическихъ: ихъ искали въ гильдіи, цехѣ, въ общемъ городскомъ строѣ, въ церкви. Исслѣдователь навязывалъ цеху, корпораціи, городу коммунистическіе принципы, чтобы представить потомъ въ видѣ протеста взрывъ индивидуализма.

Сколько восторженныхъ фантазій вызвало одно полумистическое слово «возрожденіе», приуроченное къ XIV—XVI вѣкамъ. Слово, опять-таки, какъ «индивидуализмъ» гибкое и многосмысленное, подъ которое удобно подставляется что угодно—и понятіе жизнерадостности, и понятіе свободы духа, и образъ горячей жизни общества, и идея возвращенія человѣка къ запросамъ будто бы оттѣсненной и подавленной его природы и т. п. А добросовѣстный изслѣдователь потомъ долженъ былъ искать точной границы, перваго луча этого неуловимаго и многозначнаго «духа», который вычитывали и воображали подъ красивымъ словомъ «возрожденіе».

Всѣ эти формулы и заголовки давали не только рамки, но вызывали также извѣстныя ассоціаціи, возбуждали поиски въ извѣстномъ направленіи или задерживали напротивъ развитіе мысли въ другомъ направленіи.

Остановлюсь на одномъ характерномъ примѣрѣ. Долго держался и до сихъ поръ не исчезъ терминъ «античное міровоззрѣніе». Подъ этимъ названіемъ собственно скрывалась весьма произвольная характеристика понятій и настроеній грека приблизительно въ V вѣкѣ: она была составлена изъ лоскутовъ, изъ гомеровскаго поэтическаго изображенія боговъ, изъ опредѣленія художественныхъ тенденцій временъ Фидіа, изъ картины гимнастическаго воспитанія, наконецъ немного изъ примѣровъ городского патріотизма грековъ. На основаніи этой амальгамы получилось распространенное представленіе о какой-то особенной жизнерадостности древняго человѣка вообще, о гармоничности его сознанія, о равновѣсіи въ немъ духа и тѣла, о центральномъ для него значеніи культа красоты и т. д.

Въ данную минуту нѣтъ нужды критиковать это представленіе, которое опиралось на мозаику фикцій. Достаточно сказать, что если бы оно было даже и вѣрно для извѣстнаго историческаго момента, то его не слѣдовало отрывать отъ опредѣленнаго географическаго и хронологическаго мѣста. А это именно и случилось потомъ съ приведенной характеристикой культурнаго грека V столѣтія, когда совокупность этихъ понятій обозначили именемъ «античнаго міровоззрѣнія». Она стала служить характеристикой грека вообще всѣхъ временъ, а потомъ и римлянина, потому развѣ, что римляне вѣдь читали греческую литературу, имѣли греческихъ учителей и отождествили иныхъ своихъ боговъ съ греческими. Наконецъ,



вся эпоха старой средиземно-морской культуры и вся ея територія покрыты были условнымъ символомъ, который заключается въ словахъ «античное міровоззрѣніе», и терминъ воцарился.

Между тѣмъ для изслѣдователя сталъ обнаруживаться цѣлый рядъ историческихъ явленій, противорѣчившихъ этому условному представленію. Вглядываясь ближе, мы замѣчаемъ, напримѣръ, до извѣстной степени въ центрѣ того самаго вѣка въ греческой исторіи, который послужилъ опорой характеристики, такіе факты, какъ аскетическое и мистическое направленіе, замѣчаемъ видную роль пророческаго сектантства. Безъ этихъ явленій нельзя понять даже такія «нормально античныя» фигуры, каковы Сократъ и Платонъ. Дальше, въ этой эпохѣ можно отмѣтить черты пессимизма, настроеніе покаянія, напримѣръ въ циникахъ, напоминающихъ во многихъ сторонахъ средневѣковое аскетическое монашество. Какое мѣсто приходилось отвести этимъ чертамъ, разъ онѣ были констатированы внутри самой основной эпохи «античнаго міровоззрѣнія»?

Прежде всего стоитъ остановить вниманіе на томъ обстоятельстве, что изслѣдователю очень трудно просто констатировать противорѣчащія черты, разъ извѣстный историческій догматъ закрѣпленъ именемъ и символомъ. Мысль его невольно робѣетъ и сбивается. Вотъ однако фактъ констатированъ и признанъ. Онъ еще не получаетъ нужной, приходящейся ему пропорціи и перспективы въ общей постановкѣ. Его сначала относятъ въ курьезы, въ странности эпохи, во второстепенныя, «добавочныя» явленія.

Но, скажемъ, количество подобныхъ фактовъ растетъ при дальнѣйшемъ изученіи. Они образуютъ въ картинѣ прошлаго особую нить, особую группу, которая тянется

черезъ нѣсколько вѣковъ, повидимому, все усиливаясь. Тогда стараются помочь новой формулой. Приходится признать отмѣченныя явленія мистицизма, пессимизма и т. д. за нарушение, и весьма серьезное нарушение, «античнаго міровоззрѣнія». Да, говорятъ во вниманіе къ нимъ, это—черты, признаки начинающагося упадка. Орфики, Сократъ, циники и т. д. это, говорятъ теперь,—предшественники паденія язычества и подготовленія христіанства.

Уступка сдѣлана большая, но перспектива все еще подъ господствомъ стараго термина. Упадокъ растянулся на 6—8 вѣковъ. Но, спрашивается, долго ли длилось процвѣтаніе, нормальное состояніе? И вотъ, оказывается, оно чуть ли не должно быть ограничено однимъ V вѣкомъ, потому что предшествующіе моменты мало извѣстны и неясны. Что же это, однако, за упадокъ, что это за болѣзненный кризисъ, который по продолжительности своей самъ обращается въ норму? Несмотря на эти несообразности, терминъ продолжаетъ свое воздѣйствіе. Разъ эпоха отъ Сократа до Юліана Отступника считается эпохой «упадка» или «переходной», на нее переносятъ опредѣленныя психологическія комбинаціи, которыя мы привыкли связывать съ явленіями болѣзни, страданія, тяжелаго ожиданія, душевныхъ сомнѣній и т. д.

Главный результатъ господства укрѣпившихся терминовъ состоитъ въ томъ, что они сдвигаютъ явленія и характерныя черты какъ бы на одну плоскость, въ неподвижную, фиксированную картину. Благодаря господству термина «античное міровоззрѣніе» на протяженіи всей греческой исторіи искали какого-то идеальнаго эллина съ основной нотой настроенія и основнымъ принципомъ мысли. Въ явленіяхъ разныхъ моментовъ этой исторіи ста-



рались открыть какія-то логическія сцѣпленія, какую-то гармонію качествъ и т. п.

То, что случилось съ формулой «античнаго міровоззрѣнія», произошло также съ понятіемъ «античнаго хозяйства», и тѣмъ легче установилась здѣсь систематическая картина, что внѣшнія рамки «античной эпохи» были готовы, и по аналогіи казалось естественнымъ найти въ нихъ также однородныя хозяйственныя условія, и притомъ родственныя, соотвѣтствующія культурнымъ. Отсюда получилась условная группа хозяйственныхъ признаковъ и образовъ, сдвинутыхъ въ одно цѣлое на протяженіи отъ временъ Пріама и Одиссея до вступленія въ предѣлы имперіи варваровъ въ IV и V вв. послѣ Р. Х. Рабскій трудъ, презрѣніе свободныхъ къ индустріальной работѣ, слабость обмѣна и самодовлѣніе домашнихъ хозяйствъ, такъ называемыхъ ойковъ, приготовлявшихъ все необходимое въ своей средѣ,—вотъ черты, которыя относили, какъ типичныя и притомъ тѣсно связанныя между собой, въ одну систематическую картину.

Лишь въ послѣднее время стали разрушать эту ложную картину. Главное усиліе такихъ ученыхъ, на примѣръ, какъ Эд. Мейеръ, направлено къ тому, чтобы разъединить несуществующую въ дѣйствительности, но стянутую въ представленіяхъ систему фактовъ, чтобы локализовать факты по мѣсту и времени, различить, когда и гдѣ было рабство и въ какой формѣ, когда и гдѣ былъ натурально-хозяйственный ойкосъ и сталъ развиваться капитализмъ; чтобы разсѣять опять-таки прицѣпившееся къ термину «античная жизнь» представленіе о какихъ-то неповторяемыхъ своеобразностяхъ этой жизни, чтобы показать многочисленныя ея аналогіи съ новоевропейской культурой. Уже по тому необыкновенному интересу, съ какимъ встрѣ-

чены были брошюры и рефераты Эд. Мейера \*), по рѣзкимъ оживленнымъ возраженіямъ, которыя они вызвали, можно судить, какова сила унаслѣдованныхъ рубрикъ, какъ существенно направляютъ онѣ и регулируютъ работу историка.

Мы видѣли, что въ запасѣ примѣняемыхъ нами группировокъ, фактовъ, постановокъ вопросовъ есть формулы необыкновенно старыя, далеко пережившія то настроеніе, которое ихъ вызвало. Между ними могутъ оказаться такія, которыя удержались отъ давно исчезнувшихъ уже міровоззрѣній, удержались въ качествѣ старыхъ символовъ и реликвій, по инерціи. Анализъ вскрыетъ ихъ несоотвѣтствіе другимъ нашимъ запросамъ.

Въ качествѣ примѣра подобныхъ уцѣлѣвшихъ обрывковъ старыхъ религіозныхъ и философскихъ системъ можно было бы привести весьма распространенныя формулы о роли въ исторіи великихъ личностей.

Достаточно немного взглянуть въ эти опредѣленія, чтобы видѣть, что они представляютъ развитіе традиціонной идеи о герояхъ. Это—старое, очень старое понятіе о великихъ чудодѣяхъ, оставившихъ по себѣ сильное впечатлѣніе, фигуры которыхъ нужны потомству, чтобы объяснить важныя эпохи и повороты исторіи. Нетрудно замѣтить, въ какой мѣрѣ крупныя, «великія» личности въ обычныхъ историческихъ характеристикахъ похожи на мифологическихъ героевъ. Находимъ ли мы у иныхъ людей еще подлинную вѣру въ необычайную роль геніальныхъ дѣятелей, или встрѣчаемъ въ историческихъ схемахъ болѣе замаскированное выраженіе этой идеи въ видѣ рационалистической оцѣнки мѣста и вліянія геніевъ въ исто-

---

\*) „Объ экономическомъ развитіи древняго міра“ и „О рабствѣ въ древности“.



ріи—все равно, передъ нами остатокъ стараго міеологическаго міровоззрѣнія.

Въ самомъ дѣлѣ: мы имѣемъ здѣсь тотъ же пріемъ олицетворенія въ одной творящей или мыслящей личности—момента, массоваго дѣла, совокупности идей, поступковъ, учрежденій, ту же привычку отыскивать для сложной дѣйствительности одну простую и притомъ живую олицетворенную причину; ту же мысль, что эпоха или движеніе должны имѣть своего родоначальника, своего эпони́ма. У насъ теперь въ этомъ отношеніи лишь подновлена терминологія; но по существу точка зрѣнія не далека отъ какой-нибудь гомеровской. Во всякомъ случаѣ мы имѣемъ еще среди историческихъ истолкованій нѣчто равное по своей архаичности знаменитому флогистону, посредствомъ котораго объясняли прежде горѣніе, или не менѣе знаменитой «боязни пустоты», которая приписывалась физическимъ тѣламъ.

Анализъ съ точки зрѣнія теоріи познанія долженъ открыть намъ наличность въ нашихъ историческихъ разсужденіяхъ цѣлаго ряда предвзятыхъ комбинацій, относительно которыхъ намъ, можетъ быть, долго не пришло бы въ голову подумать, почему мы считаемъ ихъ нормальными. Эти комбинаціи, по канвѣ которыхъ мы строимъ перспективы фактовъ, нерѣдко всего лишь сравненія, метафоры, тропы, реторическіе обороты. Въ концѣ-концовъ онѣ ни что иное, какъ обьективированные моменты нашей психики. Раздѣленіе всего человѣчества на эллиновъ и іудеевъ или на Донъ-Кихотовъ и Гамлетовъ, конечно,—лишь остроумная игра поэзіи, но въ томъ же направленіи составляются цѣлыя разсужденія о дѣятеляхъ исторіи, обь историческихъ націяхъ и эпохахъ. Въ основѣ подобныхъ историческихъ характеристикъ лежитъ представленіе о

свойствахъ личности, о психологическихъ моментахъ, которые раздвинуты на цѣлыя группы, претворены въ краски эпохъ.

Если бы мы захотѣли примѣнять къ подобнымъ комбинаціямъ мысли терминъ *idola*, которымъ Бэконъ обозначалъ обычныя предвзятости въ состояніи научныхъ сужденій, мы бы могли собрать нѣсколько типовъ психологическихъ *idola*.

Очень распространено, напримѣръ, разсужденіе по типу *психологическаго параллелизма*. Въ общихъ характеристикахъ эпохи реформаціи можно найти такое объясненіе связи между религіозными и политическими направленіями XVI и XVII вв.: протестантизмъ представляетъ собой индивидуализмъ въ религіи, принципъ личной свободы и самоопредѣленія въ области вѣры и теоретической мысли; слѣдовательно, онъ долженъ былъ по необходимости вести къ требованію и къ развитію политической свободы, свободнаго права личности въ государствѣ и т. п. Отсюда дальше строился выводъ, что корни европейской революціи лежатъ въ реформаціи. Въ основѣ этого построенія лежитъ, безъ сомнѣнія, мысль о психическихъ аналогіяхъ и ихъ взаимодѣйствіи: свободѣ вѣры аналогична свобода политическая, какъ представленіе, и *потому* одна вызываетъ другую и въ историческомъ ходѣ вещей.

Собственно говоря, факты не даются въ эту схему. Франція, эта главная арена политической революціи, осталась въ огромной массѣ своего населенія вѣрной католичеству. Наоборотъ, въ Германіи, главномъ полѣ реформаціи, до XIX вѣка не наблюдается движенія къ политической свободѣ. Противники парламентаризма и политической свободы, Стюарты, склонны были по временамъ къ политикѣ религіозной свободы и т. п. Но, чтобы выйти



изъ всѣхъ этихъ затрудненій, сторонники вышеприведенной схемы помогали себѣ разными комбинаціями. Предполагаемая причина должна же была такъ или иначе сойтись съ предполагаемымъ слѣдствіемъ: идеи—такъ глаголю добавочное, вспомогательное объясненіе — могутъ дѣйствовать на разстояніи, съ пропускомъ болѣе или менѣе значительнаго промежутка; онѣ переходятъ изъ одной страны въ другую и пускаютъ корни, продолжаютъ свою работу на новой почвѣ.

Примѣромъ натяжки въ угоду разъ принятой психологической комбинаціи можетъ служить истолкованіе слѣдующаго частнаго факта въ духѣ приведенной выше параллели. Въ эпоху религіозныхъ войнъ во Франціи протестанты и католики, по очереди, по мѣрѣ того, какъ вступали въ оппозицію правительству, выдвигали революціонную программу и защищали теоріи политической свободы. Въ публицистикѣ обѣихъ религіозныхъ партій было ученіе объ общественномъ договорѣ и ограниченіи договоромъ авторитета монарха, о правѣ народнаго сопротивленія незаконной или тираннической власти вплоть до оправданія политическаго убійства, ученіе о представительствѣ и парламентарномъ строѣ управленія; выставлялись, наконецъ, радикальные республиканскіе и федералистическіе планы и проекты. По своей настойчивости и рѣзкости гугенотскіе и католическіе публицисты были почти равны, можетъ быть, даже послѣдніе были рѣзче. Между тѣмъ, разъ находясь подъ вліяніемъ вышеприведенной политической характеристики протестантизма, новые историки по большей части потратили много усилій на то, чтобы у гугенотовъ найти болѣе радикальные, рѣшительные и послѣдовательные политическіе принципы, чѣмъ у ихъ религіозныхъ противниковъ.

На такой же комбинаціи историческаго параллелизма основаны, повидимому, стремленія историковъ найти въ ранней христіанской эпохѣ, въ предѣлахъ принявшей христіанство Римской имперіи новый соціальный строй, болѣе мягкій и гуманный, чѣмъ въ предшествовавшую языческую эпоху. Въ этомъ смыслѣ, напримѣръ, любопытны были усилія многихъ историковъ истолковать явленія крѣпостного колоната, связаннаго съ большими вотчинами, какъ фактъ соціальнаго прогресса, какъ фактъ «роста соціальной справедливости» въ сравненіи съ рабовладѣльческимъ плантаціоннымъ хозяйствомъ конца республики и начала имперіи. Сколько было написано теплыхъ словъ по поводу отдачи рабу избы и семьи, двора и очага, сколько декламацій о томъ, что во имя оздоровленія массъ не должно жалѣть о гибели культуры и крушеніи «10.000 человекъ высшаго слоя»,—и все это подѣ влияніемъ той мысли, что новой этикѣ должны были отвѣчать новыя аналогичныя соціальныя черты.

Здѣсь нѣтъ нужды критиковать это воззрѣніе и указывать, напримѣръ, на то, что крѣпостной колонатъ вобралъ не столько бывшихъ рабовъ, сколько свободный мелкій людъ, крестьянъ и арендаторовъ, что большія рабовладѣльческія хозяйства не были и раньше общераспространенной формой, а съ другой стороны, сохранились и позднѣе, въ христіанскую эпоху. Нѣтъ нужды останавливаться на тяжелыхъ отрицательныхъ сторонахъ благословляемаго колоната, на явленіяхъ прикрѣпленія людей, на явленіяхъ новаго патріархализма и произвола сеньеровъ. Намъ важно теперь отмѣтить лишь зависимость недавняго еще толкованія колоната отъ нѣкоторой типичной схемы, которую можно подвести подѣ понятіе параллелизма.



• Приёмъ историческаго параллелизма, очень распространенный, смѣняется по временамъ другимъ, до извѣстной степени противоположнымъ, который основанъ на понятіи, такъ сказать, *историческаго уравновѣшенія*, возмѣщенія. Вотъ примѣръ его примѣненія. Первая половина Среднихъ вѣковъ въ средней Европѣ характеризуется сильнымъ развитіемъ соціальной іерархіи, сеньората и патронажа, приниженіемъ соціально слабыхъ, которые закладываются за сильныхъ, и т. д. Историкъ какъ будто старался найти этому факту противовѣсъ: онъ точно силился отыскать въ современной этимъ явленіямъ обстановкѣ уравновѣшивающіе, утѣшающіе элементы. Такіе элементы онъ отыскивалъ въ церкви; онъ говорилъ, что среди военно-аристократическаго феодальнаго общества церковь оставалась демократичной, что ея составъ въ Средніе вѣка былъ плебейскій, что она была великой уравнительницей. Эти разсужденія еще болѣе какъ будто подкрѣплялись той общей мыслью, что христіанство—по существу демократическое ученіе. Иллюстраціей служили два-три примѣра, два-три выходца изъ низшихъ классовъ, которые дошли въ церковной средѣ до положенія крупныхъ іерарховъ. Эти примѣры, подъ вліяніемъ разъ сложившагося понятія, какъ бы возводились въ правило и закрывали собою массу другихъ, противоположныхъ.

Мы склонны думать теперь скорѣе, что церковь никогда не стояла въ сторонѣ отъ другихъ соціальныхъ формъ; что церковь въ каждую эпоху воспроизводила и повторяла въ своей средѣ современное ей общество въ его экономическихъ и культурныхъ чертахъ. Церковный строй былъ магнатскій и феодально-крѣпостной въ эпоху сеньората; въ немъ выдвинулись демократическіе элементы и формы денежнаго хозяйства въ эпоху городского

развитія и т. п. Но, не въ критикѣ дѣло. Намъ опять важно въ данную минуту отмѣтить лишь вліянія своеобразной психической комбинаціи, которая заставляла современнаго ученаго искать въ историческихъ картинахъ элементовъ «уравновѣшенія».

Внимательно присматриваясь къ тѣмъ исходнымъ представленіямъ, которыя направляютъ ту или другую постановку, размѣщеніе, освѣщеніе фактовъ для цѣлыхъ группъ или эпохъ, мы замѣчаемъ среди нихъ нерѣдко простыя *метафоры*. Вотъ, напримѣръ, обычное сужденіе объ основномъ мотивѣ средневѣковаго готическаго искусства: «готическій соборъ,—читаемъ мы,—выражаетъ собой религіозный духъ Среднихъ вѣковъ, стремленіе въ высь, въ безконечность». Не очевидно ли, что здѣсь все разсужденіе возникло изъ двойного смысла слова «высота, высокій», что простая игра словъ обратилась въ теорію? Изъ подобнаго же словеснаго сопоставленія возникла обычная характеристика настроенія средневѣковаго человѣка, которое привыкли сводить на особенно тяжелое душевное состояніе, на разладъ и внутреннюю борьбу. Гдѣ у насъ опора для такого описанія психологіи средневѣковаго человѣка? Кажется, болѣе всего въ простомъ звукѣ словъ «два», «двойственный», «раздвоеніе». Историкъ повторяетъ выраженія: «дуализмъ въ понятіяхъ о духовномъ и матеріальномъ началѣ жизни», «борьба двухъ универсальныхъ притязаній—папской и императорской власти», повторяетъ эти слова и начинаетъ говорить о какой-то особой раздвоенности средневѣковаго человѣка, современнаго этимъ двойственностямъ.

Въ сущности, на метафорѣ основывается и такъ называемая органическая теорія развитія государства и общества, органическая теорія вообще въ соціологіи. Сравне-



ніе общества съ организмомъ, терминъ «органическая связь личности съ обществомъ», употребляемый въ противоположность понятію о механическихъ связяхъ, — всѣ эти сравненія, формулы и антитезы были брошены въ ходъ реакціонной публицистикой начала XIX в. Противопоставляя организмъ механизму, эта публицистика имѣла въ виду рѣзко отдѣлить свои требованія отъ просвѣтительныхъ и революціонныхъ началъ предшествующаго вѣка.

«Государство—механизмъ» значило въ ея терминологіи: равныя права лицъ, въ своей совокупности представляющихъ верховный народъ; «государство—организмъ» значило: распредѣленіе людей по старинной соціальной іерархіи, подчиненіе лица своей «естественной» группѣ, т.-е. подчиненіе каждому своему старому соціальному авторитету. Органическія связи въ переводѣ на болѣе конкретный языкъ означали: крѣпостное право, цеховая регламентація, подчиненіе рабочихъ патрону, охрана дворянской чести и дворянскихъ привилегій и т. п. Въ прямой рѣчи это звучало грубо; зато въ высшей степени удачно было придуманное слово, потому что оно напоминало о какихъ-то кровныхъ, неразрывныхъ отношеніяхъ, о взаимномъ питаніи, о цѣлости жизни общества при взаимодействіи клѣточекъ-личностей, въ отдѣльности ничтожныхъ и неизбежно гибнущихъ.

Сравненіе имѣло поразительный успѣхъ и дало толчокъ очень продолжительный, который выразился въ различныхъ органическихъ теоріяхъ, въ послѣдствіи уже отрѣшившихся отъ реакціонной тенденціи. У сторонниковъ органическаго взгляда всѣ явленія общественнаго развитія, образованіе классовъ, торговый обмѣнъ, политическое управленіе и т. д. находятъ себѣ аналогію въ явленіяхъ органической жизни животныхъ, въ развитіи у послѣд-

нихъ кровеносной, нервной и костяной системъ, въ обмѣнѣ и циркуляціи питательныхъ веществъ и. т. д. Всѣ эти детальныя опредѣленія органической школы составляютъ только продолженіе основной метафоры, они—частныя, раздробленныя метафоры въ томъ же направленіи. Другой вопросъ, въ какомъ смыслѣ органическія теоріи помогли отыскать новые факты, классифицировать ихъ; работа могла быть очень плодотворна; но исходный мотивъ ея остается все же лишь поэтическимъ или риторическимъ оборотомъ.

Общія комбинаціи, подобныя тѣмъ, которыя были только что приведены, связаны извѣстною нитью съ общественными направленіями, хоть иногда и очень отдаленною. Есть цѣлый рядъ приемовъ, которые зависятъ отъ нашихъ болѣе общихъ, болѣе длительныхъ психическихъ привычекъ, которыя трудно свести на политическія и социальныя теченія и воздѣйствія опредѣленныхъ эпохъ. Такіе приемы могутъ быть важны, какъ извѣстные толчки къ наблюденію, къ классификаціи, какъ способы совершать разрѣзы матеріала; не надо только забывать, что они составляютъ рамку для воспринятія впечатлѣній, что они представляютъ наши мысленные опыты, а не реальныя отношенія самихъ вещей.

Къ такимъ приемамъ относится, напримѣръ, обычное раздѣленіе историческаго матеріала на *событія* и *состоянія*.

Группировка эта очень естественна. То мы стараемся собрать разрозненныя въ нашей традиціи, но одновременныя въ дѣйствительности явленія въ одну картину, на одну плоскость, на протяженіи пространственномъ; тогда мы получаемъ состоянія. Тогда мы говоримъ, напримѣръ, о средневѣковой церкви, о крѣпостномъ правѣ,



о старомъ режимѣ и т. д. Ради яркости и цѣльности мы при этомъ обыкновенно раздвигаемъ хронологическія рамки; беремъ явленія болѣе раннія и болѣе позднія, такъ что вмѣстѣ у насъ въ представленіяхъ встрѣчаются черты и явленія, которыя не были сосуществующими въ дѣйствительности. То мы стараемся размѣстить обрывки исторической традиціи, сохранившіеся въ историческихъ свидѣтельствахъ, слѣдуя другому приему: а именно, группируя ихъ въ порядкѣ слѣдованія на протяженіи времени. Тогда мы получаемъ событія: событія, напримѣръ, перваго крестоваго похода, событія англійской революціи 1642 г., эпохи національнаго собранія во Франціи 1789 г., событія городской борьбы классовъ въ Средніе вѣка и т. д. Между непрерывно идущими событіями, которыя иногда мы могли бы рассказывать или регистрировать день за днемъ, мы выдѣляемъ нѣкоторыя, на нашъ взглядъ особенно яркія группы, гдѣ смѣна быстрѣе, гдѣ захвачена большая масса людей. Мы называемъ ихъ великими событіями, событіями въ настоящемъ смыслѣ этого слова.

Ясно, что въ этихъ формахъ событій и состояній мы имѣемъ лишь два возможныхъ мысленныхъ разрѣза явленій, лишь два возможныхъ способа наблюденія и классификаціи. Разъ они заключаютъ въ себѣ для насъ извѣстное удобство, мы можемъ, конечно, далѣе распредѣлять весь матеріалъ явленій по двумъ группамъ, смѣняя по очереди примѣненіе двухъ способовъ. Тогда историческое изложеніе получаетъ приблизительно такой видъ: сначала идетъ характеристика господства извѣстнаго состоянія, напримѣръ, стараго режима; за нею слѣдуетъ изображеніе катастрофы, ряда событій, это—революція; потомъ составляется новая характеристика состоянія изъ элементовъ другой эпохи, доводящая насъ до изображе-

нія новаго событія, новаго кризиса. Если мы совершаемъ такое распредѣленіе матеріала, то это не значитъ, что во время катастрофъ, событій не длилось извѣстныхъ состояній, или чтобы въ эпоху, захваченную нашей характеристикой состоянія, не совершалось событій или дѣйствій. Нисколько. Дѣло лишь въ томъ, что мы сами, наблюдатели, по очереди перемѣщаемся на другое мѣсто зрѣнія.

Казалось бы, условія этой перестановки матеріала нетрудно замѣтить. А между тѣмъ это постоянно происходитъ: состоянія противопоставляются событіямъ, но не въ качествѣ двухъ нашихъ умственныхъ разрѣзовъ, а какъ противоположныя реальныя вещи или реальныя отношенія; историки нерѣдко склонны искать между ними причинной связи, спрашивать, почему и какъ такое-то состояніе вызвало такое-то событіе: а вѣдь это значитъ искать причинной связи между результатами двухъ способовъ нашего наблюденія.

Ошибка идетъ дальше: событія и состоянія разсматриваются, какъ различные, независимые другъ отъ друга реальныя ряды связанныхъ между собой причинною связью явленій или отношеній; для каждаго ряда явленій предполагается особый законъ или особые законы. На такомъ различеніи построена одна изъ знаменитыхъ частей теоріи Конта.

У Конта раздѣленіе соціологіи на статику и динамику основывается на двухъ, совершенно разныхъ принципахъ: во-первыхъ, на томъ, что въ человѣческомъ обществѣ можно различать строеніе и отправленіе, анатомію его и его фізіологію, при чемъ первую изучаетъ статика, вторую динамика. Это различеніе касается метода, оно имѣетъ въ виду уголъ зрѣнія наблюдающаго. Каково бы



ни было содержаніе того, что происходитъ въ изучаемомъ обществѣ, наблюдатель разсматриваетъ его со стороны его строенія или его функціонированія.

Но это дѣленіе для Конта вполнѣ совпадаетъ съ другимъ, въ которомъ приняты во вниманіе реальныя отношенія. Общество, думаетъ онъ, можетъ находиться въ покоѣ или въ движеніи; оно можетъ подчиняться порядку или прогрессу. Порядку общественному свойственна система, гармонія, согласіе всѣхъ одновременно существующихъ частей, прогрессу свойственна смѣна, кризисы. Это уже различія въ самомъ предметѣ, это—разные характеры самихъ эпохъ.

Однако первое и второе различіе тождественны для Конта. Изучать общественную гармонію, по его мнѣнію, есть то же, что изучать строеніе общества; изучать общественные кризисы—то же, что изучать функціонированіе общества. Законы общественной гармоніи не тѣ, что законы общественныхъ кризисовъ. Но первые получаются изъ изученія общественной анатоміи, вторые—изъ изученія общественной фізіологіи. Слѣдовательно, на примѣръ, «старый порядокъ» во Франціи до революціи въ одно и то же время составляетъ нашъ анатомическій разрѣзъ, сдѣланный надъ опредѣленнымъ обществомъ въ опредѣленный моментъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ это—сама Франція въ состояніи покоя и соціальной гармоніи, Франція до разрыва, до кризиса, съ котораго только и начинается функціонированіе общества.

Ошибка Конта, очень характерная для позитивизма, продолжается подъ другими терминами и въ наше время. Вотъ, на примѣръ, дѣленіе исторіи на прагматическую и культурную, или на исторію политическихъ дѣяній и исторію соціальныхъ состояній. Если бы это была простая

справочная группировка матеріала, нечего было бы и возражать противъ такого дѣленія. Но иѣтъ, многіе съ нею связываютъ представленіе о двухъ разныхъ рядахъ явленій, въ которыхъ господствуютъ два разныхъ закона. При этомъ лишь въ исторіи состояній допускается вліяніе массоваго фактора, дѣйствіе неизбежной силы коллективнаго движенія, въ прагматической же предполагаютъ наличность или даже преобладаніе личнаго фактора, инициативы личности, вліянія крупныхъ людей и т. д. Въ состояніяхъ, рассуждаетъ, напримѣръ, Лампрехтъ, наблюдается лишь необходимое слѣдованіе ступеней развитія соціальнаго типа, и личность безсильна; она лишь носитель, показатель теченія; другое дѣло—кризисы, событія, дѣйствія; здѣсь личность выступаетъ активно и направляетъ ихъ ходъ.

Подобное рассужденіе было бы немыслимо, если бы съ самаго начала была ясно опредѣлена роль, положеніе самого наблюдателя. Представимъ, что передъ нами происходило бы какое-нибудь быстрое движеніе массы существъ, напримѣръ, бѣгъ солдатъ или всадниковъ, въ которомъ бы сливались очертанія отдѣльныхъ фигуръ и чувствовалась бы только масса; допустимъ, далѣе, что мы имѣли бы моментальныя фотографіи частей, группъ и моментовъ бѣга, въ которыхъ мы, вглядываясь, узнавали бы ясно отдѣльныя лица. Придетъ ли намъ въ голову говорить, что именно въ моменты, схваченные фотографіей, и въ тѣхъ частяхъ, гдѣ, благодаря снимку, выступаютъ отдѣльныя лица, сильно сказывалось вліяніе личности, что, напротивъ, въ моменты или въ частяхъ, гдѣ передъ глазами нашими мелькали краски и лица были неузнаваемы, значеніе личностей именно поэтому было слабѣе или отсутствовало? А между тѣмъ, различіе «законовъ собы-



тій» и «законовъ состояній» именно основано на такомъ смѣшеніи понятій.

Болѣе всего, можетъ быть, приходится считаться въ историческихъ построеніяхъ съ воздѣйствіемъ одной глубоко намъ привычной общепсихической комбинаціи; это—тотъ пріемъ, который Авенаріусъ и его школа называли *интроекціей*. Интроекція встрѣчается въ нашихъ разсужденіяхъ на каждомъ шагу. Она состоитъ вообще въ томъ, что позади предметовъ, которые мы воспринимаемъ въ ихъ движеніи, смѣня, мы подставляемъ понятіе нѣкоей «внутренней» силы и приписываемъ ей толчокъ, источникъ движенія и перемѣны. Въ видимыхъ намъ, обрывочно данныхъ актахъ и моментахъ мы предполагаемъ результаты дѣйствія нѣкоторой силы, и по этимъ результатамъ заключаемъ о невидимомъ, но необходимо существующемъ, какъ намъ кажется, факторѣ; чтобы связать обрывки, данные намъ во впечатлѣніи, мы вводимъ мысленно среди нихъ лицо, творческую энергію.

Самая обычная форма интроекціи, это—олицетвореніе. Интроекція можетъ принимать разнообразныя и сложные виды. Но ея особенностью всегда является расчлененіе, производимое нами въ группѣ воспринятыхъ моментовъ: расчлененіе это состоитъ въ томъ, что мы различаемъ въ такой группѣ элементы творящіе и творимые, начало активное и пассивное, матерію и духъ.

Интроекція лежитъ, напримѣръ, въ основѣ представленія о душѣ человѣка, отдѣльной отъ тѣла. У живого человѣка мы видимъ и слышимъ одни движенія. Мы производимъ среди нихъ мысленное дѣленіе, начинаемъ различать въ нихъ какое-то движущее начало и что-то движимое. Такъ какъ результатомъ смѣны является передвиженіе руки, ноги, языка, губъ и т. д., т.-е. того, что раньше

представлялось спокойнымъ или находилось въ другомъ положеніи, то движимое мы отождествляемъ съ видимымъ и называемъ его тѣломъ, матеріей; двигателя приходится уже отнести куда-то вѣнтръ, объявить невидимымъ, духовнымъ началомъ, а между тѣмъ и другимъ мы ставимъ знакъ причины, формулу прямого воздѣйствія одного на другое.

Подобное расчлененіе мы постоянно производимъ среди данныхъ, которыя заключены въ нашихъ историческихъ свидѣтельствахъ. Такъ возникаютъ, напримѣръ, сужденія о вліяніи идей на общество или о вліяніи крупной личности на эпоху.

Въ сущности, источники, историческія свидѣтельства заключаютъ въ себѣ лишь обрывочныя указанія на извѣстные акты, отношенія, мнѣнія прошлаго. Личности, и какъ разъ наиболѣе выдающіяся, наиболѣе ярко выражающія извѣстныя тенденціи, служатъ для насъ единственными показателями общественныхъ теченій, настроеній, идей, дѣятельности учрежденій прошлаго. Это—единственные наши свидѣтели, но мы хотимъ также сдѣлать ихъ объектами своего разсмотрѣнія, своего суда, и вотъ мы расчленяемъ группу воспринятыхъ историческихъ впечатлѣній: мы начинаемъ выдѣлять извѣстныя намъ личности въ качествѣ творящихъ, воздѣйствующихъ, отъ остальной неизвѣстной намъ массы, которой мы приписываемъ лишь пассивное восприниманіе. Однако характеристику массы мы составляемъ по тѣмъ же самымъ даннымъ жизни и мысли извѣстныхъ намъ личностей, потому что иныхъ данныхъ нѣтъ: мы только стираемъ нѣсколько оригинальныя черты, разницу между личностями, чтобы изъ суммы стертыхъ фигуръ получить «среду». Мы какъ бы два раза эксплуатируемъ однихъ и тѣхъ же свидѣтелей, заставляя



ихъ выступать то какъ факторъ воздѣйствія, то какъ объектъ воздѣйствія. По однимъ и тѣмъ же людямъ мы судимъ о характерѣ, силѣ полученнаго вліянія, и о характерѣ, силѣ оказаннаго вліянія.

Примѣромъ могутъ служить обычныя сужденія, наприкладъ, о благотворномъ вліяніи гуманизма на европейское общество или объ опасномъ воздѣйствіи на умы католическаго возрожденія XIX вѣка. Какъ получились эти сужденія? Мы имѣемъ въ историческихъ свидѣтельствахъ факты увлеченія людей извѣстной эпохи нѣкоторыми формулами, догматами, символами, факты повторенія людьми нѣкоторыхъ аргументовъ, сравненій и т. д. Между ними есть болѣе яркія, болѣе мотивированныя и болѣе блѣдныя, отрывочныя выраженія настроеній и мыслей. Вотъ на этихъ различіяхъ, а съ другой стороны на хронологической послѣдовательности манифестацій и строится то раздвоеніе матеріала, которое обращается у историка въ картину «воздѣйствія», «вліянія» того или другого теченія на умы. Въ одну сторону отходятъ болѣе раннія, болѣе яркія группы умственныхъ манифестацій. Это—само «теченіе», «направленіе», наприкладъ, гуманизма, реформаціи, романтизма. Въ другую сторону отходятъ болѣе позднія, менѣе связныя, менѣе яркія выраженія. Это—«общество», «умы», «среда», которые испытали воздѣйствіе. Между тѣмъ и другимъ ставится знакъ интродукціи, выражаемый въ сущности непонятнымъ, почти мистическимъ словомъ «вліяніе».

Мало того. Мы склонны переносить различеніе активныхъ и пассивныхъ элементовъ во внутреннюю жизнь личности. Очень распространенъ способъ разсматривать историческаго дѣятеля, скажемъ для примѣра, Лютера, въ двухъ фазисахъ жизни, страдательномъ и творческомъ :

до извѣстнаго момента этой жизни (напримѣръ, у Лютера до 95 тезисовъ или до Вормскаго сейма) мы разбираемъ направлявшіяся на историческаго дѣятеля вліянія, т.-е. предшествующія идеи, полученныя имъ впечатлѣнія отъ окружающаго, которыя какъ бы должны были формировать, опредѣлить личность; затѣмъ далѣе, начиная съ такого момента и въ предположеніи, что процессъ образованія, формировки личности кончился,—мы рассматриваемъ личность уже въ ея творящей, комбинирующей дѣятельности, какъ готовую силу, вносящую свое начало кругомъ; мы рассматриваемъ въ этомъ второмъ фазисѣ реакціоніе личности на другихъ, на окружающія отношенія, которыя въ свою очередь представляются въ видѣ чего-то неготоваго, бродящаго, дожидаящагося властной, организаторской руки.

Здѣсь интроспекція распространена до размѣровъ обширной картины. Но основной пріемъ крайне простъ: рядъ впечатлѣній, рядъ моментовъ разложенъ на двѣ группы по тому же типу, по которому проявленія жизни отдѣльнаго человѣка разлагаются нами на явленія тѣла и духа.

---

Предшествующія замѣчанія имѣли цѣлью указать лишь на общій характеръ надвигающихся теоретическихъ проблемъ въ области исторіи. Если эти проблемы дѣйствительно важны и будутъ настойчиво поставлены, теорія исторической науки вступитъ въ новый крупный періодъ развитія. Эпохи этого развитія естественно примыкаютъ къ большимъ моментамъ философскаго, т.-е. общаго научнаго движенія и вмѣстѣ съ тѣмъ къ большимъ смѣнамъ соціально-политическихъ судебъ культурнаго общества.

Съ середины приблизительно XVIII в. историческая



мысль направлялась по преимуществу въ рамкахъ особой системы понятій, за которой осталось названіе «*философіи исторіи*». Въ философіи исторіи былъ заключенъ сильный религіозный порывъ, и она сама служила замѣтнымъ продолженіемъ церковной системы міровоззрѣнія, особенно въ ея католической формѣ. Въ философіи исторіи можно видѣть результатъ до извѣстной степени посмертнаго вліянія католицизма, поскольку онъ пересталъ быть живой вѣрой для культурнаго общества и остался лишь традиціонной системой для отстающихъ массъ.

Философія исторіи предполагала чисто-церковную идею объединенія на землѣ спасеннаго человѣчества въ одну общину съ земнымъ раемъ впереди, съ предтечами торжества человѣческой культуры въ началѣ, съ единой линіей всеспасающаго прогресса посрединѣ. Не даромъ же представители философіи исторіи говорили иногда о прежнихъ дѣятеляхъ человѣчества, какъ о святыхъ, въ его вѣчно живомъ, подобномъ церкви, прошломъ (Контъ); или развивали мечту о предстоящемъ переходѣ рода человѣческаго въ новую ангельскую или вообще сверхземную форму (Гердеръ); или приближались къ представленію о конечномъ тысячелѣтнемъ царствѣ на землѣ (Гегель съ его идеей блаженной старости «духа», Контъ съ его ученіемъ о «финальномъ» состояніи, въ которое вступаетъ человѣчество). По концепціи философіи исторіи великая община человѣчества живетъ въ каждый данный моментъ всею своей традиціей заразъ; она вырабатываетъ въ своей средѣ новые пути, новыя задачи, новыя блага логически и цѣлесообразно, какъ будто бы все глубже раскрывая смыслъ нѣкоего основного догмата.

Въ философско-историческихъ построеніяхъ, въ сущности, не было выясненія причинной связи, закономѣр-

ности явленій. Изображались фазы единственного явленія, метаморфозы, ступени торжества общечеловѣческой культуры, крестный ходъ, тріумфальное шествіе всемірной исторіи. Чудесный путь раскрыть передъ людьми: должно понять его направленіе, его темпъ, его результаты, и тогда намъ озарятся новыя, можетъ быть, послѣднія на землѣ перспективы—вотъ что хотѣла сказать восторженная, полная вѣры философія исторіи.

Второй періодъ, идущій приблизительно съ окончанія первой четверти XIX в.,—періодъ, который можно бы назвать *соціологическимъ*,—открывается настроеніемъ разочарованія, и въ политическомъ, и философско-религіозномъ отношеніи. Поколѣнія, пережившія революцію и реакцію, видѣли въ историческихъ судьбахъ много возвратовъ, паденій, соціальныхъ «смертей». У нихъ пошатнулась вѣра въ непрерывность прогресса. Для нихъ выдвинулась на первое мѣсто жизнь составныхъ единицъ, отдѣльныхъ націй и обществъ вмѣсто неопредѣленнаго цѣлаго, человечества. Такимъ образомъ намѣтилась новая научная цѣль: разбить это цѣлое на нормальныя, живучія группы, отыскать пути развитія отдѣльныхъ группъ, сравнить ихъ другъ съ другомъ, найти между ними сходство, аналогичныя ступени и на основаніи ихъ отыскать въ развитіи группъ движущія, возобновляющія дѣятельныя силы, «причины» явленій, «факторы» явленій. Установленіе причинныхъ рядовъ путемъ, главнымъ образомъ, сравнительнаго изученія, открытіе «законовъ» смѣны и движенія—вотъ формулировка основныхъ задачъ исторической науки въ этомъ періодѣ.

Соціологическое направленіе внесло въ представленія объ историческомъ процессѣ рѣзкую классификацію; оно видѣло въ этомъ процессѣ эволюціонныя «ряды» твердаго



очертанія, каковы—право, хозяйство, государственная и общественная организація, культура и т. д. Между этими рядами предположены были опредѣленные отношенія причинъ и слѣдствій, основныхъ и производныхъ группъ и т. д. Господство этого направленія до извѣстной степени совпало и стояло въ связи съ преобладаніемъ матеріалистической философіи. Оно вмѣстѣ съ тѣмъ находило себѣ поддержку въ великихъ успѣхахъ эволюціонной теоріи въ области естественныхъ наукъ.

Возникающее на нашихъ глазахъ новое направленіе въ области общей исторической мысли стоитъ въ связи съ критическимъ направленіемъ въ философіи и съ успѣхами опытной психологіи. Его можно бы назвать *теоретико-познавательнымъ критицизмомъ*.

Въ какомъ направленіи могутъ развиваться его задачи, объ этомъ уже было сказано. Оно ставитъ себѣ цѣлью выдѣлить отчетливо тѣ элементы нашей психики, которыми опредѣляется толкованіе историческихъ явленій, и съ этой точки зрѣнія провѣрить нашу терминологію, классификацію явленій, наши комбинаціи, построенія фактовъ. Эта работа не ограничится однимъ анализомъ. Она должна раскрыть не только возникновеніе, способъ образованія нашихъ историческихъ и соціологическихъ категорій; она можетъ опредѣлить ихъ внутреннюю цѣну, если установитъ значеніе нашихъ научныхъ запросовъ съ точки зрѣнія психическихъ условій, лежащихъ въ ихъ основаніи, если установитъ съ этой точки зрѣнія степень взаимнаго соотвѣтствія элементовъ, входящихъ въ кругъ всякаго научнаго истолкованія, всякой научной системы.

Предшествующая эпоха въ научной мысли слишкомъ настаивала на «объективномъ» характерѣ фактовъ, подлежащихъ нашему изученію: «объективные факты»

представляли въ ея глазахъ твердую группу, которая лишь дожидается, чтобъ ее открыли. Новый критицизмъ напоминаетъ о существованіи цѣлаго ряда предварительныхъ условій при изученіи, въ силу которыхъ то, что мы называемъ объективной дѣйствительностью, должно быть признано одной изъ субъективныхъ категорій, и притомъ категорій измѣнчивыхъ по своему содержанію. Каждое поколѣніе или рядъ поколѣній, связанныхъ общими идеями, каждая интеллектуальная группа неизбежно приспособляетъ къ себѣ, къ своимъ нуждамъ, къ своимъ симпатіямъ, къ своимъ гаданіямъ о будущемъ, къ своимъ психическимъ предрасположеніямъ всю традицію о прошломъ, 'весь историческій матеріалъ, можно бы сказать препарируетъ для себя всю исторію, творитъ для себя идеальное прошлое, набрасываетъ для себя собственную историческую картину. Дѣло идетъ о томъ, чтобы держать въ своихъ рукахъ планъ, руководящія линіи, по которымъ творится эта картина.

Вико со своею восторженностью платоника выразилъ эту мысль въ такой парадоксальной формѣ: «Эта наука (исторія) идетъ тѣмъ же методомъ, какъ и геометрія, потому что она создаетъ изъ самой себя міръ величинъ, строитъ сама себя изъ собственныхъ элементовъ».

---



## Либерализмъ и первая историческая формула борьбы классовъ.

«Факты прошлаго заключаютъ въ себѣ безчисленныя тайны, которыя раскрываются человѣку, лишь когда онъ способенъ познать ихъ... Такъ какъ все въ самомъ человѣкѣ и вокругъ него, точка зрѣнія, съ которой онъ изучаетъ факты, и настроеніе, которое онъ вноситъ въ это изученіе, непрерывно мѣняются, то можно бы сказать, что прошлое мѣняется вмѣстѣ съ настоящимъ... Факты открываются наблюдателю неизвѣстной дотолѣ стороной и говорятъ съ нимъ на другомъ языкѣ. Онъ самъ примѣняетъ въ изслѣдованіи ихъ другіе принципы, наблюденія и сужденія... Зрѣлище осталось то же, но зритель—другой, и онъ занимаетъ другое мѣсто; въ его глазахъ все измѣнилось».

Эти слова принадлежатъ Гизо и относятся къ началу эпохи реставраціи. Историкъ въ данномъ случаѣ не углублялся въ отвлеченныя разсужденія; онъ лишь ярко выразилъ въ приведенной формулѣ пережитыя впечатлѣнія своего времени. Онъ былъ подъ давленіемъ факта глубокой перемѣны въ историческихъ понятіяхъ, перемѣны, созданной крупнѣйшимъ переворотомъ въ общественныхъ задачахъ со времени революціи. Эта перемѣна носила рѣзкій характеръ, и рѣзкость ея соотвѣтствовала быстрой, непо-

средственной смѣнѣ стараго и новаго порядка, стараго и новаго склада общественныхъ воззрѣній. Новое поколѣніе, новая эпоха выставляла въ связи съ другой общественной программой и другую, своеобразную концепцію всей исторіи. Историческое прошлое развертывалось по новому разрѣзу, въ новыхъ перспективахъ и несло съ собою совершенно новыя поученія. Казалось, что позади каждаго поколѣнія стоитъ своя исторія всего прошлаго, не похожая на исторію, признаваемую другимъ поколѣніемъ, и, слѣдовательно, исключительно для него существующую.

Гизо имѣлъ въ виду главнымъ образомъ пониманіе и толкованіе исторіи національностей, но его замѣчаніе захватываетъ несравненно болѣе широкую область. Въ смѣнѣ историческихъ понятій особенно поразительно то, что она распространяется не только на ближайшее къ намъ прошлое, но и на такія отдаленныя эпохи, которыя не имѣютъ никакой непосредственной связи съ нашимъ временемъ.

Примѣромъ могла бы служить судьба историческаго изученія древней Греціи въ германской наукѣ XIX вѣка. Типичный нѣмецкій историкъ эпохи, предшествующей войнамъ 1866—1870 годовъ, считалъ кульминаціоннымъ пунктомъ греческой исторіи греко-персидскія войны; онъ сравнивалъ ихъ съ освободительнымъ движеніемъ своей родины противъ Наполеона въ 1808—1814 гг.; въ демократіи середины V вѣка до Р. Х. онъ видѣлъ главный плодъ греческой національной борьбы, потому что онъ признавалъ первою цѣлью своего времени достиженіе равенства политическихъ правъ, потому что онъ или самъ бился въ 1848 г. за политическую вольность, или сочувствовалъ борьбѣ за принципъ народнаго верховенства.

Ничего похожаго въ болѣе новой исторической литера-



туръ о древней Греціи. Возьмемъ трудъ ученаго, далекаго, повидимому, отъ политики, Белоха. Мы тотчасъ же замѣтимъ, что героическіе борцы персидскихъ войнъ и дѣятели цвѣта демократіи,Themistocles и Периклы, остаются историка холоднымъ. Белохъ оживаетъ, когда доходитъ до эпохи, которую прежде называли «упадкомъ Греціи», когда добирается до фигуръ различныхъ «объединителей», дѣйствительныхъ или мнимыхъ. Не трудно догадаться, что Діонисій, тираннъ Сиракузскій, котораго Белохъ вырисовываетъ съ большою любовью, служитъ ему простой маской для изображенія Фридриха II прусскаго, что Филиппъ Македонскій выходитъ у него несомнѣннымъ двойникомъ Бисмарка. Еще любопытнѣе, что Themistocles, дѣятель олигархической реакціи 411 и 404 годовъ, двусмысленный политическій интриганъ, по драматической концепціи историка, долженъ фигурировать въ качествѣ истиннаго защитника интересовъ «средняго класса» противъ соціалистической «массы», защитника «нашего дѣла», прибавляетъ историкъ, чтобы не оставить сомнѣнія въ читателяхъ, что своей исторіей Греціи онъ совершаетъ общественное дѣло во имя требованій и страховъ современной средней буржуазіи.

Въ этихъ характеристикахъ и оцѣнкахъ слышатся уже отзвуки національнаго объединенія Германіи, осуществленнаго кровью и желѣзомъ, и мотивы послѣднихъ классовыхъ столкновеній. Но вмѣстѣ съ тѣмъ у новѣйшаго нѣмецкаго историка получилась совершенно иная исторія древнихъ грековъ, очень непохожая на ту, какую писалъ демократъ и идеалистическій республиканецъ 1848 года.

Нечего и говорить, какъ сильно на формировкѣ идей и толкованій историка сказывается его принадлежность къ тому или другому религіозному или политическому

лагерю, къ той или другой общественной группѣ. Въ Германіи, напр., можно говорить о разныхъ, современныхъ между собою классовыхъ и партійныхъ исторіографіяхъ и называть ихъ именами «клерикальной», «буржуазной» и «соціалистической». Но какъ бы ни было велико ихъ различіе, надъ общественными группами поднимается какая-то болѣе общая атмосфера, образуемая изъ цѣлой системы представленій, образовъ, символовъ, формулъ, раздѣляемыхъ людьми разныхъ лагерей; эта атмосфера, эта система принадлежитъ эпохѣ. Политическіе и культурные враги въ средѣ одного общества определенной эпохи располагаютъ въ извѣстной мѣрѣ одной и той же картиной прошлаго, поскольку дѣло идетъ о его главныхъ, существенныхъ чертахъ, примѣняютъ одинъ и тотъ же общій методъ.

Въ этомъ отношеніи характерны сходство и различіе въ историческихъ представленіяхъ нашихъ славянофиловъ и западниковъ. Вооруженные различными общественно-культурными программами, съ глубоко различной оцѣнкой эпохъ русскаго прошлаго, они примыкали однако къ одной и той же исторической концепціи. Обѣ школы исходили отъ представленія о великомъ разрывѣ съ прошлымъ, о великомъ переломѣ въ развитіи русскаго общества, совершившемся около 1700 г. Обѣ предполагали два разныхъ пути въ этомъ развитіи, одинъ—типичный для Запада и потому общій, другой—своеобразный, національный. Иное дѣло, въ какомъ изъ этихъ путей каждая школа видѣла норму для русскаго народа, въ какомъ отклоненіе, но историческія рубрики стояли для той и другой на однихъ и тѣхъ же мѣстахъ, подъ одними и тѣми же названіями.

Въ этомъ смыслѣ на одной почвѣ историческихъ толко-



ваній стояли два противника во Франціи въ первой четверти XIX вѣка, школы реакціонная и либеральная. Подъ живымъ впечатлѣніемъ революціоннаго кризиса, соціальной ампутаціи дворянства и политическаго водворенія буржуазіи во Франціи, подъ впечатлѣніемъ общеевропейскихъ войнъ, поколѣнія этой эпохи представляли себѣ основной процессъ на протяженіи всей исторіи въ видѣ вооруженной борьбы—борьбы классовъ и націй. Люди, жившіе въ первыя десятилѣтія XIX вѣка, были, можно сказать, подавлены мыслью о великой катастрофѣ, разрѣшившей эту борьбу. Національное единство, выдвинувшееся въ результатъ катастрофы, казалось представителямъ обоихъ направленій фактомъ новымъ, сильнымъ и необыкновеннымъ. Они спорили о цѣнѣ этого факта, но позади него они видѣли одинъ и тотъ же длинный рядъ, одну и ту же перспективу. Въ картинѣ, которую рисовала каждая школа, различно расположены были краски, свѣтъ и тѣни; но композиція, разстановка, контуры были одни и тѣ же.

## I.

Если имѣть въ виду французскую либеральную историческую школу, то образованіе ея основныхъ идей и перипетіи ея общей теоріи удобно прослѣдить на самомъ яркомъ и талантливомъ историкѣ эпохи, *Огюстенѣ Тьерри* (1795—1856).

Молодость Тьерри, его первые шаги въ публицистикѣ, въ популяризаціи научныхъ идей отражаютъ всю горячность политическаго настроенія въ среднихъ слояхъ французскаго общества къ началу эпохи реставраціи. Юноша 19 лѣтъ, едва окончившій Высшую нормальную школу, Тьерри бросаетъ въ 1814 г. учительство въ провинціи и устремляется въ политическій водоворотъ центра. Его

влечетъ журналистика, обсужденіе вопросовъ экономическихъ и соціальныхъ. Онъ примыкаетъ сначала къ безпокойному инициатору Сенъ-Симону, одно изъ сочиненій котораго, посвященное вопросу «о реформѣ наукъ, изучающихъ человека», и вырвало молодого учителя изъ его провинціальной тиши. Нѣсколько позднѣе, съ 1817 г., онъ входитъ въ круги радикальныхъ политиковъ, которые группировались отчасти около Лафайета; повидимому, онъ становится довольно близко даже къ карбонарскимъ союзамъ.

Одинъ изъ самыхъ замѣтныхъ мотивовъ политическаго настроенія Тьерри и его друзей въ это время—оппозиція предшествующему военному режиму. Родомъ изъ провинціальной буржуазной семьи, сынъ мелкаго чиновника, Тьерри выросъ уже въ ненависти къ военному деспотизму Наполеона. Онъ вспоминалъ потомъ, что его школьная пора «была временемъ, когда изящное раболѣнство царило въ учебныхъ заведеніяхъ; когда заставляли Вергилія предсказывать рожденіе сына деспота, когда передъ молодежью профанировали великія слова—отечество и честь, когда фразы пустой риторики и ледяныя цифры алгебры были единственной пищей для души молодого французскаго гражданина; когда, въ торжественныхъ собраніяхъ школы, скамьи молодежи наполнялись особами въ генеральскихъ лентахъ, приглашенными какимъ-нибудь угодливымъ профессоромъ для того, чтобы доложить Цезарю въ благопріятномъ духѣ о настроеніи сыновей сторонниковъ Марія».

Вотъ почему въ первыхъ своихъ работахъ, составленныхъ въ сотрудничествѣ съ С.-Симономъ и выходившихъ въ 1814—1817 годахъ, вслѣдъ за разгромомъ наполеоновской имперіи, молодой Тьерри рѣзко нападаетъ на духъ



войны, на «разбойниковъ», т.-е. на Бонапарта и его солдатъ, и горячо призываетъ народы къ братству на почвѣ промышленнаго и художественно-научнаго труда. «Ваше оружіе, граждане, искусства и торговля, ваши побѣды—ихъ прогрессъ; вашъ патріотизмъ, это благожелательство, а не ненависть. Хотите ли вы соединить съ этими мягкими добродѣтелями силу и мужество, въ которыхъ спартанцы воспитывали себя въ битвахъ? О граждане! У васъ болѣе ожесточенные враги, чѣмъ персы. Это—невѣжество и тѣ, кто ему подчинены».

Интересы буржуазіи были слишкомъ задѣты, слишкомъ подвергнуты риску въ политикѣ грандіозныхъ приключеній, которыми окончилась имперія. Въмѣсто ожесточенной вражды къ промышленной соперницѣ, Англіи, вражды, которая грозила разореніемъ Франціи, многіе находили теперь болѣе разумнымъ торговый миръ съ нею. Тьерри и С.-Симонъ, проникаясь этою мыслью, настаивали на тѣсномъ политическомъ соединеніи двухъ давнишнихъ враговъ. Это соединеніе представлялось имъ даже въ формѣ федераціи по обѣ стороны канала съ общимъ англо-французскимъ парламентомъ: они были увѣрены, что отъ этого зерна пойдетъ далѣе промышленное, культурное и политическое объединеніе Европы.

Вотъ первоначальные мотивы новаго великаго интереса, и большихъ симпатій къ Англіи и ея исторіи у французскихъ либеральныхъ круговъ. Между тѣмъ какъ въ эпоху, предшествующую революціи, и въ теченіе самой революціи во Франціи безконечно много говорили о паденіи, о концѣ Англіи, объ ея отсталости, объ антикультурныхъ ея принципахъ,—теперь Англія становится въ глазахъ передовыхъ французовъ опять идеальнымъ типомъ политическаго общества, великимъ образцомъ для подражанія. Въ

англійської історії хотять видѣть первые рѣзко проложенные этапы обще-соціального развитія, которые предстоитъ пройти другимъ культурнымъ обществамъ. Прошлое Англіи полно уроковъ и указаній для другихъ народовъ; оно открываетъ рядъ поучительнѣйшихъ аналогій для Франціи.

Если передовые круги во Франціи въ 1814 году сходились въ международныхъ вопросахъ на формулѣ мира, то подобная формула оказывалась непримѣнимой во внутреннихъ отношеніяхъ. Недавній кризисъ, послѣднія 25 лѣтъ представлялись французскому обществу въ видѣ крупнаго соціального столкновенія, которое еще не разрѣшилось окончательно. Два враждебные соціальные лагеря стояли другъ противъ друга, рѣзко выдѣляясь одинъ отъ другого своими интересами, вкусами, понятіями, традиціями. Правда, терминологія борьбы говорила какъ будто только о политическихъ интересахъ. Неограниченная монархія, конституціонное королевство, республика, народное верховенство, представительная форма, сильная исполнительная власть и т. п. — вотъ главные пункты, которые стояли на программахъ бурнаго времени; но подъ этими политическими терминами теперь, послѣ четвертивѣковой борьбы, умѣли ясно отмѣтить наклонъ тѣхъ или другихъ интересовъ большихъ соціальныхъ группъ. Самыя общія обозначенія этихъ группъ были: дворянство и буржуазія. Непосредственное столкновеніе двухъ большихъ классовъ можно было наблюдать во многіе моменты борьбы, въ провинціальной реакціи противъ парижскихъ событій въ 1793 г., въ Вандеѣ, на восточной границѣ при нашествіи иноземцевъ, съ которыми шли эмигранты, наконецъ, на почвѣ парламентскихъ партій въ конституціонныхъ преніяхъ съ 1814 года.



*Классовая борьба*—вотъ содержаніе кризиса, казалось поколѣніямъ, переживавшимъ его перипетіи. Но классы не впервые сложились къ моменту столкновенія. Самый кризисъ своей напряженностью, рѣзкостью, продолжительностью какъ бы указывалъ на долгій подготовительный періодъ. Слѣдовательно, классовая борьба должна была составлять и сущность предшествовавшаго историческаго процесса. Исходный психологическій моментъ въ такихъ историческихъ разсужденіяхъ былъ простъ и ясенъ: въ современности—столько войнъ, противорѣчій и неравенствъ, что историческое начало также должно было состоять въ войнѣ и захватѣ.

Характеристика классовъ въ видѣ большихъ коллективныхъ фигуръ складывалась легко. Землевладѣніе, съ одной стороны, съ другой—движимый капиталъ, военная выправка и промышленная оборотливость, аграрный консерватизмъ и индустріальная инициатива—вотъ, повидимому, были простѣйшіе, основные, бьющіе въ глаза признаки каждой изъ двухъ враждебныхъ группъ.

Историкъ шелъ невольно дальше. Онъ олицетворялъ большія коллективныя тѣла. Тьерри и Гизо, на примѣръ, видѣли въ предкахъ современной буржуазіи, въ городскомъ населеніи Франціи XII и XIII вв. «громадную муниципальную личность». Допустивъ индивидуальность и сознательность для каждой группы, историкъ стремился найти у каждой и особое историческое сознаніе, особую традицію, которая живетъ въ классѣ на протяженіи вѣковъ. Сотни лѣтъ идетъ не только борьба интересовъ, но и полемика идей, антагонизмъ вкусовъ; каждый лагерь имѣетъ своихъ особыхъ предковъ, своихъ героевъ и святыхъ, свои особые подвиги, памятники, могилы, праздники, свои періоды страданія и торжества:

у каждого изъ нихъ свои понятія о чести, своя мораль и религія.

Гдѣ же начало противоположности, когда же именно народъ раскололся на эти двѣ разныя національныя или соціальныя личности? Въ отвѣтъ на это могла пригодиться старая теорія, которая вела начало еще съ XVI в. Въ силу этой теоріи двѣ расы составили Францію,—туземная и пришлая, мирная и завоевательная, галлоримляне и франки. Отъ одной пошли простонародные классы, отъ другой—привилегированный, военно-дворянскій классъ.

Теорія эта очень подходила къ сознанію людей, переживавшихъ послѣдствія революціи. Первые оживили ее реакціонеры. Въ 1804 г. правительство перваго консула поручило одному изъ помилованныхъ эмигрантовъ, графу Монлозье, составить общій обзоръ политической исторіи Франціи въ связи съ революціей. Цѣль заключалась въ томъ, чтобы показать историческую необходимость демократико-централистическихъ реформъ революціонной эпохи, чтобы показать, что между старой и новой Франціей есть примиреніе, что нѣтъ и не было разрыва. Наполеоновское правительство приготавлило въ это время переворотъ къ имперіи и задало въ сущности административную тему въ философско-исторической формѣ. Но исполнитель оказался безусловно неподходящимъ. Вмѣсто формулъ демократической монархіи графъ Монлозье развилъ въ самыхъ горячихъ, рѣзкихъ выраженіяхъ историческую философію раздраженнаго высококомѣрнаго дворянства; вмѣсто апологіи реформъ онъ написалъ жестокій обвинительный актъ противъ народа выскочекъ, противъ воцарившагося плебейства.

Онъ рѣзко раздѣлилъ на протяжении всей исторіи Франціи меньшинство истинныхъ гражданъ, вполне свобод-



ныхъ людей, отъ рабской массы. Настоящій французскій народъ, первоначальная нація, это—дворяне, потомки свободныхъ владѣній на почвѣ Галліи; третье сословіе, это—новый народъ, чуждый старинному, образовавшійся изъ рабовъ и данниковъ всѣхъ племенъ и всѣхъ эпохъ. Сначала старинная нація одна составляла государство. У нея были свои люди подъ властью, право чекана монеты, судъ равныхъ, право соизволять налоги, все, что создаетъ настоящее гражданское общество полноправныхъ. Съ XII вѣка новый народъ поднялъ голову, потребовалъ дѣлежа съ господами и постепенно оттѣснилъ ихъ отъ власти, выбросилъ изъ должностей, ограбилъ въ правахъ, навязалъ всѣмъ учрежденіямъ свой духъ. Вотъ та узурпація, которая, по прошествіи шести вѣковъ, была увѣнчана соціальными результатами движенія 1789 года.

Заключеніе Монлозье гласило, что въ столкновеніяхъ всѣхъ временъ французское дворянство поддерживало противъ буржуазіи и коммунъ справедливое дѣло, защищало неоспоримыя права, охраняло истинное гражданское достоинство. Теперь ограбленное, тиранизированное дворянство подвели подъ общую рабскую систему, подъ равенство приниженія, и вдобавокъ ко всей несправедливости его еще обвиняютъ въ тираниіи и грабежѣ.

Реакціонный историкъ кончалъ прямымъ вызовомъ въ лицо плебейской Франціи: «Порода вольноотпущенныхъ, племя рабовъ, освобожденныхъ изъ рукъ нашихъ, народъ данниковъ, народъ новый! Это вамъ была дарована свобода, вамъ, а не намъ, благороднымъ; для насъ все существуетъ по праву, для васъ все по милости. Мы не принадлежимъ къ вашему общественному союзу; мы составляемъ цѣлое сами по себѣ. Ваше происхожденіе ясно;

наше---также; освободите себя отъ необходимости освящать наши права, мы сами себя защитимъ!»

Историческій памфлетъ Монлозье неизбежно долженъ былъ пролежать подъ спудомъ въ эпоху имперіи. Онъ вышелъ (подъ заглавіемъ «О французской монархіи») въ 1814 году, когда опять откровенно могли высказаться оба соціальныхъ противника.

Представители воинствующей либеральной буржуазіи не только не отвергли исторической картины, набросанной Монлозье; они цѣликомъ схватили ея перспективы, но переставили въ ней всѣ оцѣнки. Все, что у него было отмѣчено темнымъ пятномъ, позоромъ, что было покрыто ненавистью, пріобрѣло у нихъ ореолъ геройства, святыни; что объявлялось у него вреднымъ, уродливымъ въ національномъ развитіи, получало у противниковъ характеръ благотворной, прогрессивной перемѣны: освобожденіе коммунъ, соціальная политика королей, водвореніе римскаго права, всѣ эти явленія, тѣневые для одной стороны, казались свѣтовыми для другой. Реакціонеръ считалъ свободой феодальный порядокъ, порабощеніемъ---буржуазно-демократическій; либералы---наоборотъ.

Особенно выдѣлялась при этомъ характеристика двухъ кризисовъ, которые обѣими школами приводились въ тѣсную связь: революціи городовъ въ XII—XIII вв. и революціи общенациональной послѣдняго времени. Два возмутительныхъ мятежа одной и той же толпы вольноотпущенныхъ данниковъ: одинъ мѣстный, раздробленный, другой общій и централизованный---вотъ изображеніе этихъ переворотовъ у реакціонеровъ. Два возрожденія, двѣ великія эпохи непосредственнаго выступленія народа: «возрожденіе муниципальное» и «возрожденіе національное»---вотъ отвѣтная характеристика у либераловъ.



Но въ кругу послѣднихъ сознавали ясно, кому принадлежитъ первенство въ построеніи подобной исторической картины. «Какъ ни странна была въ своей основѣ теорія Монлозье, — говоритъ Тьерри, — но онъ первый почувствовалъ, откуда идетъ современный соціальный строй, и призналъ за двѣнадцатымъ вѣкомъ истинный его характеръ, помѣстивъ въ его рамки революцію—родоначальницу (*revolution mère*) всѣхъ дальнѣйшихъ переворотовъ».

Въ 1814—1820 гг. боевая схема, основанная на представленіи о двухъ націяхъ, разорванныхъ четырнадцативѣковой борьбой, царила въ политической и исторической литературѣ. Тьерри говоритъ, между прочимъ, о своихъ молодыхъ годахъ: «Зрѣлище Франціи, которую приговоръ ея собственной исторіи раздѣлилъ на два непримиримыхъ и соперничающихъ лагеря, казалось воображенію чѣмъ-то глубоко важнымъ и пророческимъ. Теорія національнаго дуализма давала тогда обѣимъ партіямъ рядъ сопоставленій и формулъ». Одна сторона поэтизировала франковъ, играя двойнымъ смысломъ этого слова (*franc*=свободный), другая возвеличивала галльскую расу въ качествѣ народа коммунъ, народа новой революціи.

Другой молодой ученый, Гизо, говорилъ въ 1820 году: «Я пользуюсь этими словами (франки и галлы), потому что они ясны и правдивы. Революція была войной, настоящей войной, въ томъ видѣ, какъ ее знаетъ міръ между чужими народами. Въ теченіе тринадцати вѣковъ во Франціи совмѣщались два такіе народа, народъ-побѣдитель и народъ-побѣжденный. Въ теченіе тринадцати вѣковъ народъ-побѣжденный бился, чтобы стряхнуть иго народа-побѣдителя. Исторія наша есть исторія этой борьбы. Въ наше время была дана рѣшительная битва. Она назы-

вается революціей. Грустная вещь — борьба между двумя народами, которые носят одно и то же имя, говорят на одномъ же языкѣ, прожили тринадцать столѣтій на одной почвѣ». Время, сношенія, связи постепенно сблизили ихъ, объединили ихъ въ одной судьбѣ, образовали изъ нихъ одну націю. Но старое естественное различіе восторжествовало надъ работой времени. «Первоначальное раздѣленіе пережило теченіе вѣковъ и воспротивилось ихъ воздействию. Борьба велась во всѣ эпохи, во всѣхъ видахъ, оружіемъ всякаго рода. Когда въ 1789 году депутаты со всей Франціи сошлись въ одномъ общемъ собраніи, оба народа поспѣшили возобновить старинный споръ; наконецъ, насталъ день порѣшить его окончательно...»

Такимъ образомъ, въ основѣ исторіи признавался фактъ физическій, который обратился потомъ въ фактъ моральный и легъ неизгладимой складкой: «Какъ бы ни смѣшивались первоначально раздѣлившія Францію двѣ расы,—говорилъ Тьерри,—но ихъ вѣчно противорѣчивый характеръ остался въ двухъ ясно раздѣленныхъ доляхъ населенія». «Духъ завоеванія обманулъ природу и время; онъ до сихъ поръ господствуетъ надъ этой несчастной страной». Первоначальное различіе крови перешло въ различіе кастъ, потомъ въ различіе сословій и, наконецъ, въ различіе правъ. Либеральный лагерь историковъ не споритъ, что современное дворянство произошло по прямой линіи отъ знати XVI в., эта послѣдняя отъ феодаловъ XIII в., а эти—отъ франковъ Карла Великаго, въ свою очередь происшедшихъ отъ сикамбровъ Хлодвига. Но этой соціально-расовой генеалогіи онъ хочетъ противопоставить свою генеалогію мѣщанства, которую изъ духа противорѣчія либералы считаютъ болѣе почетной. «Мы дѣти третьяго сословія; третье



сословіе вышло изъ коммунъ; коммуны были прибѣжищемъ рабовъ; рабы были люди, побѣжденные во время завоеванія».

Разъ это такъ, нечего стыдиться своей плебейской крови. Напротивъ, пусть это будетъ источникомъ новой гордости. «Насъ зовутъ новыми людьми; сумѣемъ доказать, что это неправда; сумѣемъ возсоединиться путемъ народныхъ воспоминаній съ тѣми людьми, которые ранѣе насъ стремились къ тому же, чего и мы хотимъ, съ людьми, которые понимали такъ же, какъ и мы, вольности французской земли». Романтика опоэтизировала безпокойное и отчаянное средневѣковое воинство; отчего не быть поэтической идеализаціи мѣщанства, трудового класса? Конечно, эта либерально-буржуазная романтика должна вдохновляться другими мотивами. «Духъ благородной и миролюбивой независимости задолго до насъ проявился на этой почвѣ. Не побоимся взрыть ее поглубже, чтобы найти его слѣды».

Въ этихъ дорогахъ для простонародныхъ классовъ воспоминанійхъ окажется много грустнаго: «Мы встрѣтимъ въ нихъ чаще казни, чѣмъ тріумфы. Не будемъ обманываться: блестящія дѣла прошлаго времени не намъ принадлежать. Не наше дѣло воспѣвать рыцарство: наши герои носятъ болѣе темныя имена. Мы люди городовъ, люди коммунъ, люди земли, сыны тѣхъ крестьянъ, которыхъ изрубили рыцари близъ' Мо (1357 г.), сыны тѣхъ буржуа, которые заставили дрожать Карла V, сыны возмущившихся Жаковъ!»

Самъ Тьерри далъ удивительный образчикъ поэтизированнаго олицетворенія простонародной Франціи. Въ картинкѣ, полной теплаго юмора къ своему коллективному герою, котораго онъ называетъ старымъ именемъ Жака

Бонома, нарочно выбирая знаменитую презрительную въ устахъ рыцарей кличку крестьянина, Тьерри драматизируетъ французскую исторію въ ея соціально-расовой постановкѣ.

Жакъ, это—исконная галльская нація. Обладая живымъ непосредственнымъ характеромъ, недовольный римской администраціей, подъ впечатлѣніемъ странныхъ совѣтовъ высокопочтеннаго отца-проповѣдника новой религіи (т.-е. христіанства), онъ допускаетъ въ свою среду пришлыхъ съ сѣвера завоевателей, людей громаднаго роста и дикаго говора. Варвары рѣжутъ землю Жака и берутъ его движимость. Жакъ огорченъ тѣмъ болѣе, что его духовный руководитель и другъ оказывается посредникомъ въ дѣлѣ и даже составляетъ на родномъ языкѣ Жака грамоту, утверждающую условія ограбленія его. Однако, при появленіи варварскаго вождя, Жакъ поднимаетъ обычный крикъ: «Vivat rex!», въ которомъ вождь, конечно, не можетъ понять смысла. Завоеватели устраиваютъ собранія, приходятъ туда съ оружіемъ въ рукахъ, судятъ и рядятъ. Жакъ, называвшійся почетно римляниномъ, вдругъ оказывается «литомъ», т.-е. человѣкомъ на милости. Подъ страхомъ бича онъ долженъ идти работать на собственной землѣ въ пользу иноземцевъ. Когда онъ пробуетъ принести жалобу въ собраніе владѣльцевъ, его осмѣиваютъ и выгоняютъ. Его прозываютъ еще хуже—«корой земли, прикрѣпленнымъ къ землѣ, живыми деньгами» и такъ далѣе.

Жакъ привыкъ къ своему игу. Завоеватели дрались надъ его головой и заставляли его платиться. Вождь ихъ заявилъ однажды исключительныя притязанія на землю, на трудъ, на тѣло и душу Жака. И вотъ онъ, будучи до крайности довѣрчивъ, потому что бѣдствія его не



имѣли предѣла, позволилъ себя убѣдить въ правильности этого притязанія и назвался «подданнымъ короля». Въ силу этого названія онъ сталъ платить королю лишь точно опредѣленные подати, *tallias rationabiles*, что совсѣмъ не означаетъ «разумныя подати». Но это вовсе не избавило его отъ вымогательствъ второстепенныхъ начальниковъ. Онъ платилъ направо и налѣво. Онъ искалъ отдыха; но ему отвѣчали со смѣхомъ: «Кричи, простачокъ, да плати».

Жакъ переносилъ тяжкую судьбу, но онъ не могъ стерпѣть оскорбленія. Онъ забылъ свою слабость, свою наготу и бросился на своихъ притѣснителей, вооруженныхъ съ ногъ до головы и спрятанныхъ въ крѣпостяхъ. Тогда всѣ, вождь и подчиненные начальники, соединились, чтобы раздавить его. Его кололи копьями, давили копытами лошадей; ему оставили дыханья ровно на столько, чтобы онъ не поколѣлъ на мѣстѣ, потому что вѣдь онъ былъ нуженъ.

Опять Жакъ сталъ платить—прямой налогъ, подмогу, соляной налогъ, пошлины, таможенные сборы, дорожные, рыночные, поголовную подать, пятипроцентную и т. д. Онъ сталъ считать все это естественнымъ, онъ сталъ вѣрить, что «ему слѣдуетъ уставать, чтобы не лопнуть отъ здоровья, и что его кошелькъ похожъ на деревья, которыя растутъ, когда ихъ обираютъ». Кругомъ старались не смѣяться надъ этими выходками его воображенія, напротивъ, прозывали его честнымъ и разумнымъ человекомъ. Но вотъ онъ возымѣлъ дерзость думать, что люди, которымъ онъ платитъ, должны работать для его блага, что они его интенданты, его повѣренныя; слѣдовательно, онъ имѣетъ право просматривать ихъ счета и давать имъ указанія. На эту тему онъ составилъ большую книгу,

которую тотчасъ же однако конфисковали и сожгли. Въ-место похвалъ, которыхъ ожидалъ авторъ, ему предложили каторгу на галерахъ. Его станки забрали; устроили лазаретъ, въ которомъ мысли его должны были выдерживать карантинъ, прежде чѣмъ попасть въ печать.

Тогда Жакъ пересталъ печатать, но не пересталъ думать. Наконецъ правительство, оставшись однажды безъ денегъ, позвало его къ совѣту. Жакъ принялъ гордый тонъ и рѣзко объявилъ свое неограниченное и неотъемлемое право на собственность и свободу. Произшла битва, въ которой Жакъ остался побѣдителемъ, потому что многіе друзья его бывшихъ господъ покинули ихъ во имя его дѣла.

Эта битва, разумѣется,—великая революція. Торжество буржуазіи въ ней нѣсколько затуманилось и исказилось вслѣдствіе увлеченія въ бурномъ конечномъ столкновеніи. Жакъ былъ жестокъ въ своемъ торжествѣ, потому что бѣдствія раздражили его, онъ не сумѣлъ повести себя на свободѣ, потому что его нравъ сложился въ рабствѣ. Но онъ не захотѣлъ подчиняться своимъ «новымъ интендантамъ», которые опять вздумали приневолить его, провозглашая его же неограниченное верховенство.

Въ этотъ моментъ Жака увлекаетъ великій военный вождь; въ лицѣ своихъ простонародныхъ солдатъ онъ возрождаетъ славу воиновъ-франковъ и создаетъ изъ нихъ новую аристократію, а самъ беретъ себѣ титулъ стараго владыки Жака, римскаго Цезаря. Жакъ вспоминаетъ, что когда-то бился подъ римскими орлами, и впадаетъ въ свое послѣднее увлеченіе.

Въ этой драматической концепціи многовѣковой исторіи насъ болѣе всего, можетъ быть, поражаетъ способность историка представлять себѣ классъ, соціальную группу, въ



видѣ законченной, вполне индивидуализированной живучей личности. Эта мысль какъ нельзя болѣе гармонировала съ расовой теоріей. Ея сторонники вѣрили, что, какъ бы ни было велико смѣшеніе въ толпѣ націи, какъ бы ни перетасовывали людей бури переворотовъ, основное отличие, наслѣдственный типъ, «голосъ крови» скажется; затерянные, оторвавшіяся частицы большихъ организмовъ опять пристанутъ къ нимъ, въ каждомъ изъ нихъ опять будетъ биться одно сердце, возродится одна душа.

Современный соціальный споръ, благодаря этому представленію, совершенно совпадалъ съ исторической тяжбой. «Революція,—говоритъ Гизо,—была тріумфомъ, мщеніемъ большинства, долгое время придавленнаго, надъ меньшинствомъ, долго господствовавшимъ». Можно поспорить о давности правъ и почетности положенія, а чтобы выиграть въ этомъ спорѣ, «надо возобновить теперь цѣль временъ». Гизо упрекаетъ передовыя партіи, т.-е. представителей буржуазіи, за то, что до сихъ поръ онѣ старались главнымъ образомъ отрѣзать себя отъ прошлаго. Исторіей интересовались реакціонеры, которые слѣпо преклонялись предъ всякою стариной. Надо же и защитникамъ свободы вести свою линію, свою традицію изъ старины; свободѣ тоже нужно отыскать давность, нужно легитимировать свободу изъ исторіи.

И Гизо указывалъ на своего младшаго собрата, на Огюстѣна Тьерри, какъ дѣятеля, болѣе всего занятаго именно этой цѣлью, задачей историческаго оправданія свободы. Для Тьерри «школа свободы почти вся заключена въ изученіи исторіи». Революція, въ его глазахъ,—вовсе не стройка на разрушенномъ мѣстѣ, вовсе не выведеніе геометрически-правильнаго, отвлеченно-разумнаго чертежа на бѣлой доскѣ. Напротивъ, движущимъ элементомъ рево-

люціи является традиція. Свобода родилась не вчера. Мы, люди свободы, также имѣемъ предковъ. Революція, это -- возстановленіе старины, реабилитація павшихъ, запозда-  
лое возмездіе, торжество поправной въ старину свободы.

Правда, иногда рядомъ съ мотивомъ возвращенія къ стариннымъ традиціямъ у него звучитъ другой, противо-  
положный: демократическій энтузіазмъ невольно повора-  
чиваетъ молодую Францію въ сторону новой заатлантиче-  
ской республики, и она начинаетъ чувствовать какъ будто  
взаимное родство. Америка выбросила изъ своей среды на-  
цію, которая претендовала на господство надъ нею (Ан-  
глию), и съ этой поры Америка свободна. Возродившаяся  
буржуазія словно составляетъ новую націю, подобную аме-  
риканскому народу. «Но въ массу этого счастливаго на-  
рода всѣ европейскія земли дали свой вкладъ, какъ бы для  
того, чтобы доказать міру, что свобода подходитъ для  
всѣхъ, но не составляетъ ничьей собственности... Для  
всѣхъ насъ, сколько насъ ни есть, Америка--общее убѣ-  
жище. Съ какой бы пристани Стараго Свѣта мы ни думали  
отплыть, мы не будемъ чужаками въ Новомъ. Если бы  
враги наши, поднимающіе воинскій кликъ именемъ пред-  
ковъ своихъ, восторжествовали надъ разумомъ и надъ  
нами, у насъ останется исходъ, котораго не имѣли наши  
предки: море свободно, и по ту сторону--свободный міръ».

Первоначальныя демократическія симпатіи у Тьерри  
объясняютъ намъ, почему изображенный имъ коллектив-  
ный страдалецъ, достигающій, наконецъ, торжества, на-  
званъ Жакомъ. Крестьянинъ, простолюдинъ, вотъ кто да-  
етъ если не фізіогномію, то костюмъ, знамя идеальной  
фигурѣ борца за старинную свободу. Буржуазія, выс-  
шіе торгово-промышленные слои, горожане слиты въ во-  
ображеніи историка воедино съ простымъ народомъ, съ зе-



мледѣльческой массой. Это— старая ошибка революціоннаго увлеченія, но только она и дала возможность разрѣзать прошлое Франціи именно на два лагеря, а не на большее количество соперничающихъ общественныхъ группъ; эта ошибка позволила поэтизировать, освѣтить либеральные городскіе слои тѣмъ лучезарнымъ ореоломъ, который создается народническимъ мистицизмомъ, ищущимъ въ глубинѣ понурой черной массы клада великой души и мудрости.

Поэтизированіе народной души у Тьерри—результатъ художественной склонности историка, поддержанной романтическими представленіями. Но кто подсказалъ ему мысль о великихъ соціальныхъ типахъ въ исторіи? Откуда эта идея, что эпоха характеризуется опредѣленнымъ соціальнымъ строемъ, что перевороты представляютъ смѣны общественныхъ состояній и настроеній?

Политическая теорія XVIII вѣка указывала въ историческомъ изученіи лишь на противоположность личности и принудительнаго государственнаго или церковнаго союза. Либеральная публицистика начала XIX вѣка, продолжая эту теорію, различала въ исторіи также лишь моменты, съ одной стороны, напряженія государственнаго или церковнаго авторитета, а съ другой,—моменты самостоятельности личности. Реакціонеры глухо говорили еще о какихъ-то внутреннихъ таинственныхъ силахъ, о невидимыхъ организаціяхъ, въ которыхъ фатально поймана, связана личность, отъ власти которыхъ ей немислимо уйти.

Одинъ изъ первыхъ, кто претворилъ эту полумистическую идею о народномъ организмѣ въ конкретную близкую намъ мысль объ обществѣ, общественномъ строѣ—былъ С.-Симонъ. Можно думать, что С.-Симонъ направилъ молодого публициста Тьерри на пониманіе промежу-

точной среды между личностью и государственнымъ союзомъ, на усвоеніе *соціальной стороны* историческихъ явленій.

Отношенія Тьерри къ С.-Симону являются однимъ изъ неясныхъ эпизодовъ жизни и умственного развитія историка. Три года сотрудничалъ студентъ (19—22 лѣтъ), едва выпущенный изъ коллежа, бросившійся въ водоворотъ политики, съ оригинальнымъ старикомъ, глубоко чуткимъ къ новымъ комбинаціямъ мысли, вѣчно съ новыми фантастическими предпріятіями въ головѣ. Въ горячемъ увлеченіи своимъ руководителемъ Тьерри называлъ себя «пріемнымъ сыномъ» С.-Симона. Но потомъ онъ избѣгалъ говорить объ этихъ отношеніяхъ. С.-Симонъ ни разу не упомянуть въ сочиненіяхъ Тьерри, въ которыхъ однако разсыпано много автобіографическихъ указаній. Кажется, Тьерри скушалъ потомъ экземпляры сборника, изданнаго имъ совмѣстно съ С.-Симономъ, гдѣ стояло его имя съ признательной припиской: *fils-adoptif de St.-Simon*.

Видимо, между ними былъ разрывъ, и рѣзкій, тяжелый разрывъ. Когда, лѣтъ 10—15 спустя, выступила религіозно-коммунистическая секта учениковъ С.-Симона, у Тьерри стало еще больше основаній сторониться отъ имени ея родоначальника. Но для склада возрѣній Тьерри эти студенческія увлеченія не прошли даромъ.

Вѣрнымъ слѣдомъ вліянія С.-Симона служатъ прежде всего не разъ встрѣчающіяся у Тьерри столь характерныя обозначенія *oisifs et travaillants*, «праздные и трудящіеся», въ примѣненіи къ двумъ враждебнымъ классамъ общества, къ дворянству и буржуазіи. Этой противоположности *oisiveté* и *travail* отвѣчаютъ у Тьерри двѣ соціальныя характеристики эпохъ. средневѣковой и новѣйшей.



Далѣе, одна изъ самыхъ настойчивыхъ идей у С.-Симона, это—соотвѣтствіе между общественнымъ строемъ и культурнымъ настроеніемъ каждой эпохи, между отношеніями власти и владѣнія, съ одной стороны, и міровоззрѣніемъ—съ другой. Для cadaго историческаго момента, думаетъ С.-Симонъ, слѣдуетъ отыскать его основной характерный соціальный признакъ. Политическій строй, организація власти представляетъ всегда лишь высшую формулу, вершину типичнаго для своего времени соціального порядка.

Эта мысль постоянно возвращается и у Тьерри. Пренебреженіе историки не имѣли, по его мнѣнію, чутія къ великимъ соціальнымъ трансформациямъ въ прошломъ. Тьерри протестуетъ, напримѣръ, противъ безразличнаго употребленія термина «король» для всѣхъ эпохъ, противъ отвлеченнаго опредѣленія монархическаго начала въ исторіи. Надо различать совершенно особый соціальный характеръ древне-германскаго king'a, племенного или дружиннаго вождя, отъ несхожаго съ нимъ феодальнаго геу, короля-капитана военнаго общества, главы «касты побѣдителей», и отъ еще болѣе непохожаго на него новаго короля, представителя буржуазной индустріи и труда, цѣпкаго, дѣятельнаго и простаго по виду, въ родѣ какого-нибудь Людовика XI, «который, какъ будто бы предвосхитилъ духъ французской революціи».

Можно привести въ связь съ С.-Симономъ еще одну мысль, которая уже есть у молодого Тьерри. Это именно—пренебреженіе къ чисто политической революціи, къ голдой конституціонной стройкѣ, не сопровождаемой общественной перемѣной. Увлеченный Англіей, сравнивая съ англійской революціей французскую, Тьерри считаетъ послѣднюю неоконченной. Она пока свелась на смѣну формъ,

даже формулъ, на игру словъ. Это было внѣшнее подражаніе: французы бросились на конституцію, воспроизвели всю ея внѣшность по данному въ Англіи образцу, поставили всѣ ея знаки и символы, точно машины для созданія общественнаго благополучія. Но англичане вѣдь не дѣлали, не строили своей конституціи, они не комбинировали искусственно политическихъ принциповъ. Они искали свободы, труда, простора для мысли и индустріи и, устраняя одно за другимъ препятствія къ этимъ цѣлямъ, добились наилучшаго, *наиболѣе соответствующаго ихъ интересамъ порядка.*

Восходя выше, Тьерри относитъ обвиненіе въ данномъ случаѣ къ духовной родоначальницѣ французской революціи, къ философіи XVIII вѣка, и въ своихъ нападкахъ на нее опять встрѣчается съ С.-Симономъ. Прославленное просвѣщеніе предшествовавшего вѣка, по его мнѣнію, грѣшило тѣмъ, что было отвлеченно, космополитично и вмѣстѣ съ тѣмъ аристократично. Характерно, что эта «наука 1760 г.» процвѣла раньше за границей, чѣмъ во Франціи, что ее знали въ Берлинѣ и Петербургѣ, когда Ліонъ и Руанъ еще были ей совершенно чужды. Весь этотъ вѣкъ для насъ, говоритъ Тьерри, точно чужой міръ; между нами и имъ словно прошли столѣтія. Однако онъ думаетъ, что надо различать увлеченіе просвѣтительными доктринами XVIII вѣка у высшихъ классовъ и въ средѣ народа. Народное увлеченіе носило благородный характеръ, оно отличалось широтой пониманія и придавало имъ національный характеръ. Такъ и С.-Симонъ отличалъ въ дореволюціонной Франціи интеллектуальную буржуазію, которая вырабатывала только отрицательную революціонную метафизику, отъ истинной народной массы, отъ скромнаго до тѣхъ поръ оттѣснен-



наго истиннаго мѣщанства. Пришло время, такъ гремѣлъ С.-Симонъ, прогнать бумагомаракъ и стряпчихъ (*escrivassiers* и *avocasserie*) во имя массы націи, стремящейся къ положительнымъ цѣлямъ.

Эта характеристика роли юристовъ-метафизиковъ, которые дали печать своего духа новому строю и стерли въ однообразныхъ системахъ колоритную національную старину, но въ то же время сослужили важную службу въ качествѣ разрушителей военно-феодалнаго порядка, эта характеристика появляется и у Тьерри, когда онъ изображаетъ королевскихъ легистовъ XIII—XIV вѣковъ. Онъ относитъ появленіе ихъ къ тому моменту, когда побѣжденная туземная народная масса подняла голову противъ сыновей побѣдителей. Юристы стали какъ бы посредниками между двумя народами, они были призваны выработать новое право, которое признало бы побѣжденныхъ опять людьми. Но примиреніе и уравниеніе совершалось подъ покровомъ странныхъ принциповъ, ростъ націи пошелъ подъ прикрытіемъ ошибочныхъ фикцій.

Такимъ принципомъ былъ королевскій абсолютизмъ, божественное право монарха. Его разумная соціальная сторона заключалась, конечно, въ проведеніи равенства правъ для всего населенія. Но въ своей отвлеченной постановкѣ, въ безпощадномъ примѣненіи принципъ привелъ къ печальному результату. Легисты, дѣти третьяго сословія, стали, въ качествѣ пособниковъ королевской бюрократіи, невольными противниками главнаго и самаго дорогого созданія буржуазіи, именно свободы городовъ. Остановливаясь на фигурѣ одного изъ героевъ старинной исторической традиціи, идеализированныхъ либеральной публицистикой, на канцлерѣ Екатерины Медичи Лопиталѣ, Тьерри представляетъ его въ трагическомъ кон-

фликтъ между глубокимъ внутреннимъ влеченіемъ, между моральнымъ чувствомъ и требованіемъ системы, служебнаго долга. Ограничивая (посредствомъ Мулэнскаго ордонанса 1567 г.) свободу муниципалитетовъ, благородный канцлеръ долженъ былъ, думаетъ Тьерри, жестоко страдать въ душѣ отъ этой уступки въ пользу тиранніи ложнаго принципа.

Въ этой характеристикѣ буржуазной бюрократіи, служившей абсолютизму, заключался косвенный отвѣтъ реакціоннымъ историкамъ. Монлозье и другіе представляли феодализмъ эпохой вольностей, которыя были потоплены въ абсолютизмъ дѣтьми холоповъ. Либеральный историкъ частью признаетъ вѣрность этого обвиненія. Да, первые государственные дѣятели буржуазіи убили независимыя начала во имя равенства; во-первыхъ, они нанесли этимъ рану собственному тѣлу; во-вторыхъ, они искупили вину и dokonчили дѣло соціальнаго возрожденія въ героическую эпоху революціи.

## II.

Мы видѣли, какъ слагались историческія идеи Огюстэна Тьерри. Приведенныя мысли разсыпаны большею частью въ мелкихъ статьяхъ, написанныхъ въ промежутокъ 1817—1820 гг. (онѣ были собраны потомъ подъ заголовкомъ «Десять лѣтъ исторической подготовки», «Dix ans d'études historiques», со включеніемъ небольшого числа статей 1820—1827 гг.). Изъ нихъ видно, что у историка сложилось очень цѣльное міровоззрѣніе, что онъ исходилъ отъ крупной, можно сказать, морально-исторической задачи и на ея основѣ выработалъ себѣ обширный планъ великаго соціально-историческаго труда.

Свою общую тему онъ опредѣлилъ словами: «эпопея



*побѣжденныхъ*». Это значило, во-первыхъ, рѣшить «проблему средневѣкового завоеванія и его соціальныхъ послѣдствій», изобразить соціальную гибель, порабощеніе массы. Во-вторыхъ, это значило отыскать «традиціи свободы», написать несуществовавшую до тѣхъ поръ «исторію народа», «исторію подданныхъ», исторію обратной побѣды трудящихся классовъ надъ военными, превращенія невольныхъ и временныхъ рабовъ, культурныхъ по существу, въ современное свободное и политическое самостоятельное общество.

Оба факта, факты нисходящей и восходящей исторіи трудового, промышленнаго народа, виднѣлись историку въ судьбѣ всѣхъ культурныхъ націй Европы. Къ этимъ двумъ фазамъ и сводилась для него вся эволюція прогресса человѣчества. Ихъ смѣна составляетъ общій законъ въ развитіи всѣхъ народовъ: исторія турецкаго завоеванія на Балканскомъ полуостровѣ представляетъ тѣ же результаты, какъ вторженіе франковъ и другихъ германцевъ въ Галлію, Испанію и Италію. Въ этомъ отношеніи историку открывается широкое поле для сопоставленія, для примѣненія *сравнительнаго метода*. Неясныя явленія въ эволюціи одного народа должны выступить отчетливо при помощи аналогій, взятыхъ отъ процесса развитія другого народа. Въ исторіи тѣхъ націй, гдѣ процессъ прошелъ скорѣе и рѣзче, можно найти поученія и предсказанія для дальнѣйшей судьбы другихъ народностей, болѣе медлительныхъ въ своемъ движеніи.

Въ этомъ смыслѣ важно исходить отъ тѣхъ странъ и народовъ, гдѣ исторія борьбы запечатлѣна всего яснѣе, гдѣ противоположности нарисовались всего рѣзче. Такою страной представлялась либеральному историку Англія. Здѣсь завоеваніе какъ будто положило явное начало но-

вому порядку вещей. Съ пришельцами изъ Франціи, съ новой расой, безпощадными норманнами, захватившими землю и власть, явились новыя учрежденія и право, чуждыя туземцамъ. Образовался постоянный лагерь въ странѣ. Полтора вѣка держалось страшное господство военныхъ владыкъ среди отчаянныхъ возстаній стариннаго населенія, ставшаго внѣ закона, въ своихъ лучшихъ энергичныхъ людяхъ, превратившагося въ «разбойниковъ». Это норманское государство въ Англіи было организованной привилегіей меньшинства, которое собирало дань съ крѣпостного большинства и гоняло его на барщину. На верху меньшинства стоялъ пришлецъ, выражавшій лишь интересы хищниковъ, которые сидѣли по замкамъ среди порабощеннаго стада.

Но вотъ въ XIII в. поднимается протестъ противъ этого вождя мѣстныхъ владыкъ. Возстающіе ограничиваютъ его произволъ, обезпечиваютъ мѣстныя вольности, точно опредѣляютъ повинности и сбрасываютъ крѣпостную службу, наконецъ, заставляютъ короля созывать совѣтъ страны, парламентъ. Въ этомъ движеніи участвуютъ не только владѣтели земли, замковъ и крѣпостныхъ, но также населеніе городовъ, за которымъ стоитъ сельская масса. Не значитъ ли это, что подъ покровомъ политической перемѣны поднялся новый соціальный порядокъ? Не значитъ ли это, далѣе, что новый соціальный порядокъ, ни что иное, какъ возстановленіе старинной вольности, что это соціальное возрожденіе есть вмѣстѣ съ тѣмъ народное возрожденіе, подъемъ стариннаго саксонскаго населенія, придавленнаго въ теченіе 150 лѣтъ? Пришельцы смѣшались съ исконными жителями, усвоили себѣ мѣстный языкъ, нравы и преданія, а вмѣстѣ съ тѣмъ они объединились съ туземцами въ своихъ обще-



ственныхъ чувствахъ и стремленіяхъ. Завоеваніе окончилось, старое населеніе вновь оживилось. Въ этомъ первомъ пробужденіи исконной народной массы и зародилась свобода англійской націи.

Дальнѣйшіе шаги свободы связаны и съ новымъ торжествомъ коренного населенія. Оно не расположено вначалѣ къ политическому представительству, его насильно тянуть въ парламентъ; его истинная жизнь—въ корпораціяхъ; небольшія самоуправляющіяся единицы—цехи, гильдіи, городскія общины,—вотъ продукты его соціального творчества. Но оно добилося личной свободы. Оно приобрѣло связь съ королемъ, близость къ нему. Оно дало ему другой соціальный оттѣнокъ—представителя равныхъ между собою людей. Слѣдующая ступень состоитъ въ воспитаніи возродившагося коренного населенія къ политическому верховенству, къ парламентской жизни. Оно совершается въ великой революціи XVII вѣка. Но оно связано и съ послѣднимъ расчетомъ между двумя расами, раздѣлившими территорію и богатства страны. Оно составляетъ послѣдній отгѣтъ на начальное завоеваніе.

Въ революціи 1640 г. сказала «старая закваска національной вражды». Не даромъ же кавалеры, дворянство, соединились съ королемъ: они стали кругомъ своего вождя. Тѣ же люди, которые когда-то встрѣчались съ оружіемъ въ рукахъ, черезъ шесть столѣтій стали опять лицомъ другъ къ другу и повели войну интригъ и словъ, прежде чѣмъ дойти до силы, этого послѣдняго изъ аргументовъ. Но они должны разъ навсегда отступить. Этого требуетъ повелительный законъ матеріальнаго перевѣса.

По этому поводу буржуазные историки, Тьерри и Гизо, подхватываютъ жадно одно замѣчаніе Юма, именно, что въ послѣднихъ парламентахъ передъ революціей Нижняя па-

лата обладала втрое большимъ богатствомъ въ сравненіи съ Верхней. Въ ихъ толкованіи это значить, что буржуазія стянула въ свои руки капиталъ страны, и съ этой поры ея торжество было обеспечено. Затронутая въ своихъ промышленныхъ интересахъ, стѣсненная въ своей предпримчивости монополіями, произвольными арестами и конфискаціями, т.-е. остатками стараго права, стараго произвола, она поднялась въ послѣдній разъ и осуществила современный политическій и общественный порядокъ. Но только въ этотъ моментъ и появилась англійская нація. «До тѣхъ поръ каждый въ одиночку служилъ своему господину: никто не дѣлалъ ничего для равныхъ себѣ; была лишь разсѣянная масса. Промышленность соединила всѣхъ путемъ взаимныхъ услугъ; промышленность внушила имъ жажду общей свободы».

Никто изъ либеральныхъ историковъ не подчеркивалъ въ такой мѣрѣ *матеріальнаго фактора*, экономического мотива въ основѣ соціально-политической борьбы, какъ Тьерри. Онъ не даромъ одно время былъ оторванъ отъ историческаго изученія и «поглощенъ теоріями соціальнаго строенія, вопросами управленія и политической экономіи»—глухой намекъ на школу, пройденную подъ руководствомъ С.-Симона. Эта школа сближаетъ Тьерри съ современными намъ толкованіями соціальнаго процесса.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы въ настоящее время ясно чувствуемъ натяжку, когда Тьерри и его поколѣніе историковъ начинаютъ отождествлять классы съ расами и соціальные интересы съ этнографическими признаками или племенными традиціями. Образованіе расъ въ нашихъ глазахъ—фактъ, съ одной стороны, болѣе старій, въ своихъ первыхъ фазахъ ускользающій отъ глазъ исторіи, съ другой—постоянно продолжающійся, незаконченный и



во всякомъ случаѣ чуждый группировкамъ классовыхъ интересовъ. Мы уже не можемъ въ настоящее время допустить неподвижности расъ. Отыскивая физическую основу тѣхъ или другихъ формъ организаціи труда, мы не остановимся уже на племенныхъ особенностяхъ: мы станемъ присматриваться къ географическимъ условіямъ, устройству поверхности, характеру почвы, климата, господствующей флорѣ и фаунѣ страны и т. д.

Не можемъ мы теперь также сводить и явленія социальной іерархіи, ступени лѣстницы классовъ, формы владѣнія и зависимости, господства и службы на простой фактъ вторженія бродячаго иноплеменнаго войска, обращающаго туземное осѣдлое населеніе въ своихъ крѣпостныхъ. Какъ для насъ нѣтъ «чистыхъ» расъ, такъ нѣтъ и подобнаго чисто завоевательнаго происхожденія собственности и подчиненнаго труда. Мы знаемъ, что неравенство, зависимость и господство возникаютъ въ странѣ помимо появленія новыхъ завоевательныхъ группъ отъ разнообразныхъ условій, принадлежности лицъ къ болѣе или менѣе значительному родственному или иному союзу, отъ захвата лучшихъ земель и т. д.

Въ своей картинѣ жизни Жака до прихода германцевъ Тьерри забылъ одинъ важный фактъ—наличность крупныхъ владѣльцевъ, галло-римскихъ поссессоровъ, у которыхъ уже были крѣпостные и притомъ одноплеменные съ ними: среда «жаковъ» сама была уже глубоко расколота на господъ и сервовъ. Конечно, многіе галльскіе господа уступили пришлымъ воинамъ свои имѣнія и людей; но другіе остались на мѣстахъ и вошли въ среду новыхъ правителей; формы владѣнія и подчиненія не вновь создались среди катастрофы вторженія, а остались въ значительной мѣрѣ прежнія.

Наконецъ, и пришельцы не представляются намъ болѣе однородной массой въ видѣ какой-то полудикой крестьянской демократіи, которая превращается на завоеванной землѣ въ рыцарскую демократію и воцаряется надъ массой, лишенной «публичнаго права». Этотъ романтическій взглядъ, примыкавшій къ старинному предразсудку дворянъ, будто свобода вмѣстѣ съ ихъ предками вышла изъ лѣсовъ Германіи, эта идиллія первоначальной общины равныхъ, нарисованная пессимистически-реакціонной фантазіей Тацита, не удовлетворяетъ насъ болѣе. Не крестьяниномъ былъ голубоглазый великанъ, лежавшій по цѣлымъ днямъ на медвѣжьей шкурѣ, говоритъ современный нѣмецкій историкъ, а помѣщикомъ, у котораго были крѣпостные. Въ этой тучѣ сѣверныхъ варваровъ уже съ перваго взгляда мы можемъ разобрать различія: въ войскѣ впереди ѣхали конники или шли воины въ металлическомъ вооруженіи, отъ которыхъ рѣзко отдѣлялись люди съ деревянными дротиками и каменными топорами. Процессъ раздѣленія богатыхъ и бѣдныхъ начался и здѣсь уже давно. Такимъ образомъ и въ средѣ пришлыхъ людей часть была уже сама въ жалкомъ, подчиненномъ положеніи, когда сѣла на новой землѣ.

Тьерри и историки его времени не видѣли этого не потому только, что не располагали нашимъ этнографическимъ, археологическимъ и другими матеріалами. Въ ихъ формулахъ отражалось вліяніе болѣе общаго факта. Ихъ зрѣніе было подчинено рамкамъ, которыя давала современная имъ борьба интересовъ. Стоявшія передъ ихъ глазами двѣ большія соціальныя группы современности они проектировали на всѣ 17—20 вѣковъ назадъ до времени Цезаря и Тацита. Они видѣли передъ собой точно двѣ огромныя соціальныя фамиліи и поднимались отъ



нихъ по двумъ родословнымъ древамъ къ двумъ ясно различимымъ, какъ они думали, предкамъ. Очень скоро сама дѣйствительность въ новѣйшей Европѣ должна была научить ихъ различать болѣе, чѣмъ двѣ только соціальныя семьи, и наблюдать самыя разнообразныя скрещиванія между ними.

Тьерри принялся энергично за выполненіе своей общей задачи на примѣрѣ Англіи. Такъ произошла его первая крупная работа—«Исторія завоеванія Англіи норманнами». Въ ней много плебейской романтики; возникшая подъ вліяніемъ Вальтеръ Скотта, она сама скорѣе всего историческій романъ изъ средневѣковой жизни. Ея возвышенныя трагическія и трогательныя картины невозможно забыть.

Но это была работа, которую историкъ не могъ кончить. Въ англійской исторіи отчетливо выдѣлялось завоеваніе: но дальнѣйшій ходъ англійскаго соціально-политическаго развитія никакъ нельзя было подвести подъ формулу торжества буржуазіи. Это чувствовалъ Тьерри. Притомъ вѣдь Англія должна была служить лишь зеркаломъ Франціи, только давать для заполненія общей соціологической схемы болѣе яркія иллюстраціи тамъ, гдѣ ихъ не давала Франція. Для того, чтобы рѣшить вторую половину своей научно-исторической проблемы—представить возрожденіе буржуазіи, Тьерри долженъ былъ прямо обратиться къ Франціи.

«Раздался кличъ по всему протяженію цивилизованнаго общества, нетерпѣливо желавшаго сбросить съ себя путы, и Европа внезапно усѣялась новыми націями, чуждыми всему тому, что жило кругомъ нихъ, и стремившимися другъ къ другу, чтобы возсоединиться». «Наши предки были близки къ современнымъ американскимъ нравамъ;

они обладали простотой, здравымъ смысломъ и гражданскимъ мужествомъ. Вся Европа шесть вѣковъ тому назадъ стала бы свободной, если бы это зависѣло отъ этихъ свободныхъ людей. Если же то, чего они хотѣли, не случилось, вина была не ихъ, а времени; варварство было слишкомъ живуче; оно вездѣ пустило корни... Они не могли пробиться чрезъ массу дикихъ и воинственныхъ людей, которые ихъ окружали».

Эти слова написалъ двадцатидвухлѣтній Тьерри въ радикальномъ журналѣ *Senseur européen* въ 1817 году. Черезъ 10 лѣтъ онъ выпустилъ свои «Письма по исторіи Франціи», главное содержаніе которыхъ—исторія возстанія городовъ и образованіе коммунъ въ XII—XIII вв., «величайшее соціальное движеніе, какое только было отъ установленія христіанства до французской революціи».

Въ этотъ сюжетъ историкъ третьяго сословія внесъ своеобразную черту. Онъ изобразилъ первые зачатки современнаго европейскаго общества, обнаружившіеся въ коммунахъ средневѣковой Франціи, въ видѣ какой-то почти религіозной общины; герои коммунальныхъ востаній у него выступаютъ мучениками небольшой когда-то, самоотверженной паствы, которая теперь разрослась и захватила весь культурный міръ. Именно религіозное чувство благоговѣнія къ святымъ основателямъ церкви, какое могъ испытывать какой-нибудь средневѣковой составитель мартиролога, пробивается и у Тьерри въ его колоритныхъ драматическихъ и трогательныхъ разсказахъ о судьбахъ мятежныхъ коммунъ.

Вотъ, напримѣръ, въ исторіи Лана (Laon), онъ останавливается на эпизодѣ 1128 года, когда, при посредничествѣ короля, возставшій городъ заключилъ договоръ съ епископомъ, коммуна была признана, и мятежники



получили прощеніе. Только тринадцать именъ самыхъ ярыхъ противниковъ владыки были исключены отъ амнистіи. Тьерри обращается къ читателю: «я не знаю, раздѣлите ли вы со мною впечатлѣніе, которое я испытываю, заносся темныя имена опальныхъ людей XII вѣка. Не могу удержаться, чтобы не перечитать ихъ и не произнести ихъ нѣсколько разъ, какъ будто эти имена могутъ раскрыть мнѣ тайну того, что чувствовали и чего хотѣли люди, носившіе ихъ 700 лѣтъ назадъ... Не могу равнодушно отнестись къ этимъ именамъ и ихъ краткой исторіи, этому единственному документу революціи, правда, очень далекой отъ насъ, но заставившей биться благородныя сердца и вызвавшей тѣ великія движенія души, которыя испытывали или раздѣляли мы всѣ въ теченіе послѣднихъ сорока лѣтъ».

Современная научная мысль стоитъ далеко отъ этой драматизаціи городского движенія. Коммуна, республика воинственныхъ и независимыхъ горожанъ, для насъ вовсе не покрываетъ средневѣковаго города, даже не служитъ его типомъ. Мы знаемъ, что самостоятельный строй города былъ часто результатомъ соглашенія его обывателей съ мѣстнымъ владыкой, свѣтскимъ или духовнымъ, соглашенія, основаннаго на куплѣ-продажѣ, на выторговываніи и сдѣлкахъ. Множество городовъ составилось изъ слободъ, устроенныхъ самими господами, изъ рынковъ, заведенныхъ на крѣпостной землѣ, и большая часть такихъ городовъ совсѣмъ не видѣла свободы. Горожане и бароны вовсе не всегда воевали между собою, а много обмѣнивались услугами и товарами, если же воевали, то далеко не всегда оружіемъ, а нерѣдко мелкими и меркантильными средствами.

Историкъ буржуазнаго героизма не замѣчалъ этихъ

явленій. Но въ его идеализаціи коммунъ звучитъ еще одинъ мотивъ. Молодой Тьерри выражалъ политическую программу тѣхъ круговъ, къ которымъ онъ примыкалъ въ такой формулѣ: «какое угодно правительство, но съ невозможно бѣльшей суммой гарантіи для свободы личности и невозможно меньшимъ административнымъ воздѣйствіемъ. А между тѣмъ, подъ знаменемъ общей вольности, отъ имени верховнаго народа правилъ недавно военный деспотъ, дорогу же ему показали якобинскіе демагоги, которые изъ центра держали въ трепетѣ остальную Францію».

На эту опасную крайность, созданную революціей, указывала теперь либеральная школа. Ея крупнѣйшій теоретикъ въ дни реставраціи, Ройе Колларъ, ставилъ на видъ, что революція, сокрушивъ старыя привилегіи и мѣстныя вольности во имя общенародной свободы, оставила на ногахъ лишь однѣ разсѣянныя личности. Французы въ 1816 г., говорилъ онъ, централизованы, т.-е. уединены другъ отъ друга. Они не граждане, они—«управляемые». Они потонули въ верховенствѣ; «уполномоченные верховной силы чистятъ у насъ улицы и зажигаютъ фонари». Парламентъ—сомнительная гарантія противъ новой сокрушительной мощи государства; но крайней мѣрѣ, въ своемъ современномъ видѣ, парламентъ, избираемый не самобытными группами, а случайными числовыми массами, представляетъ только новую форму политическаго господства надъ разрозненными индивидами.

У Тьерри вырывается та же жалоба. Въ настоящее время (эти слова относятся еще къ 1820 г.) Франція въ дѣйствительности не представлена. Ея составныя части лишены жизни, «бездыханны», а цѣлое ведетъ жизнь отвлеченную, до извѣстной степени лишь номинальную, какъ



Могло бы жить тѣло, всѣ члены котораго парализованы. Представительная форма хороша, когда она проведена снизу доверху. Должно начать съ представительныхъ учрежденій внутри городовъ, затѣмъ внутри областей. Національный парламентъ долженъ быть лишь вершиной массы поднимающихся ступенями представительныхъ группъ. Вотъ почему Тьерри считаетъ идеальной партіей въ эпоху революціи жирондистовъ, защищавшихъ мѣстную автономію, а политическимъ лозунгомъ современности провозглашаетъ федерализмъ.

Но опять-таки, за кого же исторія, за централизацію или за федерализмъ, въ какомъ изъ этихъ двухъ направленій шла искони Франція? Тьерри не сомнѣвается въ томъ, что истинныя старинныя традиціи за его политическій идеалъ. Исторія Франціи всегда работала въ духѣ федерализма, въ духѣ свободного соединенія самостоятельныхъ частей.

Основой этого нормальнаго для Франціи строя служила наличность нѣсколькихъ націй на ея почвѣ: бретонцевъ, норманновъ, провансальцевъ и т. д. Къ племенной и областной самостоятельности примкнула потомъ свобода городскихъ общинъ. Онѣ имѣли уже всѣ черты современныхъ свободныхъ государствъ. Когда, въ 1789 г., раздался призывъ къ «конституціи», въ немъ не было отреченія отъ того, что составляло индивидуальность въ старинной французской жизни; была только жажда болѣе прочной, болѣе простой гарантіи свободы, до тѣхъ поръ слишкомъ капризно, слишкомъ неравномѣрно распределенной по разнымъ клочкамъ страны.

Но депутаты 1789 г. пошли слишкомъ далеко: чтобы уничтожить неравенство и привилегіи, они раздробили территоріи и убили мѣстныя существованія. Еще моментъ

спустя. изъ-за необходимости внѣшней защиты забыли о свободѣ, сорвалась «французская фурія», и сторонники вольной федераціи, «истиннаго соціальнаго строя, зародышъ котораго лежалъ въ старинной Франціи», были повлечены на эшафотъ.

Эти признанія Тьерри чрезвычайно важны. Они показываютъ, какого поздняго происхожденія современный намъ націонализмъ. Большинству либераловъ эпохи Тьерри централизація, однообразныя политическія формы и политическія чувства на всемъ протяженіи страны внушаютъ сильное недовѣріе. Они потому и протестуютъ противъ господства Парижа, который стираетъ все, что колоритно, своеобразно, самобытно, который разсылаетъ свои приказы въ усыпленные, впавшія въ ничтожество окраины. Тьерри точно боится слишкомъ легкаго перехода обще-французскаго патріотизма въ якобинство, въ революціонно-деспотическую «фурію».

Національное единство, государственное верховенство—все равно, монарха или народа—вѣдь это тѣ страшныя слова, при помощи которыхъ установилась и военная имперія. Они означаютъ расщепленіе общества и подчиненіе разрозненныхъ составныхъ его единицъ одной огромной безличной машинѣ.

Любопытно, что формулы этого недовѣрія къ національно-политическимъ символамъ у либераловъ совпадаютъ съ феодально-реакціонными протестами. Галлеръ откровенно говоритъ, что патріотизмъ ни что иное, какъ «рабство, замаскированное великолѣпнымъ словомъ». Онъ осуждаетъ патріотизмъ, потому что видитъ въ немъ революцію.

Вотъ новое основаніе для сближенія реакціонной и либеральной романтики: старые города поэтизируются, какъ



героическіе оплоты, какъ живыя малыя корпораціи, какъ здоровые организмы противъ бездушнѣйшей силы огромнаго государственнаго аппарата.

### III.

Пока историкъ готовилъ и разрабатывалъ «эпопею побѣжденных», политическія судьбы Франціи мѣнялись. Соціальные круги, къ которымъ онъ принадлежалъ по своимъ симпатіямъ, несмотря на нѣкоторые возвраты реакціи, придвигались въ двадцатыхъ годахъ ближе и ближе къ власти. Въ то же время остывала политическая горячность Тьерри. Онъ признавался въ 1827 году, что «все еще любитъ свободу, но уже не тѣмъ нетерпѣливымъ чувствомъ, какъ раньше». Большинство людей, утѣшался онъ, умирало прежде, чѣмъ увидѣть осуществленіе того, что они антиципировали въ идеѣ. «Медленно идетъ міровая работа».

Но вотъ въ 1830 году совершился и переворотъ, который обратилъ въ дѣйствительность бѣольшую часть либеральной программы 1820 года. Съ устраненіемъ старой династіи установилось политическое руководство состоятельныхъ буржуазныхъ слоевъ; прочно утвердился парламентаризмъ и свобода печати. Въ кругу друзей Тьерри переменна ощущалась особенно ясно. Талантливые профессора двадцатыхъ годовъ Гизо, Вильменъ, Кузэнъ и др., успѣвшіе, по выраженію Тьерри, подняться въ эпоху борьбы до степени соціальной силы, обратились послѣ 1830 года въ представителей власти: «новая школа историковъ, сплотившаяся благодаря чернымъ днямъ, рассыпалась по всевозможнымъ административнымъ карьерамъ». Гизо сталъ министромъ, Кузэнъ по своему

университетскому положенію превратился въ какого-то папу философіи, братъ Тьерри получилъ должность префекта, и т. д.

Казалось, работа шести вѣковъ, возникшая въ скромныхъ общинахъ, долгая борьба, которую вела буржуазія, нашла теперь свое логическое и необходимое завершеніе. Тьерри вѣрилъ, что подвергавшійся кризису «союзъ между національнымъ преданіемъ и либеральными принципами вновь возстановился». Франція какъ будто получила, наконецъ, нормальную организацію; предшествующее ея развитіе нашло себѣ согласное наукѣ завершеніе.

Примиренный съ дѣйствительностью, историкъ либеральнаго направленія смягчалъ или даже забывалъ свои полемическія формулы въ изображеніи прошлаго. Онъ уходилъ въ чисто художественныя характеристики глубокой старины. Въ «Разсказахъ изъ исторіи Меровинговъ» широкой эпической кистью захвачены вмѣстѣ съ галльскими «подданными» и франки завоеватели, вызывавшіе у Тьерри раннее чувство, близкое къ ненависти, когда они служили въ литературѣ символомъ реакціонно-эмигрантскихъ притязаній. Воевать теперь было не съ кѣмъ.

Прежніе разговоры о необходимости реформировать историческую науку получили другой смыслъ. Борцы 1814—1830 годовъ требовали вскрытія конкретной правды, спрятанной подъ благозвучными отвлеченными терминами «народъ», «монархъ», «государственная власть» и т. д. Они разумѣли подъ конкретнымъ опредѣленіемъ момента, политической группы или силы точную ихъ социальную характеристику, потому что имъ надо было выдѣлить истинную роль класса, въ рядахъ котораго они стояли. Теперь конкретизація исторіи превращалась у Тьерри главнымъ образомъ въ техническую реформу, въ разработку художе-



ственного разсказа, въ изображеніе обстановки, деталей старины.

Тьерри чувствовалъ, однако, что въ кругахъ, къ которымъ онъ примыкалъ, произошло нѣкоторое пониженіе общественныхъ идеаловъ. Въ одномъ изъ позднѣйшихъ изданій «*Dix ans*», которое принадлежитъ тридцатымъ годамъ. Тьерри сдѣлалъ любопытную приписку: «если бы, съ тѣми убѣжденіями, которыя у меня были въ 24 года, я встрѣтился съ революціей 1830 года и ея политическими послѣдствіями, я бы навѣрно судилъ о ней пристрастно и пренебрежительно; возрастъ сдѣлалъ меня менѣе восторженнымъ въ отношеніи идей и болѣе снисходительнымъ къ фактамъ». Тьерри признавался вмѣстѣ съ тѣмъ, что событіе, столь счастливое въ политическомъ отношеніи, какъ іюльскій переворотъ 1830 года, произвело въ моральной и интеллектуальной области какую-то разслабленность воли и разрозненность стремленій.

Между тѣмъ Тьерри ждала обширная работа, повидимому, вполне покрывавшая соціально-историческую задачу его поколѣнія. Первое чисто буржуазное правительство задумало научное предпріятіе, которое должно было создать какъ бы историческій монументъ всему общественному классу, вышедшему теперь наверхъ. Это было изданіе огромнаго собранія документовъ по исторіи третьяго сословія, предположенное министерствомъ Гизо.

Кого же было всего лучше поставить во главѣ этого дѣла, какъ не восторженнаго лѣтописца коммуна? Принимаясь за великую собирательную работу, Тьерри задумалъ вмѣстѣ съ тѣмъ соединить въ рядѣ образовъ всю славную судьбу, весь трудный путь развитія сословія, вынесшаго на своихъ плечахъ новую Францію. Этотъ путь и казался ему главной руководящей нитью французской исторіи.

Съ точки зрѣнія роста, успѣховъ буржуазіи «исторія Франціи,—говорилъ потомъ Тьерри,—поражала красотой единства и простоты. Я живо чувствовалъ величіе подобнаго зрѣлища...» Ему рисовалась своего рода философія исторіи Франціи отъ ея начала до новѣйшихъ временъ—въ свѣтѣ успѣховъ трудовой, промышленной массы. Такъ слагалось содержаніе послѣдней работы Тьерри: *«Опытъ исторіи происхожденія и успѣховъ третьяго сословія»*.

Но на этой работѣ отразилось уже воздѣйствіе новыхъ соціальныхъ измѣненій эпохи тридцатыхъ и сороковыхъ годовъ. Крупная буржуазія, образовавъ своего рода привилегированную политическую группу и высшій административный слой, рѣзко отдѣлилась отъ остальной массы мѣщанства. Еще ниже складывался рабочій классъ; представители его въ 1830 году въ послѣдній разъ бились за чужое для нихъ дѣло, за политическій символъ конституціи, которая оставляла ихъ за чертой: теперь они волновались, выдвигая собственную программу, добиваясь прямого улучшенія своей участи. Навстрѣчу этимъ глухимъ протестамъ поднимались многочисленные соціальныя утопіи, порожденія горячо работавшей религіозно-соціалистической фантазіи.

Недавніе борцы за плебейскую честь оказались теперь обладателями власти, они стали той аристократіей, противъ которой вооружилась новая масса неполноправныхъ. Открывалась новая невѣдомая борьба, какъ будто непредусмотрѣнная теченіемъ вѣковъ европейской исторіи. Новый расколъ грозилъ разразиться въ средѣ того культурнаго общества, которое такъ долго, такъ мучительно трудно готовилось къ выходу наверхъ, сквозь невѣжество и рабство, и которое, какъ увѣренно выражались



его лучшіе представители, только что вступило въ положеніе окончательнаго торжества, въ «финальное» состояніе цивилизаціи.

Интеллектуальные руководители правящей буржуазіи готовы были бы сказать: вѣдь классовая борьба кончилась; представители капитала и работы вышли вѣдь изъ одной трудовой индустріальной плебейской семьи. Открывать внутри нея новую противоположность, вызывать снова призракъ классовой борьбы—не значить ли разрѣзывать живое тѣло? Буржуазный историкъ желалъ бы, конечно, найти въ новомъ кризисѣ лишь временное отклоненіе. Но событія могли его встревожить болѣе глубоко.

Прежде чѣмъ успѣла выйти книга Тьерри, произошла новая политическая катастрофа, вліяніе которой отмѣтило послѣдній фазисъ въ развитіи либеральной исторіографіи. Революціей 1848 года Тьерри былъ «потрясенъ вдвойнѣ, какъ гражданинъ и какъ историкъ. Силою этого переворота... исторія Франціи, казалось, была опрокинута такъ же, какъ сама Франція». Въ февральскіе дни 1848 года сокрушился конституціонный порядокъ, который такъ недавно былъ объявленъ нормальнымъ строемъ Франціи. Королевская власть исчезла съ лица этой земли. Между тѣмъ въ исторической картинѣ либеральной школы монархія фигурировала въ качествѣ одной изъ великихъ основъ французской культуры.

Монархія служила въ глазахъ этой школы вѣковымъ показателемъ общественныхъ тенденцій. Она мѣняла нѣсколько разъ свою соціальную фізіогномію, была сначала варварскимъ предводительствомъ, потомъ носила вотчинно-военныя черты, наконецъ, сближаясь все болѣе съ трудолюбивой предприимчивой ротюрой, приняла характеръ великой уравнительной силы, усвоила приемы

индустріального ініціатора; она стала, послѣ ряда колебаній, ошибокъ и возвратовъ, истинной выразительницей генія третьяго сословія. И вотъ теперь этотъ признанный символъ преобладанія буржуазіи упраздненъ, сметенъ безслѣдно.

Демократическая волна однако не остановилась на этомъ сокрушеніи вершины соціально-политическаго порядка. Провозглашено было всеобщее избирательное право, и исчезло привилегированное положеніе высшихъ слоевъ буржуазіи. Еще нѣсколько мѣсяцевъ, и въ іюньскіе дни 1848 года рабочія массы грозно напомнили о себѣ: непримиримыми врагами стояли теперь другъ противъ друга старшіе и младшіе братья большой индустріальной семьи. Созданная либеральной школой философія исторіи подрывалась въ корнѣ: казалось, поднявшіяся въ народѣ до тѣхъ поръ темныя силы отвергали всю многовѣковую традицію, порывали съ исторіей; вычеркнувъ королевскую власть, онѣ отстраняли и руководство высшихъ буржуазныхъ слоевъ.

Вотъ тѣ обстоятельства, среди которыхъ доканчивалась работа историка буржуазіи. Въ теченіе тридцати пяти лѣтъ (1814—1848) онъ пережилъ героическую борьбу ея во имя широкихъ политическихъ началъ, вершину ея торжества и ея моральное расслабленіе и, наконецъ, неожиданно быстрый трагическій исходъ режима индустріальной аристократіи. Была ли возможность научно разобратся въ этомъ опытѣ поколѣнія, сложномъ, богатомъ перипетіями, полнымъ поразительныхъ моментовъ?

Событія какъ бы требовали, чтобы историкъ произвелъ новый анализъ, новый разрѣзъ прошлаго. Расколъ въ современности былъ такъ силенъ, борьба такъ глубоко раздѣлила общественныя группы, что онъ могъ спрашивать



себя, не было ли въ самой старинѣ серьезной розни, которой онъ не замѣтилъ? Не было ли издавна предвѣстій злого кризиса? Не крылось ли давно уже противоположностей, несогласій внутри дома стараго Жака?

А если такъ, то опять, какъ въ старомъ спорѣ «праздныхъ» и «трудящихся», спрашивалось, не укажетъ ли историческая традиція правильнаго выхода изъ этой розни?

Поколѣніе, выдвинувшее въ свое время формулу борьбы классовъ, не умѣло ни примириться съ новымъ фактомъ, ни понять его. Непреклонный законникъ Гизо не хотѣлъ уступать и послѣ роковой катастрофы: нація, по его мнѣнію, глубоко погрѣшила противъ исторіи; раньше не было розни въ средѣ единого третьяго сословія, и историкамъ не надо брать назадъ ни одного слова. Тьерри не пошелъ такъ далеко. Онъ не могъ признать правильности политическихъ и соціальныхъ требованій новыхъ народныхъ классовъ, но онъ видѣлъ начало разлада, онъ видѣлъ трещины и въ старомъ социальномъ укладѣ Франціи. Современныя явленія были великимъ бѣдствіемъ, но въ прошломъ можно было найти и виноватыхъ, и начало ошибокъ,—вотъ что онъ думалъ.

Во-первыхъ, двѣ великія силы, создавшія новую Францію, третье сословіе и королевская власть, стали разлучаться, враждовать между собою еще за столѣтіе до первой революціи. Поэтому «восемнадцатый вѣкъ одинъ представляетъ исключеніе изъ закона нашего національнаго развитія: онъ внесъ недовѣріе и приготовилъ роковой разрывъ между третьимъ сословіемъ и королевской властью». Сословіе отказалось отъ своего вождя въ кризисѣ 1789 года и этимъ подорвало монархическія учрежденія разъ навсегда. Во-вторыхъ, и въ самомъ корпусѣ третьяго сословія поднимались не разъ внутренніе споры,

Надо въ немъ различать косныя пассивныя массы и болѣе благородныя интеллигентныя руководящіе слои, составлявшіе какъ бы первную систему огромнаго организма. Первыя были далеки отъ пониманія соціальныхъ задачъ; по временамъ они выбивались изъ необходимаго повиновенія вождямъ и тогда разливались дикой разрушительной силой. Таково было движеніе Жаковъ въ началѣ Столѣтней войны (въ 1357 г.), разъяренныхъ крестьянъ, временныхъ, но роковыхъ союзниковъ парижской буржуазіи, которая готовилась подарить Франціи гражданское равенство и политическую свободу за 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> вѣка до революціи. Лишенные всякой разумной цѣли, Жаки только помѣшали этому великому дѣлу.

Вотъ все, что умѣлъ теперь сказать о простонародьѣ историкъ, когда-то вдохновившійся именемъ Жака Бонума, написавшій «Яшѣ простачку» энергичную и горячую защиту. Герой, на которомъ онъ теперь останавливался, былъ не народъ, не олицетворенный трудъ; это была фигура предприимчиваго и безпощаднаго организатора, демагога изъ купеческой аристократіи, Этьена Марсея. Отъ стараго демократизма Тьерри остался лишь красный лоскутъ на трехцвѣтномъ знамени.

По всей *Исторіи третьяго сословія* Тьерри идетъ разрѣзъ между этими двумя народными группами. Собственно «народъ» въ послѣднемъ трудѣ его служить обозначеніемъ одной темной массы. «Народъ» былъ полезенъ лишь въ тѣ моменты, когда поддерживалъ буржуазную аристократію, людей капитала, ума и таланта, направлявшихъ Францію къ ея новому, соціальному строю. Какъ только масса отклонялась отъ цѣлей, указанныхъ ей свыше, она гибла сама и губила общественное дѣло.

Такимъ образомъ соціальная борьба, открывшаяся въ



30—40 годах XIX вѣка, научила наблюдателя дѣлать и въ историческомъ прошломъ третье сословіе, казавшееся раньше столь компактнымъ цѣлымъ, на классы. Этимъ разрушалась цѣльность историческаго міровоззрѣнія, выставленнаго либеральной школой: нельзя было больше говорить о финальномъ состояніи культуры XIX вѣка, о «великомъ единственномъ въ своемъ родѣ фактѣ» роста единого третьяго сословія, которое готовило это торжество культуры.

Трагическая личная судьба Тьерри объясняетъ многое въ этомъ крушеніи философско-исторической системы, въ этой узости, этомъ ослѣпленіи когда-то демократическаго историка, бывшаго ученикомъ социалиста-романтика. Тьерри ослѣпъ въ настоящемъ смыслѣ слова еще въ 1825 году отъ чрезмѣрно напряженнаго труда, вскорѣ послѣ этого былъ разбитъ параличомъ и въ этомъ тяжеломъ состояніи, «заключивъ дружбу съ мракомъ», отрѣзанный отъ живой дѣйствительности, прожилъ послѣднія 30 лѣтъ жизни. При этихъ условіяхъ слишкомъ понятна остановка его мысли, неподвижность его сужденія. Простительна и другая слабость, отъ которой съ изумленіемъ отвернулся бы энергичный борецъ 1814—1820 годовъ. Старый, больной Тьерри отдался мистицизму, сталъ прислушиваться къ католическимъ мотивамъ, хотя, какъ увѣряютъ его друзья, до конца отказывался отъ явныхъ символическихъ актовъ обращенія.

Въ этихъ старческихъ иредсмертныхъ уступкахъ Тьерри можно видѣть отзвуки той социальной реакціи, которая выражается въ католическомъ возрожденіи 40—50-хъ годовъ XIX столѣтія. Во всякомъ случаѣ жизнь и дѣло крупнаго носителя идей поколѣнія десятихъ и двадцатыхъ годовъ приходили къ концу, исчерпывали свое содержа-

ніе. Тьерри со скорбью смотрѣлъ на послѣднія событія, будущее страшило его своею неизвѣстностью, такъ какъ ему измѣнялъ, отказывалъ въ помощи опытъ вѣковъ, или то, что онъ считалъ за таковой опытъ.

Спокойнѣе и, можетъ быть, даже болѣе благопріятно взглянемъ мы теперь на научное наслѣдство, оставленное этимъ поколѣніемъ, на общіе пріемы и результаты работы Тьерри. Вѣдь въ его трудѣ положены были основанія *соціальной исторіи*. Онъ ясно формулировалъ и главное явленіе соціально-историческаго процесса, подъ именемъ «*борьбы классовъ*». Представленія о классахъ, объ элементахъ ихъ происхожденія и организаціи, представленія о содержаніи борьбы были въ первой половинѣ XIX вѣка, разумѣется, иныя, чѣмъ стали во второй. Но оригинальное созданіе общаго соціально-историческаго метода принадлежитъ первой изъ этихъ двухъ эпохъ.

---



## Психологія театра.

Большой европейскій городъ заключаетъ въ себѣ, безъ сомнѣнія, самыя высшія культурныя средства, какія только выработаны людьми. Между этими средствами совершенно исключительное мѣсто занимаетъ театръ. Онъ доступенъ широкой и необыкновенно разнообразной массѣ. Онъ вызываетъ общее увлеченіе. Люди самыхъ различныхъ положеній ни о чемъ, можетъ быть, не ведутъ болѣе живыхъ, болѣе общихъ разговоровъ, какъ, именно, о своихъ театральныхъ впечатлѣніяхъ.

Въ чемъ лежатъ причины увлеченія театромъ? Чего люди ищутъ въ театрѣ и что въ немъ находятъ? Если бы мы могли сдѣлать общій опросъ въ этомъ направленіи, то, конечно, убѣдились бы, что для огромнаго большинства посѣщеніе театра не сопровождается ясными, сознательными идеями. Но если бы мы даже ограничились тѣми немногими людьми, которые сумѣли бы отвѣтить на вопросъ, въ чемъ они видятъ силу театра, намъ пришлось бы признать, что и эти немногіе не руководятся отчетливыми цѣлями, когда спѣшатъ не пропустить театрального представленія. Потребность велика, неудержима, но степень ея сознательности очень слаба. Однако мы любимъ останавливаться теоретически на вопросѣ о цѣнѣ и роли театра въ общественной жизни и личномъ развитіи, и то, что мы высказываемъ въ эти моменты спокойнаго отно-

шенія къ театру, только подтверждаетъ фактъ могущества и загадочности этого влеченія.

Въ самомъ дѣлѣ, что приписываетъ теорія театру? Она говоритъ, что въ красотѣ художественныхъ образовъ, воспроизводимыхъ театромъ, раскрывается и дѣйствуетъ на насъ правда, что театръ воспитываетъ, улучшаетъ общественные нравы, выясняя обществу и человѣку самихъ себя, объективируя ихъ, какъ въ зеркалѣ. Говоритъ она, что театръ судитъ дѣйствительность и примиряетъ съ жизнью: онъ даетъ выходъ нашей потребности критики, онъ произноситъ осужденіе темныхъ сторонъ жизни и въ то же время онъ очищаетъ наше сознаніе, раскрывая въ изображенныхъ страданіяхъ элементы торжества высшаго начала.

Въ театрѣ, слѣдовательно, происходятъ какія-то чудеса. Онъ творитъ иѣкую волшебную переменѣну въ человѣкѣ. Да и средства, которыми дѣйствуетъ театръ, развѣ не чудесныя также? На подмосткахъ мы видимъ воспроизведеніе самихъ себя, своей жизни, мы видимъ своихъ двойниковъ. Всѣ усилія употреблены на то, чтобы достигнуть иллюзіи и заставить насъ чувствовать истинную обстановку, истинныя страданія, истинный смѣхъ; и въ то же время мы ни на минуту не можемъ и не должны забывать, что это — игра, т.-е. искусственная и сложная форма выраженія человѣческой фантазіи.

Это изумительная область. Въ театрѣ человѣкъ явно строитъ, сочиняетъ, ухитряется, чтобы повторить нарочно то, что въ жизни проходитъ страшными, тяжелыми или, напротивъ, свѣтлыми моментами, и вся сотня выдумокъ и искусственностей заставляетъ насъ снова переживать тѣ же моменты, заставляетъ опять биться сердце, опять кинѣть и ожидать. Это своя особенная психологія.



Нельзя ли разобраться въ этой психологіи? Откуда въ театрѣ эти элементы чуда или вѣры въ чудо? Если мы съ такой точки зрѣнія станемъ изучать современный зрительный залъ, технику новой драмы, ея эстетическую теорію, мы окажемся въ большомъ затрудненіи. Въ нашей культурной жизни многія непосредственныя влеченія стерты или придавлены и скрыты до неузнаваемости отъ насъ самихъ—условностью нашихъ сложныхъ общественныхъ отношеній. Мы слишкомъ быстро переживаемъ впечатлѣнія, а ихъ обрывки мы привыкли заносить подъ разными, слишкомъ отвлеченными, раціональными помѣтками. Наконецъ, намъ очень трудно быть судьями себя самихъ.

Вотъ отчего историкъ, а за нимъ и психологъ склонны искать толкованія къ современному человѣку въ человѣкѣ прошлаго. Тамъ, въ старинѣ, свидѣтельства рѣзче, черты проще, тамъ больше конкретнаго и непосредственнаго. Но разъ понять обликъ этого человѣка старины, можно искать основныхъ очертаній его рисунка въ современномъ человѣкѣ.

Попытаемся сопоставить нѣкоторыя старинныя и новыя явленія, чтобы разобратъ психологію театра. Эта психологія окажется очень давней и даже, сколько помнитъ человѣкъ, исконной. Затрогивая ея область, мы коснемся чего-то, глубоко въ насъ коренящагося, какихъ-то основныхъ человѣческихъ свойствъ. Но не исторія театра пройдетъ передъ нами. Театръ, какъ учрежденіе, начался довольно поздно. Между тѣмъ, драматическіе символы примѣнялись очень давно: они всюду служили человѣку для успокоенія или одушевленія, для того, чтобы вызвать страхъ или отвлечь отъ тяжелыхъ чувствъ. Ими была и остается полна жизнь. Съ теченіемъ времени иныя

драматическія формы исчезли, другія соединились въ одинъ опредѣленный центръ, театръ, но психологія осталась прежняя.

I.

Мнѣ представляется, что драматическіе символы и приемы можно раздѣлить на нѣсколько главныхъ типовъ.

Одинъ изъ мотивовъ, которые заставляли прибѣгать къ театральнымъ формамъ, состоитъ въ томъ, что людямъ нужно устранить грозное столкновение въ дѣйствительной жизни. Представьте себѣ довольно тѣсную среду, гдѣ общество вращается въ предѣлахъ деревни или небольшого племени. Чужихъ нѣтъ, впечатлѣній мало. Въ этой средѣ произошла ссора. Задѣли человека въ его достоинствѣ. За него готовы вступить товарищи, сосѣди. Въ свою очередь, ближніе обидчика принимаютъ мѣры, ожидая нападенія. Можетъ вспыхнуть жестокая борьба. Она неизбежно затянетъ новыхъ членовъ и отразится печально на судьбѣ цѣлаго общества. Тѣ, кто пока въ сторонѣ, чувствуютъ, что надо отыскать мирный исходъ; но нельзя попирать и честь затронутыхъ, надо открыть имъ удовлетвореніе. И вотъ реальную борьбу, реальное столкновение замѣняютъ борьбой фиктивной; борьбу переносятъ въ идеальную сферу. Разстраиваютъ дуэль и, вмѣсто сраженія мстителей за оскорбленіе, открываютъ драматическое состязаніе, гдѣ каждой сторонѣ дана возможность показать свою силу и потомъ мирно разойтись.

Подобные сатирическіе турниры были въ ходу лѣтъ 100 тому назадъ у гренландскихъ эскимосовъ. Бывало такъ, что если кто-либо почувствуетъ себя оскорбленнымъ, то ни за что и ни малѣйше не покажетъ своего раздраженія. Вмѣсто того, чтобы искать мести, обижен-



ный сочиняетъ ядовитое стихотвореніе. Затѣмъ онъ собираетъ своихъ близкихъ, родныхъ, товарищей и особенно женщинъ, какъ самую впечатлительную аудиторію; въ этомъ обществѣ онъ распѣваетъ свои стихи съ обычными жестами и приплясываніемъ. Нѣсколько разъ онъ репетируетъ свое произведеніе, пока друзья не выучиваютъ его наизусть. Послѣ этого онъ оповѣщаетъ всѣхъ, что противникъ, т.-е. его обидчикъ, вызванъ на состязаніе.

Въ назначенный день оба врага появляются другъ противъ друга на аренѣ; кругомъ собирается множество народа. Обиженный выступаетъ въ роли нападающаго, точно публичный обвинитель. Онъ начинаетъ пѣть свою сатиру и драматически жестикулировать подъ звуки первобытной музыки. Его партія громко поддерживаетъ его протяжными сочувственными криками и повторяетъ за нимъ всякій припѣвъ, всякую его сентенцію. По временамъ, когда попадаетъ особенно ѣдкое словечко, которое, повидимому, прямо задѣло противника въ самомъ слабомъ мѣстѣ, слушатели валятся отъ хохота на землю.

Но вотъ, раздраженіе обвинителя излилось въ его, нѣ-которымъ образомъ, монологъ съ аккомпанементомъ хора. Теперь выступаетъ противникъ; онъ долженъ импровизировать отвѣтъ на обвиненіе; онъ старается, въ свою очередь, поднять на смѣхъ перваго. И опять его поддерживаетъ цѣлый хоръ другой партіи. Смѣхъ переходитъ уже на другую сторону. Оба противника могутъ повторить свои выходы и отвѣчать на новыя насмѣшки. Такъ идетъ до тѣхъ поръ, пока кто-либо изъ враговъ не замолкнетъ, за неимѣніемъ новыхъ оборотовъ для сатиры, новаго матеріала для насмѣшки. Тотъ, за кѣмъ осталось послѣднее слово, признается побѣдителемъ. Подъ конецъ пар-

ти какъ бы сливаются въ одинъ судъ. Образуется общее мнѣніе, и вся масса слушателей рѣшаетъ въ качествѣ присяжныхъ. Съ окончаніемъ сатирическаго концерта, всѣ расстаются опять добрыми друзьями.

Европейскіе наблюдатели, которые рассказывали объ этомъ обычаѣ, прибавляютъ, что онъ часто примѣнялся у гренландцевъ и оказывалъ сильное и хорошее дѣйствіе. Местъ посредствомъ насмѣшки удерживала многихъ отъ болѣе рѣзкихъ способовъ удовлетворенія своего гнѣва, даже отъ убійства. Но этого мало. Обычай давалъ выходъ извѣстнымъ общественнымъ чувствамъ. Гренландцы пользовались имъ, чтобы иныхъ въ своей средѣ направлять на лучшій образъ жизни. Этимъ способомъ драматической публичной критики они раскрывали иному позоръ его поступковъ, заставляли нерадиваго должника отдать долгъ, обнаруживали обманъ, нарушеніе семейной чести и т. п.

И ничто не могло въ такой мѣрѣ повліять на гренландца, ничто такъ не помогало сдерживать его въ границахъ нравственнаго порядка, какъ страхъ передъ общественной насмѣшкой. Сатира была ему страшнѣе всякаго наказанія. Иногда она доводила изобличеннаго до того, что онъ покидалъ домъ и уходилъ совсѣмъ изъ родного поселка.

Гренландскій обычай открываетъ намъ много любопытнаго. Драма на аренѣ тушитъ страшную драму жизни. Вотъ она, въ грубомъ видѣ, наша мысль о разрѣшеніи конфликтовъ дѣйствительной жизни въ сценическомъ столкновеніи. Затѣмъ: драматически обставленная насмѣшка бьетъ среди общаго сочувствія недостатки и пороки членовъ общества. Развѣ это не есть наша формула, которую пишутъ даже въ видѣ девиза надъ театральной сценой: «насмѣшкой онъ нравы казнить». Наконецъ, крайне любопытна форма участія публики въ драмѣ. Пу-



блика раздѣлена на два хора, на двѣ партіи, которыя даютъ другъ другу битву. Но изъ ихъ столкновенія слагается общественное мнѣніе. Въ цѣломъ, вмѣстѣ взятые, они образуютъ высшую инстанцію, которая произноситъ приговоръ.

Эта черта судебного состязанія, съ дѣленіемъ сторонъ и верховнымъ общимъ приговоромъ, остается и въ позднѣйшемъ театрѣ. Только ея формы—другія. Въ греческой трагедіи цѣлые діалоги, цѣлыя сцены полны спора, въ которомъ поставлена одна изъ міровыхъ загадокъ, мучающихъ человѣка. Иногда на такомъ состязаніи представителемъ двухъ воззрѣній, двухъ порядковъ вещей построена вся пьеса. То безпощадное исполненіе закона и внѣшній долгъ встрѣчаются съ самопожертвованіемъ безконечно сильной любви; то благородная энергія независимаго человѣка—съ неизбежностью покорнаго подчиненія судьбѣ. Разумѣется, верховный судья—зрительный залъ; но онъ молчитъ или аплодируетъ сплошь всей пьесѣ и автору, который представилъ споръ, раскрылъ противоположность.

Однако въ греческомъ театрѣ отъ этой публики, далекой и не прямо заинтересованной, отдѣлена другая, которую помѣстили на самой сценѣ. Это—хоръ. Греческій хоръ былъ одѣтъ въ костюмы дѣйствующихъ лицъ, принадлежалъ къ пьесѣ, но это все-таки была публика, если можно такъ выразиться, публика идеальная. Она выражала колеблющееся мнѣніе, она исполняла то самое, что у грековъ дѣлали партіи двухъ противниковъ во время концертнаго спора. Мы видѣли, что когда споръ кончался, и наставало время судить, хоры партій исчезали, растворялись въ общей массѣ. Такъ и въ греческомъ театрѣ: хоръ уходилъ за кулисы, и оставалась лишь

реальная публика, которой принадлежало окончательное рѣшеніе.

Въ японскомъ театрѣ нѣсколько иная форма. Тамъ роль греческаго хора исполняетъ особый актеръ, какъ бы замѣститель разсуждающаго автора. Онъ сидитъ на авансценѣ, въ ложѣ за рѣшеткой, играетъ на струнномъ инструментѣ и декламируетъ размѣреннымъ, нерѣдко грустнымъ тономъ. Онъ объясняетъ публикѣ положеніе, описываетъ душевное состояніе дѣйствующихъ лицъ, обращается къ героямъ пьесы, внушаетъ имъ мужество, даетъ совѣты, напугиваетъ на ихъ враговъ и обвиняетъ ихъ. Онъ резюмируетъ и поучаетъ, плачетъ, негодуетъ, замираетъ отъ волненія передъ развязкой и замыкаетъ драму.

Въ нашемъ театрѣ нѣтъ этихъ наивныхъ формъ. Но что осталось по существу? Часто, драма—загадка съ двойственнымъ отвѣтомъ, точно судебное дѣло, предстоящее нашему рѣшенію. Часто въ ней выведены двѣ спорящія, столкнувшіяся силы, которыя представляютъ двѣ морали, два взгляда на жизнь. То вамъ, напр., поставленъ вопросъ: нуженъ ли самообманъ, нужна ли лживая иллюзія для того, чтобы человѣкъ прожилъ счастливо?—и въ пьесѣ выступаютъ даже два адвоката, одинъ за, другой противъ положенія. То ставится вопросъ, можетъ ли сильный, одаренный человѣкъ идти одинокимъ путемъ, зная лишь одинъ законъ своего ума и своихъ порывовъ, отдаваясь невѣдомому другому призыву великой силы природы, или на всѣхъ живетъ одинъ уравнительный общій законъ, который заставляетъ всѣхъ людей идти медленно, оцѣняая ихъ сотней обязательствъ, повелительно требуя дани каждому дню и расправляясь безпощадно со всякимъ, кто рѣшается протестовать.

Если пьеса сильно написана, зрители переживутъ споръ,



испытывают колебаніе въ ту и другую сторону на себѣ; въ этомъ будетъ главный, захватывающій интересъ драмы. Всякій будетъ чувствовать, что надо выйти изъ театра съ опредѣленнымъ отвѣтомъ и дать его, если не своему спутнику, то самому себѣ. У насъ ужъ очень расчленились роли автора, актера и публики, и драма спора разорвалась на три части. Но въ концѣ, когда зрителю позволено заявлять о себѣ, когда онъ можетъ нѣкоторыми жестами и криками показать, что вѣдь дѣло шло о немъ самомъ, и что раскрывали его собственную душу,—вотъ тутъ иногда снова чувствуется, что театръ есть одно цѣлое, одна большая состязательная арена.

## II.

Мы видѣли только что, какъ драматическія формы служатъ общественному возмездію. Есть еще другое любопытное примѣненіе театральности съ тою же цѣлью. Драматическая обстановка въ этомъ новомъ случаѣ является вмѣстѣ съ тѣмъ таинственностью, страшнымъ секретомъ, ужасающимъ чудомъ, среди котораго внезапно настигается виноватый.

Въ обществѣ мало устроенномъ, гдѣ нѣтъ сильной общественной власти и правильнаго суда, гдѣ нѣтъ сдержки насилию и обидѣ, люди стараются помочь себѣ чрезвычайнымъ образомъ: они устраиваютъ самозащиту и саморасправу. Возникаютъ особые тайные союзы, своего рода рыцарскіе или масонскіе ордена и ложи, которые берутъ на себя это дѣло. Члены ихъ облачаютъ свою работу въ мистическій покровъ и стараются вести себя, точно сверхъестественныя существа, точно таинственные духи.

Примѣромъ можетъ служить союзъ Цурра у негровъ

западной Африки. Пурра состоитъ исключительно изъ мужчинъ. Вступленіе въ него обставлено страшными условіями. Новопосвящаемаго ведутъ въ лѣсъ; онъ мѣняетъ имя и даетъ обѣщаніе хранить полную тайну о дѣлахъ союза; друзья, за него поручившіеся, произносятъ клятву и обѣщаютъ немедленно убить его, если онъ выдастъ секретъ или отступится отъ союза. Постороннему, кто рѣшился бы вступить въ таинственный лѣсъ, угрожаетъ смерть. Пурра можетъ вмѣшаться во всякую ссору, которая грозитъ вспыхнуть между родами или селеніями. Пурра караетъ также за воровство и злыя колдовскія козни. Кто хочетъ добиться расправы за испытанную обиду, жалуется союзу: достаточно притронуться рукой къ груди одного изъ членовъ пурры. Тогда въ таинственномъ ночномъ засѣданіи вопросъ обсуждаютъ. Союзъ сначала предостерегаетъ, грозитъ экзекуціей, а если это не помогаетъ, члены пурры выходятъ изъ своей мистической среды. Человѣкъ 40—50 въ странныхъ маскахъ, въ полномъ вооруженіи, со страшнымъ шумомъ вступаютъ въ деревню, гдѣ долженъ исполниться приговоръ. У воровъ и грабителей отбираютъ скотъ, срѣзываютъ плоды. Виновныхъ хватаютъ и предаютъ смерти или стегаютъ кнутами. Этого мало: въ такой моментъ провозглашается общій терроръ: всякій, кого застанутъ внѣ дома, подвергается казни. Поэтому съ приближеніемъ пурры всѣ бѣгутъ и прячутся.

Въ пуррѣ и другихъ подобныхъ союзахъ большую роль играетъ фантастическая обстановка. Члены союза распространяютъ таинственныя свѣдѣнія о своемъ вождѣ, который, по ихъ словамъ, живетъ въ лѣсной глуши, обладаетъ необыкновенными свойствами и недоступенъ взорамъ простыхъ людей. Въ рѣшительную минуту его вызыва-



ють, точно привидѣніе. Оглушающая музыка тамтамовъ, дикіе крики, странная пляска, предшествующіе его появленію, должны вызвать трепетъ, лишить людей способности спокойно разсуждать. Перегородка между міромъ дѣйствительности и міромъ фантазіи падаетъ. Публика не знаетъ. появится ли сейчасъ только неизвѣстный чело-вѣкъ, спрятанный отъ взоровъ, или въ самомъ дѣлѣ одинъ изъ страшныхъ духовъ, которые приходятъ же, въ правду, ночью, во снѣ, или въ грозу, или на кладбищахъ.

И вотъ идетъ онъ самъ, укутанный въ плащъ, про который ходитъ темный слухъ, что одно прикосновеніе къ нему смертельно, потому что онъ пропитанъ ядомъ. Лицо его тщательно закрыто: на немъ огромная, рѣзкая уродливая маска съ оскаленными зубами или большими леде-нящими глазами. Спутники его тоже въ маскахъ и на ходуляхъ, съ громадными головными уборами, чтобы про-изводить впечатлѣніе великановъ. Маскировка, драмати-ческія формы здѣсь прямо рассчитаны на то, чтобы вы-звать мистическій страхъ. Маски и ихъ движенія имити-руютъ блуждающихъ мертвецовъ, лѣшихъ или дикихъ охотниковъ, которые въ вѣтеръ и бурю видятся людямъ въ низко бѣгущихъ облакахъ.

Что здѣсь еще интересно, это—раздѣленіе дрожащей отъ аффекта публики и сознательно дѣйствующихъ акте-ровъ. Одни—жертвы мистики, другіе—ея импровизаторы. можно сказать, режиссеры, балетмейстеры и статисты ми-стики. Дѣйствіе придумано для болѣе чувствительныхъ, болѣе вѣрующихъ людей. И мы видимъ, что тайный со-юзъ, совершающій свои экзекуціи, исполняетъ своеобраз-ную соціальную роль. Мужчины, свободные люди пле-мени, образуютъ скрытую орденскую корпорацію и ста-раются путемъ такихъ театральныхъ погромовъ держать

въ страхъ и повиновеніи женщинъ и рабовъ, т.-е., по ихъ понятію, низшіе соціальныя элементы. И они достигаютъ цѣли, потому что эти группы болѣе склонны къ аффекту и держатся болѣе примитивныхъ понятій.

Таинственный орденъ беретъ на себя такимъ образомъ добровольно надзоръ за общественнымъ порядкомъ, который, конечно, понимается весьма своеобразно. Можно бы вообще сказать, что старинная полиція до нѣкоторой степени происхожденія мистико-драматическаго. Вотъ во всякомъ случаѣ любопытный примѣръ. Въ Африкѣ, въ Порто Ново, рядомъ съ королемъ, который считается представителемъ бога свѣта, есть еще ночной властитель; это—первосвященникъ бога тьмы. Власть подѣлена между ними и чередуется: одинъ править днемъ, другой—ночью. Ни одинъ не имѣетъ права вмѣшиваться въ сферу другого. Ночному королю отданъ ночной судъ и ночной дозоръ. Ему подчинены особые ночные сторожа, которые выходятъ въ маскахъ. Тутъ мы видимъ, какъ члены тайнаго союза, которые совершаютъ расправы и берутъ на себя охрану общества, обратились въ административный органъ второго разряда. Но они оставили за собой внушительный драматическій аппаратъ и связь съ міромъ духовъ и тѣней.

Подобное явленіе всюду повторялось. Когда на болѣе высокой ступени развитія слагались большія организаціи суда и управленія, они не могли обоійтись безъ такихъ добровольныхъ услугъ со стороны тайныхъ клубовъ. Напр., страшная средневѣковая инквизиція могла добираться до своихъ жертвъ не иначе, какъ съ помощью замаскированныхъ ночныхъ тѣней, похищавшихъ или настигавшихъ намѣченнаго человѣка, при чемъ эти похитители были своего рода заговорщики. Драматическій ужасъ обращался здѣсь во зло, служилъ жестокому гнету.



Конечно, съ теченіемъ времени таинственная оболочка спадала съ органовъ суда и административнаго надзора. Театральныя формы перестали быть орудіемъ прямой кары и сохранили лишь моральное значеніе. Но къ нимъ продолжали прибѣгать для того, чтобы потрясти воображеніе людей картиной страшныхъ мукъ за грѣхи, чтобы показать близость вездѣсущихъ духовъ отмщенія. На этомъ основана фантастическая драма, мистическая феерія, игравшая огромную роль въ старомъ театрѣ.

Въ греческой драмѣ появлялись страшныя окровавленныя богини мести съ искаженными лицами, отъ которыхъ цѣпенѣть взоръ человѣка. Появлялся богъ съ небесъ, который разрубалъ узелъ запутавшихся человѣческихъ отношеній и произносилъ верховный приговоръ. Въ средневѣковыхъ мистеріяхъ въ Западной Европѣ открывали загробный міръ, заоблачный и подземный. На верху сцены стоялъ престолъ Всевышняго, а внизу показывали муки ада сквозь отверстіе въ видѣ раскрытой пасти дракона. И хотя сцена была просто большимъ шкапомъ, а актеры—люди сомнительные съ точки зрѣнія мѣстнаго общества, однако дѣйствіе овладѣвало непосредственно всею душой глядѣвшихъ на драму зрителей. Не даромъ вѣстникъ, открывавшій представленіе, обѣщалъ царство небесное тѣмъ, кто будетъ съ благочестивымъ вниманіемъ слѣдить за божественной драмой. Зрѣлище должно было поднять спасительный страхъ въ душѣ. Иногда открытая сцена была обведена кругомъ, за который никто не смѣлъ переступать. Того, кто совался за кругъ по невниманію или нарочно, схватывали театральные дьяволы и уносили въ адъ, гдѣ и держали до конца пьесы.

Тѣни, духи сохранили важное мѣсто въ современной китайской драмѣ, и я приведу только одинъ примѣръ изъ

китайскаго театра, потому что мистическій элементъ выступаетъ здѣсь съ какой-то особенной наивной реальностью. Есть пьеса, подъ заглавіемъ «Местъ Теунго». Здѣсь изображено посмертное раскрытіе роковой ошибки, стоившей жизни молодой женщинѣ, именемъ Теунго. Въ дѣтствѣ Теунго была оставлена своимъ отцомъ въ краю, далекомъ отъ родного дома; тамъ она вышла замужъ. Ея свекра убиваютъ, а обвиненіе падаетъ на Теунго. Судъ приговариваетъ невинную къ смерти, и казнь совершена. Черезъ нѣсколько времени отецъ казненной, не подозрѣвая о случившемся, пріѣзжаетъ, въ качествѣ высшаго судьи, ревизовать этотъ отдаленный округъ, и пересматриваетъ судебныя дѣла. Ночью онъ сидитъ за актами, читаетъ процессъ своей дочери, но не понимаетъ, что дѣло идетъ о ней, потому что она перемѣнила въ замужествѣ имя. Ему кажется, что вина осужденной доказана, приговоръ справедливъ, и отъ усталости онъ засыпаетъ. Но во снѣ ему являється Теунго и тревожитъ его; старикъ просыпается и опять берется за акты. Тѣнь дочери витаетъ теперь около одинокой свѣчи, которую судья зажегъ, и пламя тускнѣетъ. Пока онъ вычищаетъ свѣчу, духъ перелистываетъ акты и открываетъ прежнюю страницу, чтобы взоръ судьи упалъ опять на то же самое дѣло. Нѣсколько разъ повторяется эта таинственная игра тѣни, производящая на зрителей сильное впечатлѣніе. Наконецъ душа умершей показывается отцу въявь. Онъ сначала бѣжитъ на привидѣніе, обнажаетъ оружіе, но затѣмъ останавливается и слушаетъ оправдательную рѣчь духа, который раскрываетъ ему страшную истину. На другой день въ судебномъ засѣданіи онъ торжественно обѣляетъ память несчастной. Драма означаетъ: вотъ какъ совершается возмездіе и происходитъ истинный судъ, вну-



шенный таинственной силой, которая может соединить умершихъ съ живыми.

Конечно, это далеко отъ современныхъ приѣмовъ нашего театра. Но еще въ шекспировскомъ Ричардѣ III появляются тѣни погубленныхъ имъ людей и предрекаютъ ему заслуженную гибель. Въ Макбетѣ тѣнь убитаго сидитъ за пиршественнымъ столомъ у пустого мѣста, какое по старинному обычаю оставляли умершему.

Мы не вѣримъ въ духовъ, не символизируемъ укоровъ совѣсти въ видѣ тѣней, преслѣдующихъ человѣка; но на театральныхъ подмосткахъ попрежнему творится нравственный судъ и совершается нравственная кара. И когда нужно произнести моральный приговоръ, драматическая форма попрежнему оставляетъ наиболѣе сильное, неизгладимое впечатлѣніе.

### III.

Театральная обстановка, какъ мы видѣли, есть попытка человѣка изобразить чудо, дать иллюзію чуда, и въ этомъ смыслѣ она должна сильно дѣйствовать на массу вѣрующихъ въ чудо, на людей, предрасположенныхъ къ нему. Но и сами актеры, творящіе волшебство, могутъ увлекаться дѣйствіемъ. Они могутъ приводить себя въ экстазъ драматическими актами и воображать, что дѣйствительно переступили предѣлъ обыкновеннаго видимаго міра и ушли въ міръ духовъ.

Это уже другой типъ театральнаго воздѣйствія. Пляска, маскировка или гримъ, жестикуляція и подражательныя дѣйствія служатъ тогда прямыми чародѣйскими средствами. чтобы пріобрѣтать нѣкоторыя сверхъестественныя качества, чтобы получать власть надъ духами, прогонять бѣсовъ или входить съ сильными духами въ союзъ. Из-

вѣстно, что сибирскій шаманъ или американскій краснокожій «врачъ» даютъ цѣлое представленіе передъ больнымъ, къ которому ихъ позвали для лѣченія. Но «врачъ» самъ впадаетъ въ энтузіазмъ или забытѣе, въ которомъ ему кажется, что онъ вошелъ въ міръ боговъ или сравнялся съ богами по силѣ.

Такія драматическія наважденія практикуются иногда надъ цѣлыми группами людей. У нѣкоторыхъ народовъ есть особые обычаи, связанные съ моментомъ перехода отъ одного возраста къ другому, особенно съ наступленіемъ отрочества для мальчиковъ. Обычаи основаны на вѣрѣ, что мальчики должны умирать, напр., по десятому году и затѣмъ снова воскресать, при чемъ какой-то духъ, повидимому, духъ одного изъ предковъ, овладѣваетъ возрожденнымъ и вселяетъ въ него новую силу, послѣ чего онъ можетъ вступить въ общество взрослыхъ. Настоящее представленіе, полное страховъ и таинственности, устраивается для того, чтобы дать самимъ дѣтямъ и родителямъ иллюзію смерти и возрожденія. На одномъ изъ Молуккскихъ острововъ родители приводятъ дрожащихъ отъ ужаса дѣтей къ храму, спрятанному въ густомъ лѣсу. Жрецы удаляются съ дѣтьми въ темный залъ внутри, и скоро оттуда раздаются отчаянные крики и стонъ. Сквозь плетеную стѣну храма высовываются окровавленные конья, и стоящимъ снаружи кажется, что жертвы перерѣзаны. Черезъ 3 мѣсяца «возрожденные» мальчики возвращаются въ деревню съ бѣлыми палками въ рукахъ, но съ ними что-то случилось: они разучились говорить и потеряли память о прежней жизни своей, не узнаютъ прежнихъ знакомыхъ и лишь послѣ долгаго обученія они опять пріобрѣтаютъ память.

И въ западной Африкѣ — нѣчто похожее. Дѣтей уво-



дять въ волшебный лѣсъ на цѣлый годъ и обучаютъ тамъ охотѣ и разнымъ искусствамъ; кто не идетъ самъ, того похищаетъ замаскированный «лѣсной чортъ». И опять старательно подстраиваютъ обстановку, чтобы разорвать у ребенка связь съ предшествующей жизнью, чтобы изгладить изъ его сознанія все старое и пріобрѣсти его цѣликомъ для новаго, возрожденнаго бытія.

По этому поводу напрашивается сравненіе, можетъ быть, нѣсколько неожиданное. Мнѣ кажется, что великіе педагогическіе художники и фокусники XVI и XVII вв., іезуиты, достигали аналогичными средствами цѣлей, весьма схожихъ съ только что описанными. Вѣдь имъ надо было сдѣлать воспитанника навсегда своимъ, душою и тѣломъ, вытравить въ немъ все прежнее и чуждое цѣлямъ школы, сдѣлать его сознаніе бѣлой доской и на ней запечатлѣть на всю жизнь извѣстные догматы, принципы и правила. Извѣстно, какую роль у нихъ въ школѣ играли театральныя представленія, гдѣ воочію изображалась гибель ереси, ничтожество противниковъ церкви и одушевленная сила защитниковъ ея, при чемъ на эти послѣднія, героическія роли ставили самыхъ честолюбивыхъ, горячихъ и энергичныхъ юношей, чтобы экзальтировать ихъ. Но не однѣ сценическія драмы служили въ этихъ школахъ воспитанію. Во всей обстановкѣ было много такого, что вызывало впечатлѣніе волшебства и таинственности фантастическаго театра. Въ школьномъ домѣ были какіе-то странные потайные ходы, звучали невѣдомые голоса, внезапно появлялись и также неожиданно исчезали воспитатели. Въ полумракѣ церкви, на долгихъ изнурительныхъ молитвахъ, не безъ помощи эфффектовъ освѣщенія, ученикамъ видѣлись нисходившіе къ нимъ святыя и т. д.

Говорить нечего, что драматическое волшебство имѣетъ

особую заразительную силу, если оно дѣйствуетъ сразу на массу людей: состояніе одного передается другому, и энтузіазмъ у отдѣльныхъ лицъ взаимно повышается. Вездѣ у самыхъ некультурныхъ народовъ мы встрѣчаемъ большія выразительныя пляски съ пантомимами, которыя служатъ для возбужденія сильныхъ общихъ чувствъ.

Таковы, напр., военныя пляски, въ которыхъ символизируется воспоминаніе о прежнихъ битвахъ: это настоящіе маневры тактики, гдѣ по всѣмъ правиламъ сшибаются и расходятся отдѣльные борцы и цѣлые отряды. Нерѣдко онѣ совершаются передъ самой битвой и должны служить средствомъ для воспламененія зрителей и участниковъ. Иногда къ самому врагу приближаются въ плясовыхъ движеніяхъ и стараются раздражить его цѣлымъ представленіемъ, вызвать его грозными или презрительными минами и жестами.

На празднествахъ эти подражанія войнъ нерѣдко переходятъ въ страшную дѣйствительность, и танцоры въ бѣшенствѣ бросаются на окружающихъ. На островѣ Тринидадѣ такъ началось неожиданное возстаніе краснокожихъ противъ испанцевъ; бѣлые сидѣли въ качествѣ зрителей, пока возрастающее раздраженіе плясуновъ не дошло до того, что они бросились на притѣснителей и перерѣзали ихъ всѣхъ.

У насъ есть знаменитый примѣръ подобнаго дѣйствія театра въ Европѣ въ XIX вѣкѣ; одинъ изъ уличныхъ мятежей бельгійской революціи начался на представленіи въ брюссельскомъ театрѣ оперы «Фенелла»; изображенное въ музыкальной драмѣ народное возстаніе подѣйствовало на возбужденныхъ уже зрителей какъ сигналъ, и они не могли удержаться на мѣстѣ.

Но драма можетъ вызвать въ толпѣ и болѣе гармонич-



ческія чувства, и въ этомъ отношеніи поразительныя театральныя подражанія мы встрѣчаемъ у народовъ мало развитыхъ. Можно бы даже сказать, что въ нашихъ большихъ празднествахъ и представленіяхъ мы утратили тайну этихъ массовыхъ сценическихъ дѣйствій.

У одного австралійскаго племени есть, напр., сложная и искусно поставленная пастораль, въ которой поэтизируется сельская работа. Въ серединѣ арены разводятъ огонь; группы плясуновъ быстро бѣгаютъ кругомъ пламени и приводятъ его въ сильное движеніе, чтобы изобразить наступленіе благодѣтельнаго вѣтра, при которомъ надо начинать посѣвъ. Затѣмъ актеры исполняютъ мимическую сцену: они какъ бы взрыхляютъ землю и сажаютъ полевые растенія. Въ заключеніе, чтобы символизировать радость, вызванную окончаніемъ работы, они пляшутъ веселый хороводъ.

Особенно любопытны усилія представить грозныя или красивыя явленія природы. Жители Фиджи, небольшихъ острововъ среди необъятнаго океана, любятъ изображать великую стихію, окружающую ихъ, въ «пляскѣ волнъ морскихъ». Танцоры становятся длинной линіей; сначала выбѣгаютъ впередъ по 10—12 человѣкъ, наклоняясь туловищемъ и распростирая руки; это какъ будто мелкіе всплески волны, когда она достигаетъ берега. Такъ, одна волна смѣняетъ другую, волны встрѣчаются другъ съ другомъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ вся линія близится все болѣе къ середкѣ. Теперь отдѣльныя группы начинаютъ съ краевъ забѣгать круглыми поворотами, возвращаясь и снова наступая впередъ. Это море беретъ коралловый островъ со всѣхъ сторонъ, и когда остался лишь небольшой гребень въ середкѣ—среди шумной музыки, изображающей гулъ прибоя—танцоры представляютъ столкновеніе волнъ

наверху съ двухъ противоположныхъ концовъ: встрѣчные ряды перебрасываютъ руки черезъ головы, бѣлыя ленты и перья на ихъ головахъ дрожатъ и колеблются, точно пѣна на волнахъ прилива. Зрители кругомъ приходятъ въ величайшій восторгъ.

Подъемъ настроенія, забытье зрителей составляетъ результатъ театральнаго зрѣлища, но, какъ всегда бываетъ, его стараются еще и искусственно усилить. На позднѣйшихъ театральныхъ подмосткахъ эти усилія находятъ себѣ выраженіе въ различныхъ опредѣленныхъ возбудителяхъ. Всѣмъ извѣстно, какую роль во французскихъ театрахъ играютъ организованные клякеры, разсаженные въ разныхъ мѣстахъ, повинующіеся своего рода дирижеру; они подчеркиваютъ возгласами и аплодисментами мѣста, важныя для автора пьесы и для актеровъ, даютъ толчокъ къ оживленію, смѣху, шумному одобренію въ зрительномъ залѣ. Средній, легко заражающійся зритель незамѣтно для себя препарируется такимъ образомъ къ извѣстному настроенію, да и зрителю, болѣе независимому, настроеніе залы можетъ, при помощи кляки, показаться возвышеннымъ.

Конечно, современная организація аплодисментовъ есть паразитная форма дурного художественнаго предпринимательства. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, клякерство представляетъ собою искаженіе стариннаго театральнаго учрежденія. Эту старинную форму искусственнаго художественнаго возбужденія можно хорошо видѣть въ японскомъ народномъ театрѣ. Въ Японіи на виду у публики надъ сценой помѣщается своеобразная фигура какъ бы публичнаго режиссера спектакля. Онъ работаетъ при помощи двухъ палочекъ, которыми ударяетъ по звучащей пластинкѣ; онъ постукиваетъ многозначительно, когда надо привлечь вни-



маніе, зрителей, когда выходятъ, напр., главные актеры; онъ подчеркиваетъ извѣстные слова играющихъ на сценѣ оглушительной дробной трелью. Этотъ театральный руководитель въ одно и то же время рекламируетъ постановку и повышаетъ театральное возбужденіе.

Есть еще любопытное явленіе въ японскомъ театрѣ, которое служить той же цѣли. Это—нѣкоторымъ образомъ театральные гномы, низшіе духи міра драматическихъ привидѣній. По сценѣ, среди ярко и блестяще разодѣтыхъ актеровъ, быстро и безшумно шмыгаютъ туда и сюда какія-то фигуры въ коричневыхъ, какъ бы тѣневыхъ, костюмахъ. Зритель не долженъ ихъ замѣчать по большей части. Они подставляютъ дѣйствующимъ лицамъ стулья, приносятъ напитки, освѣжаютъ ихъ опахалами, мѣняютъ освѣщеніе. Но это не просто театральные слуги. Вдругъ кто-либо изъ нихъ поднесетъ длинную палку со свѣчей на концѣ, чтобы во весь ростъ освѣтить героя или героиню пьесы въ самый драматическій моментъ. Въ наиболѣе чувствительныхъ, патетическихъ, возбужденныхъ сценахъ непременно появляются эти театральныя тѣни, волнуются, бѣгаютъ, раздѣляютъ чувства дѣйствующихъ лицъ, утѣшаютъ ихъ въ печали, успокаиваютъ въ гнѣвѣ и т. д.

Это все—формы усиленія художественнаго эффекта и подъема театральнаго настроенія. Намъ трудно теперь представить себѣ, въ какой мѣрѣ люди въ старину отдавались театральной иллюзіи. Изрѣдка, какое-либо происшествіе въ народномъ театрѣ напомнить намъ, насколько сценическая перегородка отсутствуетъ для первобытнаго зрителя. Въ Голландіи, въ одномъ селѣ не такъ давно давали пьесу, полную кровавыхъ катастрофъ. Два или три убійства уже были совершены на сценѣ. Наконецъ, благодушные обыватели не выдержали, вскочили

толпою на арену и остановили зрѣлище съ криками: «ну, довольно вы тутъ крови пролили!»

Нашъ культурный театральнѣй залъ обыкновенно представляетъ верхъ благовоспитанности: и все же бываютъ поразительные случаи непосредственнаго воздѣйствія сцены. Въ одной новѣйшей нѣмецкой пьесѣ (Михаель Крамеръ Гауптмана) есть картина дикаго трактирнаго скандала, который грозитъ окончиться тяжелымъ оскорбленіемъ для несчастнаго героя пьесы; нарастающее безпокойство всей сцены доводило иныхъ впечатлительныхъ зрителей почти до потери сознанія.

Сильно непосредственно дѣйствуютъ также тѣ пьесы и сцены, гдѣ на подмосткахъ есть публика; напр., когда на сценѣ изображенъ театръ, или народное собраніе, митингъ, гдѣ, слѣд., эта сценическая публика дѣлаетъ приблизительно то же, что дѣлаютъ зрители, т.-е. рукоплещетъ, шумитъ, вызываетъ и т. д. Въ такихъ сценахъ двѣ публики до извѣстной степени соединяются вмѣстѣ; точно выровнялся полъ всего театральнаго зала, и мы сами изъ своихъ рядовъ слушаемъ оратора и кипимъ вмѣстѣ съ его аудиторіей; когда падаетъ занавѣсъ, кажется, что онъ неожиданно разрѣзалъ массу собравшихся, и если сцена закончилась шумнымъ оживленіемъ, оно незамѣтно и безъ остановки переходитъ въ горячій взрывъ чувствъ въ средѣ зрителей.

#### IV.

Мы видѣли разныя формы театральнаго дѣйствія: театръ—состязаніе; театръ—навожденіе ужаса; театръ—подъемъ чувства. Но это далеко не все, скажутъ намъ: вѣдь театръ болѣе всего служить разсѣянію, переменѣ настроенія, наконецъ смѣху и отдыху. Конечно; но и



здѣсь. въ основѣ глубокая исконная потребность чело-вѣка, а ея удовлетвореніе совершается опять въ повы-шенныхъ, сильныхъ, чрезвычайныхъ формахъ.

Человѣкъ не можетъ выносить непрерывно тягостнаго или стѣснительнаго настроенія. Есть какая-то спаситель-ная сила внутри насъ, которая открываетъ намъ возмож-ность перерыва, отвлеченія. Тогда человѣкъ рѣзко обры-ваетъ, точно оборачивается лицомъ къ врагу, который си-дитъ въ его сердцѣ и точитъ его жизнь. Самымъ лучшимъ выходомъ для этого взрыва бодрости оказывается насмѣш-ка, карриатура на то самое состояніе, отъ котораго онъ хочетъ избавиться. Чтобы сбросить съ себя нравственный гнетъ, человѣкъ смѣется надъ самимъ собою.

Мы говоримъ, что насмѣшка можетъ убить. Да это—огромная отрицательная, разрушающая сила, которая, од-нако, время отъ времени спасаетъ насъ отъ отчаянія. Этотъ бѣсъ невзраченъ на видъ, но разъ ему открыть просторъ, онъ ничего не оставитъ на мѣстѣ. Все будетъ опрокинуто, вывернуто наизнанку. Все, что людямъ въ другое время дорого, свято, возвышенно, страшно, все это можетъ получить шутовской видъ, быть обращено въ пародію. Человѣкъ говоритъ дерзости своимъ богамъ и святымъ, слабый и подчиненный потѣшается надъ силь-нымъ и властнымъ, великія чувства поставлены въ нелѣ-пое положеніе и кажутся проявленіемъ глупости.

Насмѣшка, разъ сорвавшись, не знаетъ границъ. Въ знаменитыхъ комедіяхъ Аристофана сыплется нападки на ученыхъ и литераторовъ, которые разрушали вѣру въ старыхъ народныхъ боговъ. Но тотъ же Аристофанъ, консерваторъ въ религіозныхъ и соціальныхъ вопросахъ, самъ обращаетъ священный Олимпъ и возвышенныхъ бо-говъ въ шутовскую компанію. Гераклъ, добрый страда-

лецъ за людей, обошедшій всю землю, чтобы избавить бѣдное человѣчество отъ зла, обратился въ комедіи въ соннаго обжору. Да и самъ верховный богъ Зевсъ, въ изображеніи Аристофана, смѣшно побаивается за свой авторитетъ, когда два лѣнтяя устраиваютъ у него подъ носомъ безпечальное царство птицъ и зовутъ небожителей въ свой импровизированный рай.

А какое разсужденіе Аристофанъ позволяетъ самому главному отрицателю, Сократу! Старикъ, который пришелъ учиться къ великому умнику, рѣшается выразить вѣру, что праведный Зевсъ караетъ за беззаконіе, за нарушеніе слова и клятвы. Сократъ смѣется и говоритъ ему: «Старый дуракъ! Коли Зевсъ, правда-то, наказываетъ клятвопреступниковъ, отчего же онъ не разразитъ громомъ обманщиковъ и лжесвидѣтелей въ нашемъ городѣ, а все попадаетъ либо въ свой собственный храмъ, либо въ самый большой почтенный дубъ? Ну, развѣ слыхано, чтобы были вѣроломные дубы?»

Какъ же это Аристофанъ допустилъ подобную рѣчь? Многихъ удивляли такія выходки великаго комика, защищавшаго старину и старую вѣру, и ихъ пытались объяснить тѣмъ, что ядъ отрицанія и невѣрія проникъ нечувствительно и въ его умъ, что онъ самъ служилъ невольнымъ признакомъ возрастающаго антирелигіознаго движенія. Едва ли это такъ. Въ пародіяхъ на божественное у Аристофана вовсе не новая, а очень старинная черта. Шутовское осмѣяніе боговъ, т.-е. идеализированныхъ человѣческихъ качествъ, не есть начало отрицанія боговъ. Оно давно жило, можно сказать, всегда чередовалось съ ихъ культомъ. Это были именно моменты перерыва, чтобы сбросить временно страхъ, серьезность, повышенность тона, которые могутъ удручать человѣка. Но вотъ онъ



далъ себѣ вольно вздохнуть, смѣхъ прошелъ—и опять авторитеты поднимаются на прежнія мѣста, опять смыкаются цѣпи жизни, опять зрѣлище страданій и неправды, опять поклоненіе невѣдомымъ силамъ, передъ которыми чувствуетъ себя безпомощнымъ человѣкъ.

На этой потребности внезапнаго, часто бурнаго отвлеченія построены различные обычаи, на первый взглядъ странные. Въ старинномъ Римѣ былъ праздникъ сатурналій, во время котораго опрокидывались существующія общественныя отношенія, допускались всевозможныя пародіи, изображенія жизни наизнанку. Высокое положеніе никого не избавляло отъ безцеремоннаго запанибратства. Рабы и подчиненные садились за столъ съ господами и могли требовать прислуживанія. Но еще поразительнѣе обычаи въ средневѣковой церкви, обычаи, въ которыхъ многіе видятъ остатки римскихъ сатурналій. Внутри самого храма, послѣ богослуженія, въ которомъ клиръ только что выступалъ на недостигаемой высотѣ посредника между Богомъ и людьми, появлялись шуты, «сумасшедшіе», какъ ихъ называетъ старинный языкъ, и продѣлывали въ дерзкомъ маскарадѣ пародію на священнослужителей. Вводили осла, покрытаго облаченіемъ, и пѣли «сумасшедшую» мессу. Это была комедія на ту самую великую и грозную іерархію, подъ руководствомъ которой стояла вся жизнь тогдашняго общества. И всего любопытнѣе то, что въ этомъ невѣроятномъ шутовствѣ участвовали сами клирики.

Не только въ такихъ рѣзкихъ и цѣльныхъ формахъ проявляется потребность отвлеченія. Перерывы могутъ быть чаще, могутъ чередоваться съ моментами серьезнаго или возвышеннаго чувства. Въ такомъ видѣ они и были введены въ старинный религіозный театръ. Въ средневѣ-

ковыхъ мистеріяхъ люди смотрѣли страсти Господни, съ замираніемъ сердца слѣдили за ходомъ этой единственной драмы. И вдругъ среди изображенія тяжелыхъ страданій Христа или горестной неизвѣстности, въ которой остаются ученики, неожиданно вставлена смѣхотворная сценка, въ родѣ того, какъ жестоко расхвастались стражи у гроба Господня, изображая собою каррикатуру на тогдашнихъ рыцарей, или какъ жены мироносицы идутъ къ лавочнику, и онъ съ ними торгуется, кричитъ и болтаетъ. Вездѣ, гдѣ нужно, для оживленія дѣйствія, конечно, выступалъ шутъ, такъ сказать, по призванію—дьяволъ: онъ острилъ, попадалъ въ просакъ, и собственные подчиненные высмѣивали его. Но этого мало. И святымъ лицамъ приходилось тоже нести долю комическаго отвлеченія, и ихъ не щадило остроуміе.

Не памфлетисты, не противники вѣры сочиняли эти сцены. Нѣтъ; здѣсь были, во-первыхъ, реально-художественные приемы, на подмосткахъ хотѣли вывести настоящихъ людей, т.-е. людей съ недостатками и слабостями. Но была и другая цѣль: ослабить напряженное, доходящее до боли чувство, оттолкнуть увлекшагося человѣка. можетъ быть нѣсколько грубо, отъ края отчаянія, спасти его отъ печали и меланхоліи.

Средство могло становиться цѣлью; попытки отвлеченія посредствомъ смѣха обращались тогда въ виртуозное подысканіе контрастовъ, чтобы переносить зрителей отъ одной крайности къ другой, чтобы усиливать общее дѣйствіе зрѣлища. Этотъ приемъ знаетъ весьма первобытный театръ. Въ одной средневѣковой пьесѣ изображается спасеніе человѣка, заключившаго договоръ съ дьяволомъ и отрекшагося отъ Бога. Его беретъ ужасъ, онъ глубоко кается въ своей дерзновенной жизни и идетъ въ церковь,



гдѣ молить Богородицу спасти его. Божія Матерь оставляетъ младенца, сходитъ съ престола и посылаетъ въ адъ за документомъ, въ которомъ записанъ нечестивый контрактъ. Но бѣсенокъ, отправленный туда, хитритъ: онъ суетится изъ угла въ уголь и возвращается наверхъ, увѣряя, что не нашелъ документа, хотя онъ отлично видѣлъ его за спиной у стараго дьявола. Его бранятъ и опять отсылаютъ въ преисподнюю, откуда наконецъ онъ выкрадываетъ требуемую бумагу. Послѣ этого выхода клоуна серьезное и торжественное дѣйствіе снова возобновляется.

Въ такомъ видѣ мы встрѣчаемъ этотъ пріемъ и у Шекспира, когда онъ, среди величайшаго напряженія драмы, передъ грозящей кровавой развязкой, выпускаетъ паяцевъ, зубоскаловъ или дурачковъ. Но и тутъ еще остается разсчитанное и благодѣтельное дѣйствіе отвлекающаго смѣха.

Всегда ли театральнѣй смѣхъ ясно направленъ? Вспомните знаменитый вызовъ публикѣ, который, по художественному капризу автора, вложенъ въ уста раздраженному плуту: «Чему смѣетесь? Надъ собой смѣетесь!» Слова эти, невѣроятныя по своей откровенной смѣлости, звучатъ точно внезапная насмѣшка самого автора надъ собравшимися: «вы не видите развѣ, что я показываю вамъ самихъ себя въ зеркалѣ?» Но, въ сущности, въ театрѣ самоосмѣяніе скрыто. Насмѣшка отведена въ сторону. Она поражаетъ другихъ, постороннихъ, зрители могутъ спокойно сидѣть на мѣстахъ. Они забываютъ о себѣ, чтобы поскорѣе насладиться зрѣлищемъ чужой бѣды, чужого затрудненія и чужой неловкости.

Эта черта злорадства, несомнѣнно, сидитъ въ людяхъ и находитъ себѣ извѣстное удовлетвореніе въ театральнѣхъ зрѣлищахъ. Человѣкъ пробиваетъ себѣ дорогу въ

жизни борьбою; все его существо, какъ оно сложилось исторически,—результатъ этой борьбы. Онъ способенъ поэтому упиваться зрѣлищемъ столкновѣнія. Эта воинственная складка проходитъ черезъ весь нашъ обиходъ. Хорошая половина нашихъ разговоровъ—споры, и хотя бы они были совершенно дружескіе и исключительно служили свѣтскому развлеченію, но мы болѣе или менѣе остро ощущаемъ удовольствіе отъ побѣды, одержанной логическимъ оружіемъ или шутками, и мы чувствуемъ раздраженіе отъ самаго процесса борьбы. Огромное большинство игръ—состязательныя игры, и опять имъ присущи неизбѣжно опредѣленные чувства: пріятно волнуетъ побѣда и досадно пораженіе. Людей одной профессіи, одинаковаго направленія таланта мы почти неизбѣжно сравниваемъ, разсматриваемъ, какъ конкурентовъ, хотя бы они такими и не были.

Входимъ ли мы сами участниками въ эти состязанія или остаемся зрителями, но въ насъ непременно поднимается хотя бы ослабленное, отдаленное чувство борца: намъ нужно чувствовать, что мы-то сладили, одолѣли бы въ данномъ случаѣ, что въ насъ нѣтъ слабости, которая опрокинута, осмѣяна, прибита въ раскрытой передъ нами борьбѣ. Назовите эту черту какъ угодно—нѣкоторыя считаютъ ее остаткомъ жестокости въ человѣкѣ,—но она жива и сильна въ насъ; она и составляетъ одинъ изъ секретовъ комедіи.

Мы видѣли: театръ удовлетворяетъ издавна сильныя и острыя потребности человѣка. Онъ даетъ выходъ извѣстнымъ чувствамъ, усиливаетъ другія, разгорячаетъ человѣка и успокоиваетъ его, наконецъ, уноситъ его за предѣлы дѣйствительности. Отчего и не назвать его воздѣйствіе волшебнымъ? А что сказать о средствахъ, которыя



служать этимъ чародѣйскимъ цѣлямъ? Театръ всегда силится повторить, воспроизвести противъ ряда дѣйствительныхъ событій и людей, противъ зрительскаго ряда, еще подобный же сценическій рядъ. Театральныя тѣни слѣдуютъ за жизнью, и театромъ мы точно удваиваемъ житейскія фигуры и формы. Какъ пришелъ человѣкъ къ этимъ пріемамъ?

На это также, быть можетъ, отвѣтитъ историческая старина. Человѣкъ прежде не чувствовалъ себя въ такой мѣрѣ единымъ цѣльнымъ существомъ, какъ теперь, на высотѣ культуры. Сознаніе ставило ему рядъ загадокъ. Сновидѣніе, болѣзненное забытье, фантазированье—всѣ эти состоянія, какъ ему казалось, не могли принадлежать тому самому существу, которое днемъ глазами видѣло окружающее и руками брало предметы дѣйствительности. Эти состоянія, думалъ онъ,—работа особаго, второго существа, двойника, живущаго въ одной тѣлесной оболочкѣ съ первымъ. Это существо спитъ въ обычное время, при яркомъ свѣтѣ дѣйствительности; оно поднимается и вступаетъ въ свои права, когда замираетъ видимый тѣлесный человѣкъ.

У этого второго человѣка свой міръ, своя сфера, свои спутники, свои образы. Можетъ быть, это—тотъ самый загробный міръ, куда двойникъ совсѣмъ улетитъ послѣ смерти. Можетъ быть, и теперь, при жизни, когда въ сладкомъ или страшномъ сновидѣніи воображеніе далеко уноситъ человѣка, двойникъ летаетъ туда. Міръ этотъ совсѣмъ не такъ далеко. Есть мрачныя горныя разсѣлины, которыя ведутъ къ нему внизъ, подъ землю. А можетъ быть, онъ близко за облаками или на землѣ, за моремъ, куда въ золотой зарѣ прячется солнце. Міръ этотъ вовсе не такъ рѣзко отдѣленъ отъ нашего ежедневнаго: сказа-

ніа говорили, что были блаженные люди, которыхъ туда живьемъ переносили боги; да и назадъ оттуда можно вернуться. Можетъ быть, даже этотъ міръ окружаетъ насъ невидимо, находится среди насъ.

Въ силу этихъ понятій два міра все время живутъ и дѣйствуютъ рядомъ, раздѣленные таинственной чертой, почти не сообщаясь: міръ свѣта и тѣней, міръ вещей и міръ духовъ, міръ реальный и міръ мистическій. Въ человѣческомъ существѣ оба міра соприкасаются: человекъ можетъ бывать въ томъ или другомъ. У иныхъ есть счастливая способность переносить себя въ невидимый глазамъ міръ, но есть для того и приемы, есть особое искусство: колдунъ зоветъ оттуда духовъ и самъ отправляется къ нимъ. Наконецъ, можно поймать на время то, что узрѣлъ ясновидящій счастливецъ въ другомъ мірѣ, и показать другимъ. Вотъ это и будетъ первоначальный театръ.

Театръ въ началѣ всегда фантастиченъ. Маски подражаютъ мертвецамъ, бѣсамъ, ночнымъ страшилищамъ, животнымъ, болѣе всего тому, что подсказываютъ безпокойныя сновидѣнія. Жутко, страшно трогать эту область, но человекъ не можетъ не заглядывать въ таинственный полумракъ, который весь создается изъ преувеличенія и удвоенія его же собственныхъ чувствъ, мыслей и дѣйствій. Театръ, повидимому, и служитъ вначалѣ этой игрѣ, страшной, захватывающе интересной, нестерпимо больной и въ то же время сладкой неудержимой игрѣ. Человекъ придумалъ театръ, исходя изъ вѣры въ двойственность міра и въ двойной характеръ собственнаго существа; онъ спѣшилъ въ яркихъ краскахъ нарисовать второй свѣтъ и, конечно, лишь повторялъ въ повышенныхъ тонахъ самого себя.

Театръ---созданіе старой мистики. Онъ дошелъ до насъ,



сильно измѣнившись съ перемѣной всего міровоззрѣнія. Мы не вѣримъ въ двойниковъ, но мы еще не отвыкли различать въ себѣ двѣ силы: мы различаемъ въ себѣ активнаго и пассивнаго человѣка, существо испытывающее и существо анализирующее. Поэтому у насъ осталась и потребность воспроизводить самихъ себя въ повторительномъ дѣйствіи, вызывать къ жизни фикцію, въ которой мы еще разъ видимъ себя. Посредствомъ этой фикціи мы точно искусственно раздваиваемъ себя, отдѣляемъ человека чувствующаго отъ анализирующаго—для того, чтобы производить критику надъ собою, чтобы совершать надъ собою извѣстную работу, усиливать одни свойства, подавлять другія.

Театръ такъ же старъ, какъ человѣческое общество. Но можно сказать, что театръ такъ же молодъ, какъ оно. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ это не признакъ неизбывающей молодости человѣческаго общества, если каждая новая эпоха, каждое новое поколѣніе, послѣ тяжелыхъ испытаній своихъ предшественниковъ, послѣ крушенія ихъ надеждъ, снова поднимаетъ борьбу противъ неправды и насилія, изменности и трусости, невѣжества и страха людскаго и опять вѣрить въ возможность построить храмъ изъ человѣческихъ отношеній. Въ этой борьбѣ театръ былъ и останется долго однимъ изъ сильнѣйшихъ средствъ.

---

## Новыя направленія въ философіи общественной науки.

Нашу науку часто упрекають въ субъективизмъ ея изображеній и заключеній. Одно время въ большомъ ходу была укорительная ссылка на тотъ идеалъ безстрастія и отсутствія тенденціи, который представляютъ собою естественныя науки. Признавая справедливость этихъ упрековъ, многіе историки и соціологи усердно старались очистить образы прошлаго отъ всякой окраски въ современномъ вкусѣ, отъ всякой примѣси новыхъ симпатій и антипатій и, можетъ быть, достигали честной увѣренности, что цѣль ихъ осуществилась, и злой элементъ истребленъ. Къ усиліямъ такого рода относится знаменитое обѣщаніе Тэна представить возникновеніе новѣйшей Франціи изъ стараго порядка и революціи тѣмъ же методомъ и съ тѣмъ же спокойствіемъ, какъ натуралистъ изучаетъ превращенія насѣкомаго.

Хотя подобной иллюзіи отдавались очень крупныя умы, нельзя все же не признать ея ошибочности. Какъ ни справедлива сама по себѣ задача стать въ научномъ анализѣ внѣ и выше тѣхъ настроеній, которыя смѣняются въ жизни, но въ общественной наукѣ есть черта, за которую невозможно и не нужно переходить. Для каждой группы наукъ есть свой особый идеалъ, и образецъ есте-



ствознанія не можетъ служить цѣликомъ для соціологіи. Вѣдь о жукахъ и грибахъ составляютъ науку посторонніе имъ люди, а не сами объекты науки, тогда какъ въ общественной наукѣ изучаемый объектъ и изучающій субъектъ до извѣстной степени совпадаютъ, и она представляетъ собой именно то самое, что въ определенное время и въ определенной средѣ люди думаютъ о людяхъ и о своемъ собственномъ общечеловѣческомъ прошломъ.

Общественная наука, въ концѣ-концовъ, есть автобіографія общества. Съ теченіемъ времени автобіографія не только добавляется новыми главами; она постоянно и на всемъ своемъ протяженіи перерабатывается съ новыхъ точекъ зрѣнія. Эти постоянно обновляемыя точки зрѣнія—вовсе не досадный придатокъ, вовсе не «зло» субъективизма. Онѣ составляютъ живую, двигающую и организующую силу общественной науки. Въ свою очередь, онѣ образуются изъ новыхъ впечатлѣній, настроеній и запросовъ, вызываемыхъ жизнью того самаго современнаго общества, которое желаетъ имѣть науку о себѣ и для себя. Это общество неизбежно старается найти въ обществѣ прошлаго, если не портретъ свой въ болѣе молодые годы, то фамильное сходство; оно хочетъ знать, были ли раньше жизненные запросы, аналогичные современнымъ, и какъ они рѣшались; оно способно даже въ несчетное число разъ переживать старыя драмы прошлаго, хотя въ ихъ слишкомъ знакомомъ исходѣ нѣтъ никакихъ сомнѣній.

Больше того. Въ лицѣ своихъ научныхъ представителей общество можетъ, сообразно возникающимъ въ его средѣ новымъ запросамъ и постановкамъ, открывать невѣдомыя до тѣхъ поръ историческія перспективы, совер-

шать настоящія превращенія картинъ прошлаго. Новыя идеи въ истолкованіи исторіи—въ сущности новыя разрѣзы явленій, новыя углы зрѣнія, образуемые силой вновь возникающихъ общественныхъ впечатлѣній.

Не только случайно открывшіеся памятники, массовыя матеріальныя и документальныя данныя, въ родѣ археологическихъ находокъ или недавно тронутыхъ безчисленныхъ папирусовъ, могутъ вызывать эти перемѣны въ научной группировкѣ явленій и въ ихъ объясненіи. Оговоримся, впрочемъ, что и здѣсь далеко не все принадлежитъ случаю: всегда можно и должно искать общей причины, которая направила ученый интересъ на матеріалъ, незнакомый раньше или казавшійся чуждымъ. Но гораздо болѣе поразительно то, что старый, безконечно, повидимому, использованный матеріалъ можетъ вдругъ засвѣтить новымъ свѣтомъ: дѣло въ томъ, что его можно читать новыми глазами.

Казалось, какіе-нибудь адвокатскіе обороты рѣчей Цицерона или театральныя сцены Саллюстія изучены уже до мельчайшихъ изгибовъ стиля филологами-гуманистами, интерпретированы до пресыщенія новоклассиками и, въ добавленіе ко всему, истерзаны школьной практикой: что можно взять изъ нихъ новаго? И однако въ концѣ XIX вѣка въ нихъ словно сдѣлали новое открытіе: на старыхъ страницахъ начали читать яркія формулы борьбы классовъ, нашли матеріалъ для рѣзкихъ соціальныхъ характеристикъ, по нимъ стали вырисовывать очертанія соціальнаго вопроса въ концѣ эпохи римской республики. Совершенно неожиданно, при свѣтѣ этого открытія, получилъ значеніе и другой документъ, почти отложенный въ сторону за ненадобностью: сочиненныя рѣчи миѳическихъ трибуновъ и консуловъ изъ романической разри-



совки легендарной исторіи патриціевъ и плебеевъ у Ливія. Новѣйшей наукѣ пришлось только перенести эти рѣчи изъ V вѣка до Р. Х., куда онѣ поставлены Ливіемъ, въ I вѣкъ, когда дѣйствовали поколѣнія, непосредственно предшествовавшія историку и давшія ему свои соціальныя идеи и настроенія. Вслѣдствіе такой перестановки рѣчи въ сочиненіи Ливія представляются намъ ничѣмъ инымъ, какъ вольной переработкой тѣхъ монологовъ и дебатовъ въ народныхъ митингахъ и парламентскихъ засѣданіяхъ сената, которые гремѣли изъ устъ агитаторовъ, сановниковъ и вождей оппозиціи именно этой послѣдней бурной эпохи соціальныхъ столкновеній въ римской республикѣ.

Въ данномъ случаѣ нѣтъ сомнѣнія, при помощи какого именно новаго аппарата зрѣнія открыты таившіеся въ старыхъ источникахъ и не вызывавшіе прежде вниманія факты и оттѣнки: этотъ аппаратъ, это новое приспособленіе зрѣнія дали явленія современной соціальной борьбы въ Европѣ, привычные современности раздѣлы матеріала и мысленные разрѣзы, наконецъ, современныя соціальныя симпатіи.

Если, однако, судьба общественной науки зависитъ отъ такихъ воздѣйствій, то намъ могутъ поставить вопросъ, не лишенный примѣси безпокойства, именно: приближаемся ли мы путемъ такихъ поворотовъ, наклоненій и отклоненій къ истинѣ? Да, конечно, если подъ истиной не разумѣть нѣчто неподвижное. Если истина составляетъ возможно точное приспособленіе доступныхъ данныхъ къ возможно развитому умственному зрѣнію при возможно разнообразной постановкѣ вопросовъ, тогда мы идемъ постоянно къ истинѣ и постоянно ея достигаемъ... въ мѣру чуткости и вдумчивости того общества, которое творитъ

и вырабатываетъ для себя науку. Пріобрѣтенія общественной науки будутъ прочны въ той степени, въ какой они исходили отъ глубокихъ, продолжительныхъ, многократно провѣренныхъ общественныхъ впечатлѣній: тѣ научные разрѣзы и выводы, которые внушены болѣе мимолетными настроеніями, безъ сомнѣнія, осуждены и на болѣе скорое исчезновеніе. При этомъ неизбежна и постоянно должна происходить извѣстная перестановка въ научной перспективѣ: одни элементы, не утрачивая цѣны совсѣмъ, будутъ блѣднѣть въ своемъ значеніи, меньше привлекать вниманія, другіе, мало замѣтные раньше, напротивъ, выступятъ на первый планъ.

Намъ, напр., почти трудно теперь представить себѣ, что еще не такъ давно, въ первой половинѣ XIX вѣка, какая-нибудь исторія борьбы патриціевъ и плебеевъ эпохи первыхъ темныхъ столѣтій стариннаго Рима могла въ столь сильной степени занимать европейскую мысль. Причину увлеченія мы ясно понимаемъ. Поднималась заря новоевропейской демократіи; наука не могла не интересоваться живѣйше всѣми историческими традиціями демократіи, ея драмами, условіями ея успѣха, ея методами и аргументами; а въ римскомъ плебсѣ, казалось, можно было прочесть черты идеальной демократіи всѣхъ временъ.

Наоборотъ, насъ удивляетъ, какимъ образомъ въ наукѣ той же эпохи первой половины XIX вѣка могли разсуждать о ранней культурѣ, довольствуясь чуть ли не одной картиной гомерическаго быта и почти игнорируя богатѣйшій этнологическій матеріалъ, который ждалъ изслѣдователя, но выдвинулся лишь въ послѣднія 20—30 лѣтъ, отчасти благодаря развитію колоніальныхъ владѣній европейцевъ, отчасти вслѣдствіе любопытнаго общаго со-



ціально-ідейнаго поворота въ концѣ XIX вѣка, о которомъ еще придется говорить въ этой статьѣ.

Не всегда легко замѣтить связь между теченіями общественной жизни и поворотами въ научныхъ интересахъ и толкованіяхъ. Событія въ научномъ движеніи, періоды научныхъ направленій не такъ рѣзко выдѣляются, какъ грани, поворотные моменты и эпохи политической и общественной жизни. Основной толчокъ болѣе раздробленъ въ массѣ частныхъ работъ и усилій, множество участниковъ идутъ по извѣстному пути, такъ сказать, безсознательно, часто чуждые крупной общей идеѣ, которой они обязаны своимъ направленіемъ. Но это не мѣняетъ общаго закона отношеній.

Необходимо, однако, постоянно отмѣчать выдающіеся моменты связи и взаимодействія между общественной наукой и общественной жизнью. Въ простомъ констатированіи этой связи уже заключается извѣстная взаимная проверка принциповъ и методовъ, дѣйствующихъ въ той и другой области.

Мнѣ бы хотѣлось теперь попытаться указать лишь на нѣкоторые новѣйшіе признаки наклона или поворота въ общихъ идеяхъ, въ философіи общественной науки, сводимые въ большей или меньшей степени на смѣну культурно-общественныхъ настроеній, можетъ быть, еще не вполне ясно опредѣлившихся въ сознаніи. У меня нѣтъ и мысли дать хотя бы самый бѣглый очеркъ общаго измѣненія соціальной философіи. Моя цѣль лишь отмѣтить нѣсколько характерныхъ явленій въ кругу ея идей.

## I.

«Безъ сомнѣнія, одно изъ преимуществъ человѣка XIX вѣка, это—его способность отыскивать эволюціонные ря-

ды. Но при установленіи эволюціонныхъ рядовъ можно брать и черезъ край».

Этимъ, нѣсколько ироническимъ замѣчаніемъ обмолвился недавно одинъ историкъ \*), очень хорошій специалистъ въ своей области—исторіи средневѣкового города,—но совсѣмъ не широкій соціологъ; въ большомъ методологическомъ спорѣ (съ Лампрехтомъ) онъ даже обнаружилъ узковатый консерватизмъ, и отъ него трудно было ждать общихъ философско-историческихъ сужденій. Но приведеннымъ словамъ его нельзя отказать въ извѣстной ядовитости: они задѣваютъ одну изъ характерныхъ особенностей господствовавшего до сихъ поръ метода общественной науки.

Эта особенность ярко выразилась въ гегеліанскомъ правилѣ: во всякомъ явленіи, учрежденіи, идеѣ видѣть прежде всего моментъ развитія и сумму предшествующаго развитія, разлагать каждый изучаемый фактъ на его историческія составныя и выстраивать къ нему цѣлую генеалогію, оцѣнивать вещь ея исторіей и успокоиваться, найдя

---

\*) *Von Below* въ статьѣ „Die Entstehung des Handwerks in Deutschland“, помѣщенной въ „Zeitschrift für Social und Wirthschaftsgeschichte“ за 1897 годъ. Беловъ выступаетъ здѣсь противъ талантливаго экономиста Бюхера и его теоріи хозяйственно-историческихъ ступеней. Критикъ показываетъ, что авторъ теоріи, подъ вліяніемъ мысли о непрерывномъ и послѣдовательномъ развитіи техники производства и круга обмѣна, пригнетаетъ каждое явленіе хозяйственнаго строя прошлаго, во что бы то ни стало, къ той или другой эволюціонной фазѣ и такимъ образомъ или принимаетъ за характерную и исключительную принадлежность опредѣленной эпохи то, что относится одинаково ко всѣмъ временамъ, или представляетъ совершенно одинаковыя явленія, повторявшіяся въ разныя эпохи, въ видѣ различныхъ исторически-преемственныхъ типовъ.



всякому предмету его историческое мѣсто. Какой затвердѣлый аксіоматическій видъ приняло это воззрѣніе, можно убѣждаться на каждомъ шагу. Для характеристики его широко распространеннаго вліянія приведу еще короткую формулу, тоже довольно случайно вырвавшуюся изъ-подъ пера историка, котораго вовсе нельзя назвать философомъ, но мнѣ кажется, что именно такія «наивныя» признанія особенно цѣнны, какъ выраженіе господствующаго уровня понятій. Исслѣдователь стариннаго греческаго театра \*) говоритъ: «Лишь переменна представляетъ собой постоянный элементъ (въ исторіи); и упадокъ также есть развитіе».

Не выражены ли въ этихъ словахъ двѣ характерныя интимныя идеи весьма многихъ представителей общественной науки XIX вѣка? Въ исторической перспективѣ имъ видѣлось лишь движеніе; всюду—непрерывная перестройка и перерожденіе, только наши научные снимки даютъ иллюзію остановокъ: въ дѣйствительности таковыхъ нѣтъ, «все находится въ теченіи». Сюда присоединилась еще другая мысль. Люди образуютъ и преобразовываютъ отношенія: и разъ эта продвигающаяся впередъ работа составляетъ существо исторической жизни, то спрашивается, какова же цѣна моментовъ ухудшенія, ослабленія прогрессивной дѣятельности? Отвѣтъ на это приблизительно сводился къ отрицанію такихъ моментовъ по существу: можетъ быть, все дѣло лишь въ томъ, что работа ушла отъ нашихъ глазъ, пробила себѣ глухое пока русло; потери въ одной области должны вознаградиться выгодами въ другой и т. д.

Путемъ такого разсужденія создавались большія исто-

---

\*) *Bethe*. „Prolegomena zur Geschichte des Theater im Altertum“, p. 5.

рическія утѣшенія. Это—самый распространенный, ходкій и наиболее требуемый продуктъ; примѣровъ можно привести сколько угодно. Въ первые вѣка нашей эры произошло значительное одичаніе общества, замерла содержательная и острая наука, погибло несравненное искусство, исчезли тонкія формы общенія. Современный намъ философъ (Ренувье) съ грустью иронизируетъ по этому поводу: «Въ эпоху первой александрійской школы науки—геометрія, астрономія, естествознаніе, литературная критика, этика—сіяютъ самымъ яркимъ свѣтомъ. Люди того времени имѣли, казалось бы, полное основаніе вѣрить, что «отнынѣ прогрессъ въ своемъ движеніи ничѣмъ не можетъ быть остановленъ». Во второмъ столѣтіи нашей эры Александрія ни что иное, какъ сборище всякаго рода суевѣрій». Однако историкъ-экономистъ (Веберъ) нашелъ возмѣщеніе этой потерѣ: по его мнѣнію, цѣною гибели немногочисленныхъ высшихъ классовъ, опиравшихся на коммунистическое рабство, возродилась для массы (онъ разумѣетъ крѣпостныхъ, въ которыхъ превратились рабы) моногамическая семья, созданъ свой домъ и очагъ для простолюдина, а слѣдовательно легли новыя основы культуры, совершенно уравнившія катастрофу старой культуры.

Другой примѣръ. Въ послѣдніе два вѣка въ нѣкоторыхъ странахъ Европы исчезъ или исчезаетъ и разоряется мелкій самостоятельный земледѣлецъ. И къ этому факту нашлось утѣшеніе: новая историческая теорія стала увѣрять, что гибнущій соціальный элементъ, сметенный съ земли, тѣмъ скорѣе создастъ наилучшій порядокъ: переродившись въ чисто рабочую массу, сложившись въ немыслимую раньше организацію, помощью новыхъ хозяйственныхъ и политическихъ средствъ, онъ возьметъ себѣ



власть надъ тѣмъ самымъ капиталомъ, который согналъ его съ мѣста.

Такими загадками и чудесами, можетъ быть, слишкомъ пестрѣлъ эволюціонизмъ. Конечно, далеко не всѣ сторонники эволюціоннаго взгляда раздѣляли эти крайности. Далеко не всѣ историки и соціологи XIX вѣка придерживались вѣры въ непрерывную и фатально движущуюся эволюцію. Поэтому сами по себѣ отдѣльные возраженія противъ эволюціонизма не представляли бы ничего новаго. Но разъ мы видимъ, что ихъ накапливается все больше и больше, что одинъ за другимъ люди научной мысли выходятъ изъ круга терминовъ эволюціонной теоріи, можно думать, что намѣтился нѣкоторый поворотъ въ соціально-философскихъ понятіяхъ.

Въ этомъ смыслѣ мнѣ кажется прежде всего очень характернымъ тотъ фактъ, что на первое мѣсто въ общественной наукѣ выдвинулась этнологія, изученіе раннихъ формъ культуры, особенно въ ея живыхъ представителяхъ. Простой взглядъ на составъ лучшихъ соціологическихъ журналовъ уже много скажетъ наблюдателю: работы по первобытнымъ или стариннымъ религіи, искусству, уголовному праву, семейному быту, общественному строю, хозяйству и т. д. количественно преобладаютъ надъ изслѣдованіями, которыя посвящены тѣмъ же явленіямъ за болѣе позднія эпохи развитія. Помимо чисто этнологическихъ изслѣдованій о современныхъ «дикаряхъ» и не-европейскихъ полукультурныхъ народахъ, надо сюда же причислить тѣсно примыкающія къ нимъ по методу и по содержанію историческія работы о раннихъ формахъ культуры, напр., средневѣковой Европы, доступныхъ намъ сколько-нибудь по одновременнымъ описаніямъ или остаткамъ права, или слѣдамъ хозяйства и т. п.

Эта, въ настоящемъ смыслѣ слова, древняя исторія человѣчества не только привлекаетъ крупныя и талантливыя работы въ большей степени, чѣмъ новыя и болѣе близкіе намъ отдѣлы исторіи; работы эти вмѣстѣ съ тѣмъ даютъ для соціальной философіи гораздо болѣе важные результаты, по крайней мѣрѣ, въ данную минуту, чѣмъ историческія и соціологическія изслѣдованія по эпохамъ болѣе новымъ.

Противъ такого наблюденія было бы трудно спорить. Но можетъ быть, намъ укажутъ на случайность условій, вслѣдствіе которыхъ получается неравенство научно-философской цѣнности работъ по двумъ большимъ хронологическимъ отдѣламъ исторіи человѣческаго общества. Скажутъ, что въ необозримомъ матеріалѣ документовъ по новѣйшимъ вѣкамъ трудна даже простая суммирование, трудно даже самое констатированіе фактовъ въ сколько-нибудь обозрительномъ видѣ; до широкихъ новыхъ обобщеній почти немыслимо добираться. Едва ли можно будетъ согласиться съ такимъ объясненіемъ. Во-первыхъ, этнологическій матеріалъ въ настоящее время доросъ также до предѣловъ необъятныхъ. Во-вторыхъ, надо сказать, обобщенія были бы вообще немыслимы, если бы они являлись лишь въ концѣ исчерпывающей обработки всего матеріала и находились, по степени ясности и глубины идеи, въ обратномъ отношеніи къ его количеству. Общія идеи идутъ съ начала работы нашей и параллельно ей, онѣ направляютъ анализъ и группировку матеріала, можетъ быть, терпятъ въ теченіе работы нѣкоторое крушеніе, замѣняются новыми или провѣряются, выходятъ изъ нея заостренными и очищенными, но онѣ во всякомъ случаѣ не посторонни обработкѣ матеріала, не ждутъ ея завершенія, а организуютъ ее.



Повидимому, отмѣченный только что фактъ наклона научныхъ влеченій имѣетъ болѣе глубокое и общее, если угодно, философское основаніе. Наличность его замѣтна уже въ томъ, что лучшіе этнологи не довольствуются описаніемъ той или другой спеціальной фазы эволюціи, на которой срисованъ изучаемый ими объектъ, какая-нибудь группа малокультурныхъ народностей. Не выходя изъ реальныхъ рамокъ своего сюжета, они постоянно говорятъ о чловѣкѣ вообще, о его общихъ свойствахъ, его общихъ пріемахъ и изобрѣтеніяхъ для удовлетворенія его общихъ потребностей.

Замѣчательный изслѣдователь старинной семьи (датчанинъ Старке), пробираясь по запутанной классификаціи родства у австралійскихъ и американскихъ дикарей, успѣваетъ отмѣтить въ то же время общіе элементы семьи всѣхъ временъ; онъ видитъ ихъ въ началѣ рабочей ассоціаціи, чуть ли не впервые осуществляемой въ союзѣ мужчины и женщины, въ принципѣ власти и владѣнія, который выступаетъ въ отношеніяхъ мужа къ женѣ и отца къ дѣтямъ. Указывая на исконность этихъ хозяйственныхъ, владѣльческихъ и властныхъ началъ въ семьѣ сравнительно со слабымъ, преходящимъ и лишь перебивающимъ въ этой области воздѣйствіемъ любви, влеченія половъ, этнологъ, можетъ быть, даже незамѣтно для самого себя, поднимается къ рѣшенію вопросовъ о дальнѣйшей судьбѣ семьи, о предстоящемъ ей концѣ или продолженіи жизни или перерожденіи.

Другой этнологъ (Шурцъ) въ работѣ, пока мало замѣченной, но которую, безъ сомнѣнія, потомъ причтутъ къ крупнѣйшимъ произведеніямъ соціологической мысли, въ «*Altersklassen und Männerbünde*» («Возрастные классы и мужскіе союзы») вращается, повидимому, все время

въ кругу давно исчезнувшихъ общественныхъ явленій, такихъ, которыя даже у современныхъ малокультурныхъ народовъ оставили по большей части лишь слабые слѣды. Но читая его работу, дѣлая съ нимъ довольно утомительный обзоръ странъ, народностей, временъ и разбросанныхъ по ихъ протяженію аналогичныхъ обычаевъ, вы ни на одну минуту не можете забыть, что находитесь среди вопросовъ общечеловѣческихъ.

Вы участвуете въ анализѣ огромнаго явленія, которое состоитъ въ томъ, что всякое человѣческое общество съ неизбежностью расчленяется и разстанавливается по іерархическимъ ступенямъ. Вы замѣчаете исконный антагонизмъ двухъ большихъ его составныхъ, семьи, родственнаго союза, съ одной стороны, и товарищества, ассоціаціи, общества въ настоящемъ смыслѣ—съ другой; вы наблюдаете борьбу и взаимодействіе индивидуалистическихъ, обособляющихъ и социализирующихъ, соединяющихъ элементовъ въ общежитіяхъ. Вы видите, какъ выделяются наиболѣе сплоченные союзы, общества въ обществѣ, способныя, въ силу своей организованности, захватить въ подчиненіе себѣ болѣе разрозненныя другія группы, и вы ясно чувствуете, что это—прототипъ будущаго государства, хотя устройство власти еще двоится и троится, и можно говорить о двухъ, трехъ государствахъ надъ однимъ обществомъ, совпадающихъ по кругу воздѣйствія, но чередующихся, перебивающихъ другъ друга. Затѣмъ вы видите любопытныя и въ своемъ родѣ удовлетворительныя попытки стариннаго общества рѣшить разные «проклятые вопросы» общежитія, нормировать половую жизнь, дать каждому возрасту свое, отвести молодому поколѣнію извѣстный просторъ, предоставить въ его кругу исходъ потребности тѣсной ассоціаціи и выделить инте-



ресы болѣе индивидуальных группъ, важныхъ въ свою очередь для продолженія рода, и т. п.

Наконецъ, читатель будетъ пораженъ удивительнымъ повтореніемъ по всему земному шару однихъ и тѣхъ же мотивовъ, однихъ и тѣхъ же символовъ общежитія, въ родѣ какого-нибудь «мужского дома», центра тѣсной общественной ассоціаціи, заключающаго въ себѣ клубъ, крѣпость, гостинницу, святилище, мастерскую и театръ стариннаго общества,—повтореніемъ, удивительнымъ потому, что о заимствованіи, подражаніи не можетъ быть и рѣчи у совершенно разрозненныхъ народностей разныхъ широтъ, чуждыхъ другъ другу по хозяйственнымъ и культурнымъ условіямъ. Мы встрѣтились здѣсь съ глубокимъ общечеловѣческимъ мотивомъ, вытекающимъ изъ природы *generis homo*; и хотя все время мы имѣли дѣло съ грубыми, неподходящими для нашего быта учрежденіями, но нельзя было не сравнивать ихъ, какъ извѣстные способы рѣшенія общественныхъ проблемъ, съ нашими организаціями, нельзя было не поставить вопроса о психическихъ общечеловѣческихъ основахъ этихъ организацій, а слѣдовательно также о ихъ состоятельности и устойчивости.

Мнѣ кажется, поэтому, что сильный научный интересъ, направляющій въ данное время соціологовъ на этнологию, можетъ быть коротко такъ выраженъ. Соціально-философскую мысль занимаетъ, помимо уясненія фазъ историческаго развитія и хода его движенія, помимо индивидуальности мѣста и времени въ учрежденіяхъ и понятіяхъ, еще человѣческое вообще подъ какими бы то ни было формами. *Genus homo* очень выразительно и настойчиво повторяется въ предѣлахъ своей, правда, длинной и разнообразной исторіи. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ помнитъ себя или обнаруживаетъ для наблюдателя слѣды

существованія, онъ работаетъ, развлекается, воюетъ, судитъ, торгуетъ, соединяется въ болѣе или менѣе тѣсныя группы, боится невѣдомаго и чтитъ его или врубается смѣлой критикой въ его заповѣдныя мѣста и т. д. Очень важны и очень интересны тѣ видоизмѣненія, въ которыхъ проявляются эти человѣческія функціи, но еще любопытнѣе фактъ ихъ неизбѣжности, ихъ «прирожденности» личности человѣка и человѣческому обществу. Интересъ къ «доисторическому» быту, къ этнологическимъ типамъ основывается не на одной только задачѣ выяснить извѣстный отдаленный періодъ въ эволюціи человѣчества, но еще болѣе на стремленіи поймать человѣка и человѣческое общество «вообще» въ ихъ наиболѣе рудиментарныхъ, простѣйшихъ чертахъ, наименѣе разстроенныхъ перекрестными воздѣйствіями, позднѣйшей рефлексіей и т. д.

Безъ сомнѣнія, и въ матеріалѣ этнологіи мы имѣемъ черты разныхъ эпохъ, разныхъ ступеней развитія и вовсе не всегда чистыя, безпримѣсныя формы: негры западной Африки, краснокожіе сѣверо-западной Америки, племена центральной Австраліи, арабы до Мохамеда, кельты эпохи Цезаря и греки микенскаго періода стоятъ въ разныхъ фазахъ развитія и представляютъ различные оттѣнки и разновидности культуры. Но тамъ, гдѣ мы не можемъ обозначать перемѣны годами и десятилѣтіями, гдѣ продолжительность формъ измѣряется вѣками и десятками вѣковъ, тамъ вопросы хронологіи вообще утрачиваютъ острое значеніе; мы склонны разсматривать относящіяся сюда соціальныя состоянія не столько подъ угломъ зрѣнія эволюціи, движенія формъ, сколько по ихъ общему внутреннему сцѣпленію, по ихъ типическимъ особенностямъ, по ихъ зависимости отъ длительныхъ условій, географическихъ или расово-психическихъ и др.



II.

Если само направленіе соціально-філософскаго интереса въ сторону этнологіи и соціологіи старинныхъ культуръ характерно и указываетъ на извѣстное измѣненіе общихъ понятій о главныхъ движущихъ и организующихъ силахъ общества, то въ свою очередь многіе детальныя выводы, извлеченныя изъ этой сферы научныхъ наблюденій, внесли новыя поправки и подкрѣпили общую переменную взглядовъ.

Въ картинѣ общей эволюціи человѣчества большею частью участвовало особое представленіе о старинномъ «первобытномъ» человѣкѣ, въ силу котораго онъ изображался большимъ матеріалистомъ съ преобладаніемъ мотивовъ практическаго, «экономическаго» свойства. При такомъ опредѣленіи исходнаго момента развитія возникновеніе и ростъ культуры характеризовались главнымъ образомъ въ видѣ появленія и усиленія украшающаго жизнь, «идеальнаго», безкорыстно-фантастическаго момента, въ видѣ развитія мысли объ удобствахъ жизни и удовлетвореніи пробуждающейся эстетической потребности, въ видѣ развитія разныхъ болѣе тонкихъ формъ общенія, поэтической любви между полами, товарищеской группировки и другихъ мотивовъ, требующихъ отъ человѣка свободнаго времени, досужей изобрѣтательности, вдохновенія и т. д.

Въ такой общей формулировкѣ взглядъ на «дикаря» и на дальнѣйшее движеніе культуры можно считать колебленнымъ. Вотъ прежде всего общее замѣчаніе глубокаго наблюдателя-этнолога (Штейнмеца). «Для того, чтобы объяснить поведеніе (стариннаго или малокультурнаго) человѣка, обыкновенно исходили отъ представленія о немъ, которое прямо противоположно дѣйствительности.

Его воображали непременно эгоистомъ, полнымъ знаніа и крайне проницательнымъ во всемъ, что касается его собственныхъ интересовъ, очень осмотрительнымъ и вѣчно бодрымъ, между тѣмъ, какъ онъ всего чаще безпеченъ, неразуменъ, лѣнивъ и по временамъ, по крайней мѣрѣ, довольно добродушенъ».

«Первобытный» человѣкъ вовсе не былъ и не есть утилитаристъ прежде всего. Одинъ важный фактъ въ человѣческой культурѣ, фактъ старинный, истолковывали раньше въ наукѣ именно въ смыслѣ проявленія утилитарныхъ свойствъ древняго человѣка. Такъ думали о прирученіи животныхъ, т.-е. обращеніи извѣстной группы дикихъ видовъ въ домашніе, въ спутниковъ человѣка, въ его хозяйственныя орудія или источникъ правильнаго его пропитанія. Нѣтъ сомнѣнія, казалось, въ томъ, что первоначальный мотивъ прирученія лошади, коровы, овцы, собаки и др.—хозяйственно-раціональный, что человѣкъ приспособилъ постепенно, захватилъ и смягчилъ тѣ дикіе виды, въ которыхъ онъ замѣтилъ выгодныя для себя свойства.

Въ настоящее время приходится признать, что активная роль человѣка въ дѣлѣ прирученія животныхъ была гораздо слабѣе. Напр., для прирученія собаки онъ почти ничего не сдѣлалъ; животное до извѣстной степени само пристало къ человѣку, навязалось въ сотрудники на охотѣ къ взрослому и въ товарищи по игрѣ къ малолѣтнему. Но главнымъ образомъ интересно, что и въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ человѣкъ загонялъ къ себѣ и разводилъ въ неволѣ животное, онъ чаще всего руководился не раціональными соображеніями, не хозяйственной логикой, а какими-то болѣе смутными чувствами, фантастической эстетикой при видѣ красивыхъ и необычныхъ формъ, или желаніемъ



позабавиться живой игрушкой, или суевѣрнымъ страхомъ передъ скрытой силой, проявляющейся въ непонятныхъ, но правильныхъ и своеобразныхъ движеніяхъ животнаго. Зачѣмъ было покровительствовать такимъ хозяйственнымъ ненужностямъ, каковы кошки, голуби, попугаи, въ старину въ Европѣ бѣлки и медвѣди или у современныхъ дикарей Африки куры, которыхъ они не ѣдятъ, но держатъ вмѣстѣ съ цѣлымъ звѣринцемъ красивыхъ или курьезныхъ плѣнниковъ? Мотивы были либо младенческіе—развлечься, побѣгать, позабавить глазъ и ухо, либо таинственно-неясные—оберечься отъ напасти.

Эти ирраціональные, фантастическіе, религіозные, недѣловые, «идеальные» мотивы можно предполагать даже тамъ, гдѣ въ послѣдствіи вступила исключительно разумная хозяйственность: въ прирученіи домашняго скота. Человѣкъ не могъ, напр., приручить рогатый скотъ изъ-за того, чтобы присосѣдиться къ нему лишнимъ потребителемъ молока. Простой зоологическій фактъ мѣшаетъ такому заключенію: самка въ дикомъ видѣ едва можетъ прокормить дѣтеныша; человѣкъ не видѣлъ у ней излишка, который бы побудилъ его вступить въ качествѣ дополнительнаго эксплоататора; напротивъ, способность производить лишнее молоко, видимо, пріобрѣтена животнымъ въ теченіе самой неволи, и то очень не скоро, въ рядѣ многихъ поколѣній. Чѣмъ же руководился человѣкъ, загоняя ненужнаго ему звѣря, такъ какъ будущихъ качествъ его не могъ же онъ предугадывать? Мы не можемъ сказать этого точно; но во всякомъ случаѣ онъ былъ направляемъ какой-то фантазіей, какимъ-нибудь сходствомъ символовъ, какими-нибудь мистическими сближеніями: или рога коровы напоминали ему небесный серпъ, который игралъ такую важную роль въ вѣрованіяхъ (географъ

Наhn обращаетъ вниманіе на то, что египетская богиня имѣетъ голову коровы или украшена вѣнцомъ изъ коровьихъ роговъ); или эстетика глаза повышала религіозное благоговѣніе при видѣ ослѣпительно-бѣлыхъ «непорочныхъ» экземпляровъ; или взволнованное воображеніе, которому вездѣ чудились таинственные знаки, лица и многозначительныя фигуры, читало на пятнистой шкурѣ животнаго, въ очертаніяхъ его членовъ, предзнаменованія, охрану отъ бѣды и т. п. (слѣды такого взгляда остались въ извѣстныхъ примѣтахъ египетскаго Аписа, напр., въ обязательной фигурѣ таинственнаго жука на его языкѣ).

Мотивы прирученія животныхъ—лишь одинъ изъ признаковъ, по которому можно судить объ огромной роли «идеальнаго» элемента у первобытнаго человѣка. Въ томъ же направленіи можно указать и множество другихъ фактовъ, выдвинутыхъ новѣйшей наукой. Напрасно предполагали, напр., у малокультурнаго человѣка отсутствіе любовной романтики; она, напротивъ, сильно и многосторонне развита у него въ видѣ особыхъ формъ волшебства, гаданія, способовъ привлеченія объекта любви; она можетъ въ этой средѣ въ гораздо большей степени владѣть человѣкомъ, чѣмъ въ культурномъ обществѣ.

Напрасно предполагали, что дикарю чуждо самоубійство, что оно возникаетъ лишь на болѣе высокой ступени развитія, только подъ вліяніемъ логики отчаянія, вслѣдствіе возрастающей нервности и чувствительности, большаго развитія рефлексіи и т. д. Самоубійство, напротивъ, очень распространено между малокультурными народами: оно совершается въ этой средѣ съ чрезвычайною легкою, и если приглядѣться къ мотивамъ, которые приводятъ къ нему, то можно найти отчасти сходство, отчасти различіе по сравненію съ побудителями самоубійствъ въ



культурномъ обществѣ. Благопріятной почвой для самоубійства у «дикарей» служить именно сильно повышенная чувствительность, нервозность, которую мы готовы были считать грустной монополіей новаго общества. Очень часто встрѣчается эротическій мотивъ лишенія себя жизни, и это обстоятельство еще разъ подтверждаетъ, какое видное мѣсто въ помышленіяхъ малокультурнаго человѣка занимаетъ романтика страстей. Любопытна еще и та скорость и безтрепетность, съ которой человѣкъ выкидываетъ себя изъ числа живыхъ. Это, въ свою очередь, объясняется своеобразнымъ представленіемъ, которое онъ имѣетъ насчетъ «того свѣта», куда ему предстоитъ перейти. «Сверхчувственный міръ,—говоритъ одинъ изслѣдователь-этнологъ,—для человѣка на низшихъ ступеняхъ культуры представляетъ прочнѣйшую реальность, въ такой мѣрѣ, что мы даже не можемъ себѣ составить объ этомъ понятія. Этотъ свѣтъ и тотъ свѣтъ, земной и загробный міры въ глазахъ дикарей отдѣлены другъ отъ друга какъ будто не столько въ качественномъ отношеніи, сколько особенностями мѣста и времени. Понятна какъ распространенность у нихъ самоубійства, совершающагося по всевозможнымъ поводамъ, такъ и то равнодушіе, съ которымъ они рѣшаются на смерть: переходъ на тотъ свѣтъ едва ли представляется имъ дѣломъ болѣе важнымъ, чѣмъ путешествіе изъ одной страны въ другую». Развѣ не скажешь, что въ подобныхъ случаяхъ человѣкъ малокультурный истинно падаетъ жертвой своего чрезмѣрнаго идеализма?

Мы видѣли только отдѣльные примѣры, служащіе къ поправкѣ портрета первобытнаго человѣка, который ранѣе нарисовало себѣ культурное общество. Взятыя въ цѣломъ, такія поправки должны значительно измѣнить общую кар-

тину соціальної еволюції людства. Схильності, поняття людка, способи його діяльності, форми його спілкування розвиваються далеко не з однаковою силою і швидкістю. Іноді нас вражає яке-небудь изумительное технічне совершенство індустріального виробництва у варварського народу, не відповідаюче загальному відставанню і низькому рівню рештальної культури. З іншої сторони, в великих і важких областях людської думки і діяльності його розвиток залишається слабким і непомітним. В ході культури отримуються не тільки великі розходяться ступені; поряд з ними, перебиваючи їх, ідуть повторення, на ряду з мінливими якостями і діями виявляються постійні і довготривалі.

До подібним же висновкам нас приводять і інші спостереження вже над історичним матеріалом, частково, може бути, викликані методом етнології, зобов'язані їй первісним толком. Ось, наприклад, ряд цікавих аналогій між давнім Єгиптом за його тисячолітні періоди і пізнішими європейськими і азійськими культурними епохами.

В глибині єгипетської історії можна помітити характерний симбіоз, примусове з'єднання двох взаємно доповнюють одна одну культурно-господарських груп, землеробського племені північних нільських рівнин і скотарського народу південних гористих схилів; перше було вище технікою, м'якше нравами, друге, більш сплочене і більш сурове, підкорило собі слабо організованих землеробів і отримало панство в силу свого адміністративно-військового перевесу; воно і утворило по справжньому єгипетське державство, тоді як перше складало в ньому обшир-



ный рабочий классъ. Съ сохраненіемъ извѣстныхъ чертъ первоначальнаго быта эти двѣ группы удержали также въ послѣдствіи характерное раздѣленіе труда: земледѣльцы низинъ обрабатывали волокнистыя вещества, горцы оставались мастерами металлическихъ издѣлій. Такое «сожителство» двухъ культурныхъ группъ, коренящихся въ различіи основного хозяйственного типа и долго сохраняющихъ свои особенности, мы наблюдаемъ потомъ долгое вѣка на большой степной полосѣ, проходящей по всему Старому Свѣту отъ Атлантическаго океана до Великаго: всего ярче оно обнаруживается въ большихъ мусульманскихъ государствахъ арабовъ, мавровъ и турокъ, основанныхъ на комбинаціи, съ одной стороны, земледѣльческаго труда, а съ другой—торговли, военной силы и государственнаго давленія номадовъ.

Въ дальнѣйшей своей исторіи древній Египетъ представляетъ интересныя черты сходства съ явленіями римской имперіи, средневѣковой Европы, государства инковъ въ Южной Америкѣ и мусульманскаго Востока. Вся хозяйственная жизнь страны строго регулирована и стянута въ организацію, которую можно было бы назвать социалистическо-іерархической. Сборъ податей идетъ по большей части натурой; правительство наполняетъ ими громадныя запасныя магазины и сосредоточиваетъ такимъ образомъ хозяйственный капиталъ страны; свободной частной торговли въ крупномъ размѣрѣ не существуетъ, потребители снабжаются изъ офиціальныя запасовъ. Многочисленная бюрократія направляетъ и наблюдаетъ этотъ большой рабочий и административный механизмъ; сверху донизу онъ проникнутъ іерархическими «феодалными» началами. Отъ міра боговъ до нижайшей рабочей единицы простирается система всеобщаго вассалитета. Царь—вассалъ бо-

говъ; въ свою очередь подъ его особымъ патронатомъ стоятъ главные чиновники, затѣмъ идутъ дальше и дальше—низшія функціи подъ защитой высшихъ, группы рабочихъ подъ сеньориальной опекой владѣльцевъ и т. д. Совсѣмъ такъ же, какъ въ эпоху Карла Великаго всякій долженъ былъ имѣть надъ собой сеньора, и въ древнемъ Египтѣ господствуетъ правило: «никто не долженъ быть безъ хозяина». Человѣкъ, не имѣющій патрона, лишенъ защиты и безправенъ.

Церковь была одарена огромными имуществами, которыми заправляли аристократическія коллегіи жрецовъ. Надъ ними стоялъ глава, «папа», жившій въ Оивахъ и состоявшій въ антагонизмѣ со свѣтскимъ государемъ. Мелкій людъ, далеко отодвинутый отъ этихъ организацій, искалъ религіознаго удовлетворенія въ кругу своихъ особыхъ ассоціацій или братствъ, составлявшихся изъ свѣтскихъ членовъ, наподобіе современныхъ религіозныхъ обществъ исламитакаго Востока или средневѣковаго европейскаго сектантства.

Выработалась своеобразная символика, въ которой отразилось происхожденіе государства изъ сѣверной и южной половины. Въ придворныхъ церемоніяхъ государь садился лицомъ къ восходу солнца, сановники сѣвера и юга по правую и лѣвую сторону отъ него. Это космологическое расположеніе придворныхъ штатовъ повторилось потомъ въ мусульманскомъ государствѣ. Въ бюрократическомъ управленіи развилось сложное письмоводство и въ связи съ нимъ какъ бы культъ всесильной «бумаги», всепроникающей грамоты; этотъ культъ вылился въ формулу: «писецъ направляетъ работу людей». Опять черты, повторяющіяся въ исламитской культурѣ!

Соціологъ пораженъ этимъ обиліемъ аналогій съ дру-



гими временами и другими обществами. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не можетъ не остановиться и на другомъ фактѣ, который ярко выступаетъ въ тѣхъ же чертахъ сходства: какое упорное повтореніе соціальныхъ комбинацій, какъ онѣ немногочисленны, какъ невелика, въ концѣ-концовъ, соціальная изобрѣтательность человѣка или же въ какой мѣрѣ она ограничена въ выборѣ средствъ и способовъ!

Къ такому заключенію приходитъ уже упомянутый мною замѣчательный этнологъ Шурцъ, останавливаясь на такихъ явленіяхъ, какъ тайные союзы въ западной Африкѣ, пытающіеся за отсутствіемъ или бездѣйствіемъ публичной власти играть роль чрезвычайной карающей юстиціи. Невольно онъ сопоставляетъ ихъ съ судомъ Линча, столь распространеннымъ въ нынѣшней культурной Америкѣ: «Тамъ, гдѣ не хватаетъ офиціального суда, люди съ успѣхомъ возвращаются къ старинной формѣ правовой охраны. Подобное явленіе также служитъ доказательствомъ того, что въ развитіи человѣчества нѣтъ мѣста безконечному множеству формъ существованія и неисчерпаемому количеству рѣшеній жгучихъ вопросовъ; напротивъ, число этихъ рѣшеній относительно очень невелико и среди этого небольшого числа при разныхъ обстоятельствахъ приходится всякій разъ дѣлать выборъ, при чемъ подобный исходъ вовсе не составляетъ ступени развитія въ собственномъ смыслѣ слова».

### III.

Эта мысль должна повторяться при внимательномъ наблюденіи и сравненіи мелькающихъ въ соціальной исторіи комбинацій и мотивовъ. Нерѣдко можно встрѣтить въ наше время особую увѣренность въ непреодолимой силѣ

растущей техники, сопровождаемую убѣжденіемъ, что нынѣшняя культура характеризуется господствомъ техники въ такой мѣрѣ, какъ никакая другая до нея. Но подобныя настроенія и мысли вовсе не исключительное достояніе эпохи около 1900 г. Триста лѣтъ тому назадъ Кампанелла восторженно увлекался техникой своего времени, ея огромной цивилизаторской силой. Вотъ его слова: «Нашъ вѣкъ произвелъ въ теченіе 100 лѣтъ больше выдающагося, чѣмъ весь міръ въ четыре тысячи лѣтъ, въ этомъ вѣкѣ больше напечатано книгъ, чѣмъ ихъ появилось въ 5 тысячъ лѣтъ. Изобрѣтеніе книгопечатанія, компаса и пороха—очевидные знаки и орудія объединенія всего міра въ лонѣ одной великой общины».

Невольно, въ связи съ этимъ повторяющимся и забываемымъ предшественниковъ культомъ техники, вспоминается еще другая комбинація мысли, также претендующая на исключительность и также принадлежащая къ ряду типичныхъ, повторяющихся настроеній. Въ XIX в. швейной машинѣ приписывали вредное воздѣйствіе на нервы. Оказывается, что подобный же протестъ и жалобу на возбужденіе нервозности вызывала изобрѣтенная въ средніе вѣка и кажущаяся намъ столь идиллической самопрялка. Очень не новы также разсужденія, что сильныя, разрушительныя орудія и препараты, въ родѣ лиддита, дѣлають невозможной войну именно вслѣдствіе своего быстро опустошающаго дѣйствія; приблизительно тотъ же аргументъ въ пользу прекращенія войны въ XVI вѣкѣ видѣли въ изобрѣтеніи револьвера.

Особенно поразительны повторяющіеся идейные мотивы, моральные, художественные, литературные. Эти повторенія въ различныхъ общественныхъ группахъ, не стоявшихъ между собою ни въ какомъ общеніи, часто не подо-



зрѣвавшихъ о существованіи одна другой, странныя по своему упорству, иногда по своей «нелѣпости», т.-е. по своей противорѣчивости раціональному опыту, заставляють предполагать какія-то неизслѣдованныя еще, глубоко залегающія складки человѣческой природы, слабо поддающіяся эволюціи и способныя ставить втупикъ просвѣтельную работу своими внезапными вспышками.

Многія явленія или свойства этого рода могутъ мирно спать цѣлые вѣка и оставаться внѣ сознанія тѣхъ самыхъ людей, которые способны при исключительныхъ обстоятельствахъ дать имъ яркій и фатальный исходъ. Не наводитъ ли, напримѣръ, на такое соображеніе мотивъ, который можно было бы назвать религіозно-экстатической гибелью? Въ 70-мъ году по Р. Х., при взятіи мятежнаго іудейскаго Іерусалима римлянами, и въ 1453 г., при штурмѣ византійскаго Константинополя османскими турками, со страшнымъ сходствомъ повторилась одна и та же сцена: послѣдніе защитники вѣры и національности и сбившаяся около нихъ толпа запираются въ главномъ храмѣ и, уповая на какое-то неясное предсказаніе, смотрятъ упорно въ одну сторону и ожидаютъ чудесной помощи въ самую послѣднюю минуту. Оба случая такъ раздѣлены хронологически и культурно, притомъ ужасъ минуты въ такой мѣрѣ исключилъ возможность подражанія, что намъ остается только принять полную самостоятельность рѣшенія толпы въ томъ и другомъ случаѣ.

Съ почти трогательнымъ постоянствомъ повторяется много разъ одинъ мотивъ, который можно бы назвать «утѣшеніемъ отъ мысли о существованіи земного рая». Яркимъ примѣромъ такого мотива настроенія можетъ служить вѣра въ Бѣловодье, въ существованіе гдѣ-то на далекомъ Востокѣ Бѣловодской земли или царства. Въ послѣднее время

Вл. Г. Короленко въ замѣчательномъ этнографическомъ очеркѣ быта уральскихъ казаковъ далъ поразительную картину цѣлой экспедиціи въ таинственный край, снаряженной простолюдинами-сектантами на основаніи какихъ-то совершенно мѣстныхъ данныхъ, безъ малѣйшаго знанія географіи, языковъ и т. п. Это—что-то въ родѣ путешествія на луну, отчаянный скачокъ въ самую темную неизвѣстность, и ради чего? Чтобы узнать, что дѣйствительно есть страна, гдѣ сохранилась истинная вѣра во всей чистотѣ, и что народъ, обладающій этимъ сокровищемъ, благоденствуетъ вдалекѣ отъ всего остального свѣта подъ управленіемъ того самаго духовнаго вождя, который увелъ его когда-то отъ грѣха и несчастья.

Эти поиски Бѣловодья поразительно напоминаютъ настроеніе паломниковъ въ Западной Европѣ XV вѣка, участвовавшихъ въ великихъ открытіяхъ. Совершенно независимо отъ купеческихъ интересовъ или научныхъ изысканій надъ формой земли, множество людей увлекалось мечтой найти пресвитера Іоанна и его правовѣрную общину неумирающихъ счастливыхъ людей. Тамъ и здѣсь тоскующей душѣ нужна была увѣренность, что не все на свѣтѣ погрузилось въ бѣду, порокъ и зло, что есть на землѣ общество блаженныхъ, которое вмѣстѣ съ тѣмъ составляетъ и общество людей непорочной вѣры. Надо отыскать ихъ, вступить съ ними въ общеніе, причаститься лицезрѣнія ихъ жизни. Вотъ и все, что нужно человѣку; онъ потомъ готовъ умереть спокойно, потому что видѣлъ «счастье и правду». Но даже не видавъ ихъ, въ одной только вѣрѣ, что они непременно гдѣ-то существуютъ, онъ уже находитъ великое утѣшеніе.

Въ сущности такого рода мысли широко распространены въ разнообразныхъ формахъ: на чемъ держались,



напримѣръ, безконечныя богомолья въ Римъ, направлявшіяся изъ сѣверныхъ странъ по страшнымъ альпійскимъ дорогамъ, среди грабежа и насилія, странствованія, совершаемыя съ затаенной надеждой умереть на самой святой землѣ? Своеобразный кругъ представленій, на которыхъ они основывались, вовсе и не такъ ужъ далекъ отъ культурнаго общества: не напоминаетъ ли его влеченіе европейцевъ XIX в., еще не владѣвшихъ конституціями, къ революціонной Франціи,—эта жажда увидать мѣста, освященныя великими политическими моментами, видѣть, только видѣть освобожденный народъ, желаніе настолько сильное и настоятельное, что Гейне могъ говорить о двухъ отечествахъ, которыя должны быть у всякаго образованнаго человѣка,—одномъ, гдѣ онъ родился, и другомъ, которое составляетъ идеальную Францію.

Не такъ наивно, не прибѣгая къ пріемамъ такого внѣшняго противопоставленія, культурное общество ищетъ своего рода райскихъ состояній или качествъ вблизи себя, въ извѣстныхъ человѣческихъ группахъ, въ чертахъ моральныхъ и бытовыхъ, ищетъ «духовнаго рая». Мнѣ кажется, къ такому опредѣленію подходитъ повторяющаяся во всѣхъ литературахъ идеализація дикаря, варвара, простака Иванушки, мужика, босняка и т. д. Типы, избираемые романтикой, разумѣется, различны: у Тацита—германцы, у Руссо—швейцарскіе горцы или американскіе краснокожіе, у писателей эпохи паденія крѣпостничества—крестьяне, у художника фабрично-городской среды—бездомные пролетаріи; но идеальный обликъ, рисуемый при помощи этихъ конкретныхъ чертъ, одинъ и тотъ же: онъ обусловленъ самокритикой интеллигентнаго общества, которое думаетъ, что потеряло райскую непосредственность, истинное чутье, оригинальность, свѣжесть чувствъ,—однимъ сло-

вомъ, «святость», и почти мучительно хочетъ найти эти счастливыя свойства въ таинственныхъ незнакомцахъ, не обработанныхъ еще культурой.

Близко къ упомянутымъ комбинаціямъ мысли стоятъ еще нѣкоторые незамолкшіе мотивы, любопытные опять-таки тѣмъ, что они сближаютъ общества на разныхъ ступеняхъ развитія. Въ культурной средѣ, пріученной, повидимому, къ детерминизму, къ правильной работѣ мысли посредствомъ установленія причинныхъ рядовъ, можетъ жить, какъ ни странно сказать, потребность чуда, правда, чуда въ очень тонкой, абстрактно одухотворенной формѣ, но тѣмъ не менѣе представляющаго скачокъ черезъ всѣ раціональныя основанія. Развѣ не въ эту категорію придется отнести, напримѣръ, вѣру въ волшебную силу деклараціи правъ, провозглашаемой во всеуслышаніе и этимъ самымъ способной совершить переворотъ въ умахъ и разрушить обветшалые порядки? Или еще, не сюда ли принадлежитъ знаменитая гегеліанская загадка, доставшаяся потомъ соціализму, загадка о томъ, какъ извѣстный порядокъ жизни на высотѣ своего отрицательнаго развитія, идя все къ худшему, перекидывается въ свою полную противоположность, въ наилучшій строй? Къ той же области относится изумительное по своей нераціональности убѣжденіе въ благотворности человѣческаго страданія, въ его очищающей и облагораживающей силѣ, въ моральной необходимости искупительныхъ жертвъ для достиженія истиннаго счастья,—убѣжденіе, которое получило и религіозно-политическую формулировку въ мысли о руководящей роли народа-жертвы или народа-страдальца и которое находило въ себѣ такія яркія формы въ іудейскомъ мессіанизмѣ, въ разныхъ видахъ средневѣковаго сектантства, въ бичеваніяхъ и отреченіяхъ и, наконецъ, въ



XIX вѣкѣ въ идеѣ міровыхъ миссій, исполняемыхъ «несчастливыми» націями,—вплоть до мечтаній нашего поздняго экстагического славянофильства.

Мы не вѣримъ глазамъ своимъ, встрѣчаясь съ этими мотивами, насъ вводятъ отчасти въ заблужденіе подновленные термины подобныхъ теорій, но въ дѣйствительности онѣ еще гораздо ближе къ какому-нибудь мифологическому творчеству, чѣмъ это кажется. По привычкѣ, воспитанной эволюціонизмомъ, мы все стараемся каждый хронологически слѣдующій шагъ возвести на степень новаго шага впередъ. Хотя эволюціонная теорія и приняла въ свою терминологію слово «реакція», но и въ реакціи-то эволюціонизмъ обыкновенно склоненъ видѣть не простой возвратъ, не форму вновь выступающаго варварства, а лишь нѣкоторое искривленіе выводящаго потомъ напрямикъ пути, перерожденіе или замаскированное движеніе впередъ или новый толчокъ къ нему и т. д. Въ обычномъ эволюціонномъ объясненіи получается ломаная линія, въ которой все-таки всѣ отрѣзки смотрятъ по одному главному направленію. Притомъ такое объясненіе какъ будто бы открываетъ для разныхъ реакцій, политической, религіозной, философской, эстетической, извѣстное оправданіе: остается впечатлѣніе, что реакція возникла отчасти по винѣ слишкомъ быстрого и рѣзкаго движенія впередъ, что она составляла естественный протестъ противъ крайности предшественника.

Фактъ возвращенія повторяющихся мотивовъ не то что отстраняетъ такое объясненіе реакцій, онъ указываетъ на недостаточность объясненія; онъ заставляетъ, на ряду съ очень важной оцѣнкой условій ближайшихъ, условій даннаго момента, предшествующей фазы движенія, подумать объ извѣстныхъ, можетъ быть, скрытыхъ и спящихъ свой-

ствахъ и представленіяхъ, издавна присущихъ человѣку, забытыхъ или забываемыхъ, но способныхъ выступать въ трудно предусмотримые сроки и бросать вызовъ тяжелой просвѣтительной работѣ, медленно подвигающейся въ дѣлѣ истребленія страховъ человѣческихъ.

Нѣкоторыя явленія современной художественной и философской мысли, подходящія подъ обычную рубрику реакціи, позволяютъ задуматься надъ такой поправкой.

Нѣтъ болѣе рѣзкаго контраста, какъ содержаніе и приемы искусства лѣтъ 20—25 тому назадъ и художественное творчество послѣднихъ десятилѣтій. Какимъ-то изнуреніемъ отзывается уже примелькавшаяся худосочная символика, этотъ упрощенный языкъ знаковъ и неясныхъ намековъ, это условное изображеніе существъ неизвѣстнаго пространства и времени, этотъ наборъ фантастическихъ несообразностей, которыя означаютъ «вовсе не то», чѣмъ кажутся непредубѣжденному глазу. Рѣшительно не видно, чтобы новый символизмъ былъ вызванъ какими-нибудь явленіями предшествующей эпохи, служилъ дальнѣйшимъ развитіемъ ея приемовъ или возникъ потому, что исчерпаны были свойственные прежнему искусству приемы и мотивы, или потому, то доказана была ихъ неудовлетворительность. Въ конкретно-идейномъ направленіи, которое дало, на примѣръ, на русской почвѣ «Бурлаковъ», «Христа въ пустынѣ», «Всюду жизнь» и т. п., не было никакихъ указаній на возможность или необходимость поворота къ новому искусству, о которомъ пока можно сказать, что оно перестало быть изображеніемъ и не смогло сдѣлаться философской абстракціей.

Нѣкоторая склонность символическаго искусства къ архаическому костюму помогаетъ историку найти родство



его въ раннихъ формахъ художественнаго творчества. Когда вы смотрите на странно симметричныя, какъ бы намѣренно ненатуральныя очертанія лицъ, складокъ платья, расположенія фигуръ, орнаментовки, пейзажнаго фона и т. п., египетскаго, наримѣръ, искусства или ранняго средневѣковаго, вы не должны относить эти особенности исключительно къ несовершенству техники и рабскому воспроизведенію художниками разъ установившейся традиціи. Во всемъ этомъ гораздо больше расчета, планомѣрности, чѣмъ кажется на первый взглядъ.

Вотъ, наримѣръ, рядъ точекъ, которыя, казалось, лучше было бы замѣнить линіей. Но онѣ не даромъ поставлены: онѣ сосчитаны, и ихъ число, навѣрно, какое-нибудь священное, многозначительное, таинственно-предопредѣляющее число. Ненатуральная симметрія происходила не отъ дѣтской безпомощности рисовальщика: онъ боялся разрушить сквозившій черезъ дѣйствительность идеаль и дѣлалъ снимокъ съ правильнаго чертежа своей образцовой головной схемы. Художникъ вовсе не старался воспроизводить натуру, онъ имѣлъ въ виду свою особую мистическую систему, тайное сочетаніе символовъ, въ которое слагались его зрительныя впечатлѣнія отъ окружающаго. Его глазъ видѣлъ дѣйствительность сквозь условныя символическія очертанія и формы. Такимъ образомъ въ его и безъ того тѣсномъ кругозорѣ было больше принудительныхъ ассоціацій. Его зрѣніе какъ бы состояло въ томъ, что онъ накладывалъ на окружающее нѣкую геометрическую сѣть, притягивалъ къ ней подходящее и отбрасывалъ, не замѣчалъ отступающихъ явленій. Такъ, въ человѣческой фигурѣ съ распростертыми на молитвѣ руками ему видѣлся крестъ, въ солнцѣ или звѣздѣ съ расходящимися лучами—паукъ и обратно: жолобъ на

церкви превращали въ оскаленную голову дьявола, кувшину давали форму птицы и т. д.

Такова была и старая наука. Для историка событія обрубались и ложились въ рамки четырехъ всемірныхъ монархій, предсказанныхъ у пророка Даніила. Еще въ XVIII вѣкѣ географія билась въ подобныхъ тискахъ: на земной поверхности предполагали нѣкоторую систему «нормальныхъ» горныхъ хребтовъ, въ извѣстной конфигураціи, на извѣстномъ разстояніи другъ отъ друга; землю тоже, повидимому, надѣляли заранѣе начерченнымъ символическимъ ликомъ. Господство системы было гораздо сильнѣе реальныхъ впечатлѣній: хребты отыскивали тамъ, гдѣ «они быть должны», и упорно рисовали несуществующія возвышенности на картахъ; вѣрующихъ не смущали крупные несогласія съ идеальнымъ образомъ, въ родѣ большихъ горъ на неположенныхъ мѣстахъ: онѣ зачислялись въ разрядъ «случайныхъ» и фактически выбрасывались изъ круга вниманія.

Не произошло ли въ искусствѣ непредусмотрѣнное повтореніе старинныхъ методовъ? Можетъ быть, символисты надѣлены фантазіей и симметрическими идеями подобными тѣмъ, какія были у отдаленныхъ поколѣній, и дѣйствительно видятъ сквозь извѣстныя принудительныя сѣтки схематическихъ ассоціацій? Другое дѣло, надолго ли проснулась старая эстетическая мистика, но она не вытекаетъ изъ предшествующей фазы, характеризуемой любовью къ конкретному и детальнымъ анализомъ, не служитъ ей ни поправкой, ни отвѣтомъ, ея мотивы заключены въ особомъ складѣ впечатлительности и воображенія людей, воспроизводящихъ живыя еще качества, которыя казались исчезнувшими.

То же самое можно было бы сказать о философской ми-



стикѣ. Вотъ уже во второй разъ на нашихъ глазахъ, такъ сказать, при яркомъ дневномъ свѣтѣ, въ концѣ XVIII и въ концѣ XIX вв. она подымается неожиданно и безсознательно послѣ горячей просвѣтительной работы, послѣ цѣлаго потопа критицизма. Немного подновлена терминологія, но сущность все та же, что въ XVI, что въ XIV вв., что еще раньше. Просыпаются страхи передъ невѣдомымъ и попытки окружить его культомъ; опять все то же раздробленіе человѣческаго существа на двѣ натуры, два сознанія, одно—слабое, ползающее по землѣ, другое—мощное, летающее въ облакахъ. Какія бы названія ни придумывались для этой условной противоположности: разумъ и воля, анализъ и творчество, внѣшнее воспріятіе и внутреннее сознаніе, наука и метафизика, но въ основѣ этого раздвоенія все тотъ же старинный «опытъ» первобытной психологіи: бодрствованіе и сонъ, ясность чувствъ и забытье, анализъ и восторгъ, наблюденіе и фантазированіе кажутся малокультурному человѣку доказательствомъ того, что въ немъ живутъ два существа, одно вставленное въ другое, что онъ «двойникъ» самого себя, что въ немъ двѣ параллельно идущія жизни, что онъ входитъ въ два сосуществующихъ, совпадающихъ, но не сообщающихся между собою міра.

Первобытный человѣкъ, по причинамъ понятнымъ, отдаетъ предпочтеніе группѣ послѣднихъ состояній, сновидѣнію, иллюзіи, экстазу, тѣмъ состояніямъ, въ которыхъ силы его кажутся удесятѣренными, когда онъ творитъ чудеса и буквально летаетъ по воздуху; такія состоянія онъ считаетъ пророческими, божественными и откровенными и съ пренебреженіемъ смотритъ на другія, бодрственные состоянія, когда чувствуетъ себя связаннымъ сотней условій и ограниченій. Мистика и воспроизводитъ

всякій разъ тотъ же нехитрый психологическій мотивъ. Другой вопросъ, и очень большой—о причинахъ возвращенія «наивнаго» опыта въ среду, повидимому, критически воспитанную. Но всякій разъ, когда происходитъ отклоненіе мысли въ этомъ направленіи, оно кажется неожиданнымъ, и въ то же время можно и должно вспомнить, что родство этого мотива тянется длинной генеалогической линіей, то слабѣющей и пропадающей для историческаго глаза, то опять поднимающейся на поверхность.

---

Общественная наука XIX вѣка, можетъ быть, слишкомъ упорно искала въ эволюціи послѣдовательности и логичности. Дѣйствительный ходъ вещей приноситъ много неожиданностей, хотя и покрываемыхъ терминами эволюционистики, въ родѣ «естественная реакція», «перерожденіе» и т. д., но, въ концѣ-концовъ, жестоко нарушающихъ предполагаемыя нормы. Среди этихъ неожиданностей даютъ себя знать «повторяющіеся мотивы», которые служатъ знаками нѣкоторыхъ устойчивыхъ, длительныхъ качествъ и состояній человѣческаго интеллекта и людскаго общества. Общественная наука необходимо должна была обратить особенное вниманіе на этотъ элементъ, часто обидный и досадный для раціоналиста, но неустранимый въ кругозорѣ историка и психолога. Отсюда объясняется то своеобразное направленіе интереса и методологическихъ пріемовъ въ кругу ея содержанія, о которомъ было сказано въ началѣ.

---



## Символизмъ въ человѣческой мысли и творествѣ.

Въ послѣднее время мы часто слышимъ о символизмѣ, о символистическомъ творествѣ и символистическомъ истолкованіи литературныхъ и художественныхъ произведеній.

Еще не такъ давно эти выраженія были въ ходу лишь у небольшой группы людей, настроенныхъ особымъ образомъ. Они отчаивались въ безсиліи науки, указывали на медленный ходъ ея работы, ея неспособность подняться до высшихъ задачъ; въ противоположность наукѣ они объявили искусство ключомъ ко всему загадочному, невѣдомо-тайному въ мірѣ, а затѣмъ самую загадочность, неясность возвели въ законъ искусства. Въ ихъ глазахъ вся реальность состоитъ изъ непонятныхъ символовъ, которые открываются только воображенію художника. Искусство продолжаетъ собою таинственную рѣчь окружающаго насъ міра, оно лишь возбуждаетъ чаяніе, загадываетъ и пытается.

Запросъ на символизмъ, повидимому, распространился теперь шире. Къ картинамъ, къ драматическимъ произведеніямъ, къ бытовымъ рассказамъ множество людей приступаетъ съ особою цѣлью: разгадать скрытый смыслъ, заключенный въ реальныхъ образахъ; они заранѣе счи-

таются за символы. Вотъ, напр., на выставкѣ привлекаетъ вниманіе большая картина (И. Е. Рѣпина), изображающая двухъ молодыхъ людей, нѣсколько неосторожно, въ городскихъ костюмахъ, зашедшихъ на край приморской лѣстницы, о которую разбиваются волны. Мысль художника осталась неизвѣстной, и толкованія были различны. Но они болѣе или менѣе сводились къ тому, что молодые люди и море—лишь знаки чего-то гораздо болѣе общаго, широкаго, что они—краткія наглядныя формулы большихъ человѣческихъ отношеній, что въ морѣ надо видѣть жизнь или слѣпую массу, или предстоящій кризисъ, привлекательный, какъ просторъ, и опасный, какъ бурныя волны, и т. д. Или вотъ другая, всѣмъ извѣстная картина Бѣклина «Вилла у моря»; въ волнахъ, непрерывно бьющихся о берегъ и откатывающихся назадъ, художественный критикъ непременно хочетъ видѣть символы вѣчности и знаменія безцѣльности. Въ этомъ для него смыслъ картины и замыселъ художника.

Въ небольшой драматической сценѣ (Метерлинка), повидимому написанной не для театра, изображено нѣсколько слѣпыхъ, которые лишились своего руководителя и осуждены на голодъ и холодъ среди суровой необитаемой обстановки. И опять многіе спрашиваютъ: не символъ ли это человѣчества? Не надо ли разумѣть подъ слѣпыми человѣческую массу, беспомощную въ чуждомъ ей мірѣ, изолированную вслѣдствіе ограниченности своихъ чувствъ, зависящую отъ случая, готовую съ отчаянія искать спасенія въ инстинктѣ животнаго или въ крикѣ младенца?

Я не ставлю сейчасъ вопроса о томъ, что собственно выигрываютъ зрители и читатели отъ разгадки таинственного образа, отъ сознанія, что они уразумѣли алгебраическую формулу и подставили искомые величины, я не спра-



шиваю, какой шагъ они дѣлаютъ при этомъ въ пониманіи явленій; я только отмѣчаю эту жажду подозрѣвать вездѣ символы и заниматься ихъ чтеніемъ.

Искусство идетъ навстрѣчу этому вкусу. Все больше какъ будто входитъ въ обычай говорить загадками, выражаться двойственно мелькающими и тереливающимися знаками и сравненіями. Популярный драматургъ нашего времени (Ибсенъ) непрерывно прибѣгаетъ къ этому языку. У него одиночное заключеніе означаетъ замыканіе чловѣка въ самомъ себѣ, броситься изъ дому въ снѣжную мятель—значить выйти навстрѣчу жизненнымъ бурямъ; вершина высокой башни есть верхъ чловѣческаго держанья. Въ одной его пьесѣ рѣчь постоянно идетъ о таинственномъ существованіи пойманной дикой птицы, живущей на чердакѣ дома. Скоро вы, однако, начинаете чувствовать, что въ этомъ, хотя и реальномъ, но невидимомъ существѣ, какъ будто заключена участь людей, живущихъ подъ той же кровлей; въ частности дикая утка оказывается талисманомъ жизни одичавшей дѣвочки въ семьѣ. Когда въ порывѣ ненужной жертвы дѣвочка, вмѣсто выстрѣла въ птицу, застрѣливается сама, можно, если угодно, считать символическую игру законченной: въ ключѣ прочитанъ отвѣтъ на ребусъ.

Подобные же приемы символистическихъ переливовъ можно замѣтить у автора повѣсти (Л. Андреева), изображающей драму обезумѣвшаго священника. Злые, страшныя мысли, одолѣвающія несчастнаго, глядятъ на него со стороны въ видѣ когтистаго чудовища, воющаго и крутящагося въ морозной ночи. Читатель можетъ принимать этотъ образъ въ объективномъ смыслѣ за олицетвореніе художникомъ враждебной чловѣку природы; иные такъ и увидали здѣсь новую демонологию, реаль-

ную вѣру автора въ злыхъ духовъ. Во всякомъ случаѣ намѣренно оставлена неясность, загадка: ужасная ли это ночь, или дикія терзанія, или то и другое вмѣстѣ.

Но, можетъ быть, эти символистическіе приемы и обороты представляютъ одну лишь новую художественную технику, можетъ быть, это только особенное средство для достиженія усиленнаго эффе́кта или для подъема воображенія? Можетъ быть, вся переменна ни что иное, какъ реформа художественнаго языка?

На такое истолкованіе символизма большинство его сторонниковъ, однако, не согласится. Въ области искусства, особенно живописи, вы услышите самый горячій протестъ противъ стараго реализма. Изображеніе конкретнаго—задача второстепенная и отвлекающая отъ главнаго. Художникъ долженъ искать далекой, чуждой міру красоты; въ немъ пробудилась нескрываемая болѣе жажда заглядывать за тѣ границы, которыя поставлены дѣйствительностью, соединяться съ первоначальнымъ источникомъ жизненной силы, который нельзя понять, но можно лишь чуютъ. Слѣдовательно, окружающая насъ видимость только маскировка истины; нужно уметь читать разсѣянные всюду знаки этой истины; нужно изображать общій чертежъ идеальнаго міра, закрытый отъ непосвященнаго глаза символами, загадочными и колеблющимися; они и живы, и говорятъ между собою, но смолкаютъ при приближеніи человѣка: надо уметь внезапно обнаруживать ихъ таинственную рѣчь.

Нѣчто аналогичное литературному и художественному символизму можно замѣтить и въ научно-философской области, въ частности, въ философіи общественныхъ наукъ, имѣющихъ дѣло съ человѣкомъ, его психикой, его строемъ и судьбами. Мы слышимъ теперь по-



стоянно, что есть двѣ жизненныя сферы, два міра, одинъ—міръ конкретнаго наблюденія и разсудочнаго анализа, другой—міръ нравственнаго созерцанія и творческой воли человѣка. Въ этой послѣдней сферѣ человѣкъ обладаетъ совершенно особой силой, способной поднять его надъ слабостями его разсудочной натуры и надъ тѣми досадными ограниченіями, какія налагаетъ на него эмпиризмъ, условія внѣшней природы и историческое наслѣдіе общества. Задачи внутренняго волевого міра соприкасаются съ вѣчностью; онѣ клонятся къ установленію неизмѣнныхъ началъ въ человѣческомъ строѣ и дѣятельности. Когда состроится это новое теоретическое сооруженіе, оно какъ бы призвано будетъ упразднить мучительный и сложный путь конкретно описательнаго изученія и анализа тѣхъ условій, которыя выдвинуты реальной жизнью современности и другихъ эпохъ.

И здѣсь опредѣленно звучитъ протестъ противъ реализма. Онъ слагается приблизительно въ такой приговоръ. Реалистическая наука ползаетъ по землѣ и придавлена своей непомѣрной ношей, тогда какъ внутреннее созерцаніе обладаетъ крыльями; углубляясь въ него, человѣкъ таинственнымъ зрѣніемъ можетъ видѣть высшій свѣтъ.

Подобныя формулы позволяютъ намъ говорить о символизмѣ въ наукѣ или, по крайней мѣрѣ, около науки. Обратимъ вниманіе еще на одну характерную черту всѣхъ этихъ направленій въ области искусства или теоретической мысли. Символисты постоянно зовутъ къ различнымъ реставраціямъ: они любятъ, по ихъ собственному выраженію, приглашать «назадъ», къ такому-то вѣку или «назадъ», къ такому-то великому имени. Они любятъ говорить о возрожденіяхъ; они думаютъ оживить идеи, искон-

ныя и вѣчно присущія человѣку, но отодвинутыя временною новой культурой. Между ними есть люди, которые прямо ищутъ сближенія или даже сліянія съ народной мистикой. Итакъ, есть источникъ живой воды, который надо найти, чтобы въ немъ обновиться.

Поставимъ и мы вопросъ: возможно ли такое возрожденіе? А для этого постараемся опредѣлить: что же такое былъ живой дѣятельный подлинный символизмъ, который такъ хотятъ возродить теперь? Когда было время его силы и процвѣтанія и какому настроенію человѣка отвѣчалъ онъ?

Намъ прежде всего важно для этой цѣли выяснить складъ мысли человѣка на самой ранней ступени развитія. Мы склонны думать, что на его психикѣ можно было бы провѣрить наименѣе стѣсненное проявленіе первоначальныхъ данныхъ и наклонностей человѣческой природы.

Въ исторіи самаго ранняго искусства наблюдается поразительное явленіе. Человѣкъ стараго каменнаго вѣка, пещерный житель, не умѣвшій строить домъ и обрабатывать землю, оставилъ намъ художественные рисунки. На своемъ нехитромъ оружіи, на какихъ-нибудь просверленныхъ костяхъ, служившихъ и молоткомъ, и метательнымъ снарядомъ, или на пещерной стѣнѣ онъ чертилъ каменнымъ остріемъ фигуры животныхъ, окружавшихъ его жизнь: сѣвернаго оленя, полудикой лошади и т. п. Въ этихъ рисункахъ виденъ вѣрный глазъ охотника, наблюдательность, умѣнье выдѣлить характерное: животныя идутъ къ водопою, наклоняются къ травѣ, убѣгаютъ; поворотъ головы. напряженіе мускуловъ переданы превосходно; позы разнообразны. Эти первые, сколько мы можемъ судить, безымянные художники были замѣчательными реалистами.



Но какая задача и смысл этого искусства? Нацарапанные полосы, конечно, не могли имѣть практическаго значенія, онѣ не улучшали орудія технически. Но едва ли можно также предположить какую-нибудь общую высшую идею, какъ въ позднѣйшемъ искусствѣ. Художество не служило священной цѣли—привлечь какую-либо чудесную силу или прогнать злого духа. Повидимому, это была только забава, развлеченіе безъ дальней мысли, полумечтательное подражаніе природѣ въ часы досуга; оно, вѣроятно, вызывало наивную дѣтскую улыбку у самого исполнителя и окружающихъ.

Какую огромную разницу представляетъ искусство послѣдующаго времени! Люди живутъ довольно большими группами въ укрѣпленныхъ деревняхъ, они привили растенія, приручили животныхъ, вскапываютъ поле и рубятъ лѣсъ, у нихъ весьма сложныя и тонкія орудія, есть знакомство съ металлами. Но реалистическая, непринужденная и безцѣльная живопись пропала. Вмѣсто нея на строеніяхъ, на кувшинахъ и чашкахъ, на рукояткахъ орудій, на украшеніяхъ—удивительно правильныя симметрическія фигуры и ряды. На мѣсто случайныхъ, беспорядочныхъ, но живыхъ отраженій дѣйствительности—орнаменты, арабески, хитро скомбинированныя схемы. Иногда кажется, что въ извѣстныхъ очертаніяхъ смутно еще чувствуется реальный сюжетъ, наприм., фигура человѣка съ распростертыми руками, солнце съ заходящими лучами, вѣтвистое дерево, голова рогатаго звѣря, и т. п. Но отъ реальной основы остались только намеки: индивидуальныя черты стерты, формы приведены въ однообразное равновѣсіе, сохранился жесткій скелетъ. Или, напротивъ, твердая фигура расплылась и растрепалась въ завиткахъ, въ замысловатыхъ кривыхъ линіяхъ, ползущихъ и возвра-

щающихся назадъ. Художникъ явно жертвовалъ непосредственными впечатлѣніями въ пользу своихъ предвзятыхъ плановъ; въ его воображеніи сильнѣе и ярче, чѣмъ реальность, стояли какіе-то идеальные образцы; они пригнетали въ свою систему все, что онъ воспринималъ.

Вотъ, я думаю, гдѣ было полное господство, гдѣ былъ пышный расцвѣтъ символизма. Нельзя объяснить эту обдуманную и сложную симметрію одними привычками руки или упрощеніями художественной скорописи. Въ умѣ художниковъ и ихъ публики явно былъ заложенъ цѣлый условно-идеалистическій міръ; въ рамки его должны были укладываться всѣ реальныя впечатлѣнія.

Мы видѣли: искусство въ первыхъ шагахъ—беспорядочно. реалистично, въ послѣдующихъ оно—строго символично; анархія замѣнилась деспотизмомъ. Но такая смѣна происходитъ и въ другихъ областяхъ мысли и творчества. Примитивная духовная жизнь вообще отличается тѣмъ, что можно было бы назвать *хаотическимъ конкретизмомъ*. Память и воображеніе полны удивительно отчетливыхъ образовъ, которые въ своей совокупности составляютъ невѣроятное смѣшеніе. Дѣло въ томъ, что внѣшнія чувства необыкновенно развиты въ то время, какъ крайне слабы формальныя средства, служащія для того, чтобы расчленивъ, анализировать матеріалъ впечатлѣній и потомъ расположить, упорядочить его.

При этихъ условіяхъ малоразвитой человѣкъ не способенъ придавать своимъ объясненіямъ міровыхъ явленій священную цѣну. Глядя на звѣздное небо, онъ замѣчаетъ красивыя и оригинальныя сочетанія. Оріонъ съ Тельцомъ, это, говоритъ онъ, большой помостъ, на которомъ сушится хлѣбъ, а Плеяды—недалеко отъ него горсть рассыпавшейся муки; но ничто не мѣшаетъ ему въ другой



разъ объяснять, что Плеяды—пучокъ цвѣтовъ или взлетѣвшія на небо женщины, и т. п. Эти подвижныя, случайныя объясненія какъ будто скорѣе всего тѣшатъ, почти смѣшати толкователя.

Одному наблюдателю хотѣлось выяснитъ у пигмеевъ, принадлежащихъ, какъ извѣстно, къ низшей расѣ, понятіе о небесной высшей силѣ. Но когда онъ показалъ на небо, толпа, отвѣчавшая ему недурно на вопросы объ охотѣ и семейномъ бытѣ, вдругъ громко разсмѣялась. Кто-то сдѣлалъ еще комическій жестъ страха, но разговоръ не завязался. Тема не способна была занять, а лишь ментально развлекла публику.

И опять картина, совершенно иная на болѣе высокой ступени развитія. У человѣка не только расширяется кругозоръ, растетъ наблюденіе. Онъ начинаетъ распредѣлять всю окружающую природу по разрядамъ и категоріямъ, вноситъ въ нее іерархію, учреждаетъ въ ней власти. На основаніи странныхъ для насъ ассоціацій, по цвѣту, звуку, движеніямъ, онъ находитъ связь вещей и явленій и отдаетъ цѣлыя группы ихъ въ вѣдомство извѣстныхъ силъ, которыя онъ надѣляетъ большею частью звѣриными атрибутами. Получается очень хитрая систематика, если хотите, ее можно назвать магической физикой. Предпосылки этой науки, разумѣется, дико неожиданны. Наприм., количество и распространеніе дождя въ извѣстной мѣстности зависитъ отъ того, что́ будетъ дѣлать старикъ-волшебникъ съ запасомъ толченой извести, которая таинственно похожа на облака. Но разъ эта связь принята, дальнѣйшее разсужденіе и послѣдующія дѣйствія развиваются по всѣмъ правиламъ аналогіи. Какъ мы говоримъ, что сходныя причины въ параллельныхъ сферахъ должны вызывать сходныя послѣдствія, такъ и здѣсь. Раз-

сыпая известъ по вѣтру въ разныхъ направленіяхъ, человекъ увѣренъ, что эти дѣйствія повторятся съ полнымъ тождествомъ въ родственной сферѣ, т.-е. на небѣ: образуются облака, и влага низойдетъ на землю.

Итакъ, человекъ начинаетъ думать, что захватилъ въ свои руки невидимыя нити, протянутыя въ окружающемъ его мірѣ, что можетъ участвовать въ его творческой жизни. Онъ составляетъ подробную роспись производительныхъ силъ природы; по принципамъ своей волшебной физики онъ слагаетъ магическую технику. У племенъ центральной Австраліи ежегодно много времени уходитъ на сложныя символическія дѣйствія; изображаютъ драматическія картины, подражаютъ движеніямъ животныхъ, выполняютъ кровью хитрые чертежи на землѣ. Всѣ эти церемоніи направлены къ тому, чтобы вызвать или усилить производительность той или другой живой породы, птицъ, насѣкомыхъ, травы и т. д. Но всякая группа людей имѣетъ волшебную силу только надъ извѣстными породами, съ которыми она соединена таинственнымъ звѣринымъ знакомъ. Часто она не можетъ, по священнымъ соображеніямъ, потреблять ихъ въ пищу; тогда она работаетъ для другой группы, сосѣдней, дружественной; та опять въ мѣру своихъ силъ и посредствомъ своей симпатической магіи доставить союзникамъ нужный имъ продуктъ. Это уже будетъ волшебная политика или магическая кооперація, цѣль которой сохранить или увеличить питательные ресурсы значительнаго общества.

Вся эта сложная дѣятельность показываетъ, что человѣческій интеллектъ уже продѣлалъ большую и сложную работу: онъ собралъ массу матеріала, сравнилъ и установилъ аналогіи, классифицировалъ и упорядочилъ свой идеальный запасъ. Но при этомъ произошла своеобраз-



ная психическая перестановка: всю работу своего сознанія человѣкъ перенесъ на внѣшній міръ. Порядокъ, симметрію своей головы онъ сталъ считать закономъ міра. Тогда оказалось, что наружный міръ, если только глубже въ него вглядѣться, смотритъ на человѣка особымъ таинственнымъ ликомъ, идетъ къ нему навстрѣчу своими знаками. И какъ будто есть два міра: одинъ—раздробленный въ мелочахъ, хаотичный, колеблющійся, это то, что видится безъ работы сознанія, другой—стройный, ясный и твердый, но онъ доступенъ только особому зрѣнію. А если такъ, то ежедневный конкретный міръ и не настоящій, не главный, а мнимый, обманчивый; есть другой—истинный, подлинный, образцовый; онъ или скрытъ въ первомъ, или удаленъ отъ него и можетъ быть вызванъ только силою воображенія. Ясно тогда, въ чемъ состоитъ высшая дѣятельность человѣка: она должна быть направлена къ тому, чтобы переноситься въ этотъ неосязаемый міръ, улавливать его линіи, повторять въ своихъ изображеніяхъ и поступкахъ его законы и соотношенія.

Но тогда знаки великой тайны, символы, разсѣянные въ мірѣ, получаютъ для человѣка особенный смыслъ, становятся особенною драгоцѣнностью. На вѣрное ихъ воспроизведеніе онъ кладетъ огромную энергію; ихъ видъ особенно его воспаляетъ, ободряетъ, ожесточаетъ. И тогда онъ способенъ бросаться подъ колеса повозки, везущей божество. Или онъ ищетъ на тѣлѣ своемъ крестообразныхъ знаковъ, символовъ особой благодати. Или онъ думаетъ, что знамя дороже жизни людей, собранныхъ подъ нимъ.

Мнѣ кажется, можно говорить о настоящемъ *вѣкѣ* символизма,—вѣкѣ очень продолжительномъ для разныхъ обществъ человѣческихъ. Чтобы иллюстрировать складъ

понятій этого вѣка, остановимся на великой системѣ, исходившей отъ самыхъ широкихъ пространственныхъ впечатлѣній и долго заполнявшей религію, науку, искусство, общественный бытъ. Я разумѣю астрономическую символику, внѣшнимъ остаткомъ которой служить еще нашъ календарь, и названія созвѣздій. Мы знаемъ теперь, что на ея родинѣ, въ древнемъ Вавилонѣ, эта символика образовала цѣлую философію мірозданія, которая съ силой замыкала человѣка въ заколдованномъ кругу представленій.

Основа этой философіи въ томъ, что міръ земной—копія и постоянное воспроизведеніе небеснаго. Поэтому небо—великая книга прошлаго и будущаго. Небо раздѣлено на тѣ же три сферы, что и нижній, человѣческій міръ: тамъ также область воздуха, земля въ видѣ горба и океанъ, который, кругомъ земли и подъ землей, образуетъ собой адскую бездну. На небѣ тѣ же великія рѣки, та же столица міра, тѣ же святыя мѣста, что и на землѣ.

Въ небесныхъ явленіяхъ господствуетъ строгая законмѣрность. Два великія свѣтила совершаютъ правильные круги, періодически сходятся и расходятся. Большія кольца повторяются въ малыхъ и обратно, циклъ крупныхъ періодовъ воспроизводитъ кругъ короткихъ. Каждый день свѣтило рождается, достигаетъ силы, умираетъ, чтобы вновь возродиться. Въ годовомъ кругу та же смѣна возрастовъ, то же оживаніе и умираніе. Тѣ же фазы проходитъ и весь міръ, если его понимать какъ громадный вѣкъ: у него есть своя весна, свое рожденіе, своя смерть, и для него возможно новое возрожденіе.

Вѣчно повторяющіяся явленія и сочетанія не только написаны въ смѣняющихся катастрофахъ большихъ и малыхъ круговъ: они также закрѣплены въ сотнѣ неподвижныхъ символовъ. Солнце и мѣсяцъ считаются двумя близ-



печами, которые постоянно встрѣчаются и разлучаются: одинъ бываетъ наверху въ райскомъ сіяніи, въ то время какъ другой скрытъ подъ землей, въ аду и темнотѣ. По этому великому примѣру фигуры близнецовъ отыскиваются всюду: они разсѣяны въ видѣ двойныхъ звѣздъ по всему небу. Міръ начался съ великаго единоборства: сіяющій богъ разрубилъ дракона, царившаго въ водѣ, и изъ его двухъ половинъ сотворилъ небо и землю. Но богъ самъ потомъ померкъ, низошелъ въ океаническую бездну и былъ поглощенъ морскимъ чудовищемъ. Въ знакъ этихъ событій на небѣ начерчены неизгладимо въ видѣ созвѣздій великое море съ рыбами, водолеемъ и т. д.; тамъ поднимается великій охотникъ или боецъ, тамъ тянется страшный драконъ, его противникъ, тамъ распростерся китъ, глотающій свѣтлаго бога.

Итакъ, въ мірѣ установленъ вѣчный круговоротъ. Онъ открывается съ событій въ началѣ вещей и кончается послѣдней катастрофой. Но законъ мірового круга есть въ то же время судьба cadaго періода, каждой доли цѣлаго, онъ отражается въ каждой капелькѣ, чувствуется въ біеніи cadaго сердца. И вмѣстѣ съ тѣмъ законъ этотъ въ его символическомъ начертаніи изображенъ сіяющими вѣчными знаками въ міровомъ пространствѣ. Онъ составляетъ сущность историческаго теченія вещей, но онъ также стоитъ въ видѣ сжатой обозримой глазомъ формулы.

Въ примѣненіи къ человѣческимъ дѣламъ это значитъ, что вся исторія написана впередъ; надо умѣть только развертывать страницу за страницей великой божественной книги. Впередъ обозначена также жизнь и судьба cadaго отдѣльнаго человѣка: въ ней должны отразиться комбинаціи міровыхъ круговъ и кругообразныхъ волнъ.

Эти мысли получили особенно детальную и конкретную

форму. Вѣрили, что существуетъ небесная божественная исторіографія и бухгалтерія. Особый богъ—секретарь и протоколистъ—пишетъ общую лѣтопись міра; онъ пишетъ также біографію cadaго челоѣка. Онъ подводитъ каждому его моральный бюджетъ, вычисляетъ одинъ итогъ на «доскѣ добрыхъ дѣлъ» и другой на «доскѣ грѣховъ». При этомъ любопытная непослѣдовательность въ разсужденіяхъ людей. Они знаютъ, что небесныя книги непогрѣшимы. Тѣмъ не менѣе они думаютъ, что богъ-писецъ своей работой можетъ удлинять и сокращать дни людей. Благочестивый молеельщикъ проситъ небеса, чтобы было побольше записи въ доскѣ его добрыхъ дѣлъ, и чтобы разломали или бросили въ воду доску его грѣховъ. Непослѣдовательность эта, однако, кажется мнѣ, еще ярче выражала общее вѣрованіе. Челоѣкъ такъ вѣрилъ въ непрекаемую силу небесной лѣтописи, что для отклоненія, измѣненія своей судьбы онъ видѣлъ лишь одну возможность: если сдвинется, если перемѣнится самъ божественный оригиналъ. Скорѣе, казалось ему, вѣчный законъ самъ нарушится, чтобы спасти бѣдное челоѣческое существо: но что должно остаться нерушимымъ, это—связь небеснаго круга и земного; внизу должно безусловно повториться то, что начертано наверху. Кто хочетъ что-нибудь измѣнить на землѣ, долженъ знать, что это возможно лишь въ случаѣ, если высшія силы перестановятъ вѣчныя образцы всѣхъ вещей.

Всѣмъ извѣстно, что на этой философіи мірозданія и мірокруженія основана была астрологія, гаданіе по небесной книгѣ. Но астрологія была только однимъ изъ проявленій великой символистической системы; она была доступна немногимъ лицамъ, прошедшимъ огромный кругъ знаній, хотя знаній вполне фиктивныхъ на нашъ взглядъ.



Между тѣмъ система въ цѣломъ служила живой силой для массы людей и забирала всѣ стороны повседневной жизни.

Человѣческая забота и мысль должны быть распределены по кругамъ и отрѣзкамъ круговъ, совершаемыхъ свѣтилами. Число главныхъ свѣтилъ, затѣмъ числа, выражающія періодичность ихъ хода и повтореніе круговыхъ долей, эти числа, пять, семь, двѣнадцать, шестьдесятъ, стали священными. Нужно, чтобы было двѣнадцать судей или свидѣтелей, иначе не замкнется таинственный кругъ, въ средѣ котораго только и возможенъ прочный приговоръ. Для божьяго дома нужно семь этажей. Шестидесять колебаній, шестьдесятъ ударовъ, это—великій шагъ временъ: въ году шесть разъ шестьдесятъ дней; шестьдесятъ часовъ составляютъ важный періодъ; затѣмъ идутъ шестьдесятъ минутъ, шестьдесятъ секундъ—вплоть до мельчайшаго дѣленія, почти равнаго біенію пульса.

Событія небеснаго міра воспроизводились въ сотнѣ праздничныхъ обрядовъ, игръ, поэтическихъ и историческихъ рассказовъ. Вотъ примѣръ: начало года, это—борьба маленькаго, только что народившагося божка противъ чудовищнаго, но обезсилѣвшаго исполина, такъ какъ прошлый годъ неизмѣримо больше начинающагося, но онъ уже прожить, его силы нѣтъ. Этотъ мотивъ повторяется потомъ въ историческомъ сказаніи о борьбѣ Давида съ Голіаѳомъ, а это сказаніе имѣетъ аналогіи чуть ли не у всѣхъ народовъ.

Вотъ другой примѣръ. Зимою во время міровой ночи свѣтлый богъ проходитъ черезъ небесный адъ, т.-е. океаническую сферу, водяную бездну: онъ плыветъ по ней на кораблѣ и пристаетъ къ противоположному берегу. Затѣмъ всѣ боги собираются на веселое пиршество, передъ

которымъ обсуждаютъ судьбы міра въ предстоящую эпоху. Въ это время міръ кажется перевернутымъ, небеса стоятъ низомъ вверхъ, южная половина сферы, область свѣта, видна ночью надъ головой. Отсюда всѣ эти новогодніе и масленичные обычаи, которые еще теперь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Европы сохранили многія старинныя принадлежности: 'корабль на колесахъ, это вѣдь и есть буквально «карнаваль», т.-е. морская телѣга, затѣмъ огромное чучело прошлаго года, осужденнаго на провалъ и сожженіе, маски и каррикатуры, смыслъ которыхъ изобразить міръ наизнанку, кверху ногами, въ смѣшномъ противорѣчій съ собою.

Сейчасъ все это—слабые, разрозненные знаки когда-то очень шумной, захватывавшей всѣ народные слои смѣны символическихъ дѣяній и представленій, которыя однообразно и могущественно колебали человѣческія чувства. Мы не можемъ въ достаточной мѣрѣ представить себѣ, какъ широко была распространена эта символика.

Рядомъ съ небесной символикой и съ нею сплетаясь, жила другая крупная система, которую я назвалъ бы символикой душевныхъ кризисовъ человѣка. Психическая основа ея, мнѣ кажется, понятна. Жизнь чувствъ у стариннаго человѣка отличалась бурнымъ стихійнымъ характеромъ. Среди счастья, успѣха онъ отдавался необузданной радости, вызывающему высокомерію. Неудачи вызывали въ немъ продолжительное и глубокое уныніе. Въ гнѣвѣ, раздраженіи онъ не зналъ мѣры. У современныхъ малайцевъ сохранился характерный въ этомъ отношеніи обычай. Иногда человѣкъ подъ вліяніемъ тяжелаго потрясенія, охваченный бѣшенствомъ, бросается въ дикое бѣгство; бѣда попасться ему на дорогѣ, такъ какъ онъ слѣпо бьетъ и сокрушаетъ все, что встрѣтится; но въ свою оче-



редь мѣстное право не знаетъ и для него пощады: какъ дикаго звѣря всякій можетъ его пристрѣлить.

Человѣкъ всегда старался регулировать жизнь своихъ чувствъ, которыя такъ сильно расшатываютъ все его существованіе. Онъ замѣтилъ, что напряженныя состоянія души смѣняются противоположными, напр., вдохновеніе и увѣренность сопровождаются сомнѣніемъ, энергичный порывъ—апатіей. Онъ пришелъ къ заключенію, что въ мірѣ чувствъ есть какой-то законъ возмездія, точно существуетъ отплата, равная тому, что положилъ, внесъ человѣкъ. Часто сіяющая радость, гордое сознаніе удачи и торжества сверхъ границъ сопровождается гибелью, паденіемъ, разгромомъ. Если это такъ, то, очевидно, и обратно—страданія, приниженность, разстройство чувствъ могутъ привести къ противоположнымъ результатамъ: они могутъ купить человѣку радость; чѣмъ крупнѣе будетъ цѣна, чѣмъ тяжеле будетъ искупительная работа, тѣмъ выше, тѣмъ прочнѣе должно быть пріобрѣтеніе.

Изъ этого факта смѣны чувствъ человѣкъ сдѣлалъ общеобязательный законъ. Онъ рѣшилъ: пусть въ жизни каждаго будетъ испытаніе, страданіе, потеря. Страданіе неизбежно и оно полезно: оно возвышаетъ, очищаетъ душу, даетъ высшую радость. Если нѣтъ настоящихъ мученій, пусть будутъ мыслимыя, фиктивные, воспроизведенныя. Но пускай испытанія проходятъ въ стройной очереди, чтобы осуществился законъ возмездія. И человѣкъ ставитъ себѣ различныя вѣхи для напоминанія, фиксируетъ траурные и торжественные дни, размѣряетъ сроки для тѣхъ или другихъ обязательныхъ и очередныхъ душевныхъ состояній.

Но мы знаемъ уже, какова будетъ характерная перестановка и смѣшеніе понятій: психическій законъ не-

премѣнно долженъ быть и міровымъ. Обратите вниманіе на обычную черту въ началѣ новой религіозной проповѣди: основатель грозно призываетъ къ покаянію, возвѣщаетъ, что наступилъ моментъ суда совѣсти для всѣхъ людей, суда безпощаднаго и окончательнаго. Но этотъ мотивъ нечувствительно переходитъ въ другой, въ ожиданіе суда Божія, т.-е. міровой катастрофы; а съ нимъ сплетается еще третій, призывъ къ суду народному, ожиданіе катастрофы исторической, въ которой наглядно выразится торжество правды.

Итакъ, періодическая, неизбежная драма души необходимо должна быть воспроизведеніемъ вѣчнаго символа. Слагается представленіе, что божество въ старину пережило подобный кризисъ, и люди должны его вовѣки копировать. Богъ или герой смирился, вытерпѣлъ величайшія униженія, бичевалъ себя покаяніемъ и за это былъ возвышенъ надъ всѣми существами, возсіялъ въ вѣнцѣ славы; или даже онъ понесъ послѣднее, худшее страданіе, смерть, гибель всѣхъ чувствъ, и затѣмъ ожилъ, возродился къ болѣе чистой и свѣтлой второй жизни.

Крайне разнообразны тѣ картины и дѣйствія, въ которыхъ люди воспроизводятъ божественную норму своей чувственной жизни. Извѣстенъ драматическій праздникъ, вводившій весь народъ аѳинскій изъ его города. Происходилъ рядъ дѣйствій: сначала симулировали смерть, погруженіе во мракъ, блуждали въ темныхъ ходахъ, не спали ночей, проводили ихъ въ безпокойномъ ожиданіи или мертвой подавленности; все это была подготовка къ тому, чтобы выйти потомъ къ внезапному свѣту и почувствовать рѣзко моментъ возрожденія. Въ Египтѣ люди въ теченіе долгаго срока оплакивали умершаго бога, хоро-



нили его, усиливали, сгущали чувство отчаянія, чтобы поднять острую силу лѣкарства надежды.

Тысячи и миллионы людей привыкли регулировать свои настроенія, жизнь своихъ чувствъ по періодическимъ цикламъ символическихъ событій. Этого мало: и фантазія ихъ подчинялась тѣмъ же отвердѣвшимъ типамъ и рубрикамъ; воображеніе постоянно направлялось все по тѣмъ же линіямъ общечеловѣческой драмы.

Въ Византіи существовалъ своеобразный пасхальный обычай: императоръ бралъ на себя главную и единственную роль великой драмы. Онъ показывался народу въ символической одеждѣ Христа, воскресшаго и вышедшаго изъ могилы; золотыя ленты обвивали его тѣло и поддерживали наброшенный на него бѣлый саванъ; въ одной рукѣ онъ держалъ скипетръ въ формѣ креста, въ другой—шелковый красный мѣшочекъ, въ которомъ была собрана горсть могильнаго праха. Каждый годъ вѣрующіе могли видѣть воочию божественную мистерію; въ ея исполнителѣ на моментъ сливались личности земного и небеснаго властителя. Въ этомъ изображеніи, отдѣленномъ отъ всего обыкновеннаго и единичнаго, они узнавали свой собственный душевный кризисъ, свой собственный упорядоченный поворотъ отъ мрака къ свѣту.

Въ какой мѣрѣ воображеніе отдѣльной личности подчиняется существующему символическому циклу, можно, напр., судить по видѣніямъ и легендамъ мистиковъ. Беру наудачу рассказъ нѣмецкой монахини XIII вѣка. Фантазія визионерки пытается олицетворить душевный процессъ; свои порывы, колебанія и свое просвѣтлѣніе она изображаетъ въ видѣ восхожденія души въ небесные края.

Душа подавлена сознаниемъ своего безсилія. Она думаетъ, что недостойна таинства, потому что у нея нѣтъ

добрыхъ дѣлъ, есть только благія намѣренія. Тогда Богъ отнимаетъ у нея земныя чувства, и она видитъ себя въ прекрасной церкви. Приходятъ юноши и разбрасываютъ цвѣты, ученики зажигаютъ свѣчи. Входитъ Іоаннъ Креститель, длинный, худощавый человѣкъ въ бѣдной разорванной одеждѣ, и кладетъ на алтарь бѣлаго ягненка: идетъ евангелистъ Іоаннъ съ нѣжнымъ, терпѣливо кроткимъ видомъ, неся въ рукахъ орла, затѣмъ апостоль Петръ. «простоватый собой», а за ними «толпа здоровыхъ ребятъ царства небеснаго» наполняетъ всю церковь. Бѣдая душа прячется въ церковномъ углу, потому что на ней плохая одежда. Но черезъ минуту она уже видитъ себя въ красномъ одѣяніи, сотканномъ изъ божественной любви. Въ это время Божія Матерь, которая стоитъ въ церковномъ хорѣ на переднемъ мѣстѣ, манитъ ее къ себѣ, и душа подходитъ, какъ «ворона къ горлицѣ». Начинается обѣдня. Небесная Царица велитъ Іоанну Крестителю исповѣдать бѣдную душу. Она подходитъ къ насхальной жертвѣ, ягненку на алтарѣ. Богоматерь даетъ душѣ золотую монету, чтобы заплатить за жертву—это значитъ пробуждаетъ ея волю. Во время причащенія совершается чудо: душа вкушаетъ самого агнца, истекающаго кровью, и чувствуетъ свое соединеніе съ божествомъ: она видитъ глазами Божьими, слышитъ Его ушами, говоритъ Его устами, ей кажется, что нѣтъ у нея другого сердца, кромѣ сердца Божія.

Вы видите, какъ своеобразно вошли въ эту картину реалистическіе элементы. Впечатлѣнія окружающаго быта очень ярки и живы, визионерка-монахиня несомнѣнно—большая художница, но ея реалистическій запасъ ушелъ весь въ условно-неподвижную схему.

Безконечно велико число примѣровъ подобной символи-



зації. Но намъ не нужно на нихъ останавливаться. Основной фактъ простъ и понятенъ. Символь становится сильнѣе непосредственной дѣятельности, энергіи и впечатлительности человѣка; къ нему тяготѣютъ всѣ отдѣльныя воспріятія. Впечатлѣнія утрачиваютъ самостоятельное значеніе и уже не могутъ собраться въ другія комбинаціи помимо тѣхъ, которыя врѣзались у человѣка какъ будто неизгладимыми мозговыми извилинами.

На рядѣ примѣровъ мы видѣли, какъ съ развитіемъ сознательной жизни человѣкъ регулировалъ свои впечатлѣнія, свои знанія и чувствованія. Отъ хаотическаго неорганизованнаго реализма онъ переходилъ всюду къ стройной систематикѣ понятій и дѣйствій; но при этомъ онъ становился какимъ-то крѣпостнымъ своихъ умственныхъ созданій. Средства, служившія ему для организаціонной работы, превращались въ тиранническія силы, получавшія власть надъ нимъ; онъ придавливалъ свое сознаніе неподвижной громадой символовъ, и затѣмъ многія поколѣнія съ неизбежностью вращались въ кругу разъ сложившихся формулъ и священнодѣйствій.

Безъ сомнѣнія, мы все болѣе и болѣе отодвигаемся отъ этого вѣка символизма и свойственныхъ ему представленій. Въ началѣ эпохи новоевропейской культуры я не знаю вещи, которая въ этомъ отношеніи была бы болѣе характерна и выразительна, чѣмъ знаменитый діалогъ Джордано Бруно «Изгнаніе торжествующаго звѣря». Въ умѣ смѣлаго мыслителя невѣроятно раздвинулось понятіе о вселенной; вмѣсто тѣсной тверди небесной съ землею по срединѣ онъ представляетъ себѣ безконечное множество міровъ. Стараясь разбить старыя рамки мысли, онъ вмѣ-

стѣ съ тѣмъ разрушаетъ старую символику, связанную съ картиной неподвижнаго неба. Онъ осмѣиваетъ мифологическія названія созвѣздій и соединенныя съ ними представленія о волшебномъ воздѣйствіи этихъ фиктивныхъ небесныхъ тѣлъ на земныя отношенія; вотъ этого звѣря символизма, долго торжествовавшего надъ умами, онъ хочетъ прежде всего изгнать, чтобы открыть просторъ «солнцу знанія и свѣту разума».

Въ самомъ дѣлѣ, нашъ постоянный анализъ, перекрестный и расчленяющій группы представленій, разбиваетъ тѣ симметрическія идеи, тѣ стройные узоры, которые внушены были жаждой душевнаго успокоенія. Въ новой наукѣ категоріи не могутъ казаться отраженіями неизмѣнныхъ вѣчныхъ образцовъ, законы отношеній—творческими силами; мы слишкомъ привыкаемъ видѣть въ нашихъ идеяхъ лишь мысленные разрѣзы вещей.

Мы назвали предшествующія эпохи познанія—первый вѣкомъ *хаотическаго реализма*, второй вѣкомъ *символизма*: мы могли бы назвать свое время по его характернымъ приѣмамъ познанія вѣкомъ *организованнаго реализма*.

Возможно ли среди него новое возрожденіе символистическаго міровоззрѣнія? Способенъ ли человѣкъ опять такъ сжаться, такъ сузить кругъ своихъ представленій, чтобы видѣть въ себѣ центръ міра, чтобы нечувствительно сливать свои душевныя состоянія съ явленіями окружающаго міра, чтобы считать законы своего духа законами міровыхъ отношеній? Если нѣтъ, отпадаетъ и побужденіе для символистическихъ реставрацій. Но есть и объективный показатель, чтобы судить о возможности возрожденія.

Новый символизмъ весь еще находится въ періодѣ про-



теста и обѣщаній; однако, на самомъ порогѣ своихъ дѣйствій онъ безнадежно борется съ одной технической трудностью: онъ не можетъ найти и выработать общепонятный языкъ. Въ искусствѣ обращаются къ архаическому костюму, къ стариннымъ приѣмамъ художественнаго изображенія. Мы видимъ либо подражаніе формамъ жесткой рѣзьбы по дереву XVI вѣка, либо топорности и связанности фигуръ въ искусствѣ «примитивовъ» какого-нибудь XIV вѣка, либо примѣненіе условно-рѣзкихъ густо черныхъ линій очертаній, либо заимствование замысловатой игры чертежа изъ священно-декоративной живописи. Цѣль всѣхъ этихъ приѣмовъ большею частью не въ томъ, чтобы дать намъ историческія репродукціи обстановки или горизонтовъ зрѣнія старыхъ временъ. Нѣтъ, въ необычныхъ чертахъ хотятъ отыскать тотъ таинственный міръ, который былъ доступенъ лишь неиспорченному зрѣнію натурального человѣка. Думаютъ, что старое искусство въ своихъ символахъ обладало ключомъ къ этому секрету. Но то, что человѣкъ стараго времени считалъ своей тайной, такъ и остается чужой тайной.

Вѣдь таинственность возникла изъ чуждой намъ игры сливающихся представленій. Вѣдь старинный символизмъ, когда превращалъ свой психическій кризисъ въ историческій фактъ или когда, обратно, ощущалъ въ своихъ душевныхъ колебаніяхъ повтореніе міровыхъ катастрофъ, не замѣчалъ этого превращенія, не признавалъ его; онъ переживалъ его. Мы видимъ теперь ясно, какіе элементы онъ смѣшивалъ вмѣстѣ. Какъ мы можемъ, зная существо превращенія, поддаться его иллюзіи? И развѣ этому поможетъ воспроизведеніе старыхъ знаковъ, старыхъ виѣщнихъ формъ, иногда даже техническихъ несовершенствъ прежняго искусства? Притомъ усилія остаются

раздробленными, символы, которые намъ предлагаютъ, индивидуалистичны. Между тѣмъ, символизмъ нуждается въ символикѣ, въ большой готовой, закрѣпившейся въ умахъ системѣ активныхъ воспламеняющихъ образовъ, въ такой общепонятной системѣ, къ которой онъ могъ бы постоянно ашелировать. Когда такая система есть, къ ея формамъ, какъ мы видѣли, тяготѣютъ всѣ умственные и художественныя комбинаціи. Но она требуетъ вѣковой сложной коллективной работы. Мы можемъ думать, что соотвѣтствующее творчество сейчасъ изсякло.

Но гдѣ же, въ чемъ же мотивъ реставрацій символизма? Безъ сомнѣнія, новыя умственные привычки потребовали и требуютъ большихъ жертвъ. А между тѣмъ въ символикѣ человѣкъ ощущалъ непосредственно близкую опору; въ ней онъ имѣлъ постоянно доступное и легкое утѣшеніе, когда испытывалъ душевныя волненія и колебанія; въ ней онъ обладалъ размѣренными періодами, прочными и покойными остановками для организаціи своихъ воспріятій. Отказъ отъ этихъ традиціонныхъ опоръ составлялъ всегда для цѣлыхъ поколѣній и для отдѣльныхъ лицъ большой и страшный шагъ. Мы понимаемъ, что всякій разъ, когда этотъ шагъ дѣлался особенно рѣшительно, получалась реакція. Множество людей выражали сожалѣніе о потерянномъ равновѣсіи и дѣлали попытки возстановить долю утраченнаго наслѣдія. Это и есть психологія возврата къ символизму.

Остановимся нѣсколько на ея характерныхъ мотивахъ. Одна попытка въ этомъ смыслѣ у всѣхъ на памяти: это—система понятій художественную и школьнаго классицизма въ XIX вѣкѣ. Мы имѣемъ здѣсь всѣ черты символистической реставраціи. Вѣдь рѣчь шла о томъ, чтобы сдѣлать характеръ и понятія современныхъ людей воспроизведе-



ніемъ нѣкоего идеальнаго міра; черты этого идеала хотѣли прочитатъ въ общихъ вѣчныхъ свойствахъ людей и въ то же время ихъ видѣли закрѣпленными въ неувядающихъ образцахъ исчезнувшей старины. Призывъ «назадъ», отождествленіе идеальнаго міра съ золотымъ символическимъ вѣкомъ и программа копировать безъ конца вѣчные символы.

Греки и римляне были въ глазахъ первыхъ направителей классицизма только символами райскаго состоянія молодого *человѣчества*. «Греки,—говоритъ одинъ изъ нихъ въ началѣ XIX вѣка,—представляли собой картину сельской простоты и невинности среди свѣжаго, бодрящаго утра, съ котораго начался великій міровой день. Они еще не знали сомнѣнія, которое возникаетъ въ душѣ послѣ паденія, они творили правду по чувству внутренней необходимости, они пренебрегали всѣмъ чужимъ безъ всякаго сомнѣнія, они развились самопроизвольно въ безукоризненной чистотѣ и стали тѣмъ образцомъ, на которомъ Богъ хотѣлъ показать, что достижимо для рода человѣческаго».

Почему же такъ необходимо возродиться живої водой этого вѣчнаго источника силы? Какое основаніе у современнаго общества отчаиваться въ себѣ и искать спасенія въ могущественныхъ символахъ старины? На этотъ вопросъ можно найти очень опредѣленный отвѣтъ. Вотъ характеристика, которую нѣмецкій поэтъ конца XVIII в. (Гёльдерлинъ), увлеченный классической древностью, даетъ современнымъ ему людямъ: «Варвары изстари, еще больше одичавшіе благодаря прилежанію и наукѣ, глубоко неспособные къ чувству божественнаго, испорченные, скудоумные и склонные къ крайностямъ, далекіе отъ гармоніи, какъ глухо дребезжащіе осколки брошенной по-

суды. Нѣтъ народа болѣе растерзаннаго. Я вижу ремесленниковъ, мыслителей, священниковъ, господъ и слугъ, молодыхъ и старыхъ, но не вижу людей. Развѣ это не поле битвы, на которомъ раскинуты лишь разорванные члены? Все святое, все, что даже у дикарей сохраняется въ божественной чистотѣ, принижено у этого народа, у этихъ варваровъ, во все вносящихъ расчётъ».

Одинъ изъ выдающихся политическихъ дѣятелей Германіи нѣсколько позже пишетъ: «Наша современность ведётъ, собственно говоря, лишь призрачное существованіе. Ея жизнь двоится между грустнымъ влеченіемъ къ исчезнувшему міру и неувереннымъ исканіемъ оцупью міра будущаго. Среди этого безнадежнѣйшаго положенія фантазіи и чувства люди жаждутъ успокоенія и находятъ его лишь въ древности» (В. Гумбольдтъ).

Итакъ, мысли о шатаніи умовъ, о неустойчивости настроеній, вотъ что страшило и заставляло искать опоры въ золотомъ снѣ прошлаго. Первые поборники классицизма были, правда, въ большинствѣ сторонниками политическаго либерализма и философскаго раціонализма. Но въ открытое ими идеальное убѣжище въ слѣдующую эпоху нашли себѣ путь всѣ страхи, вызванные политической революціей и религіознымъ отрицаніемъ. Жажда умственнаго успокоенія получила новый оттѣнокъ: начали думать, что идеальный міръ древности можно превратить въ укрѣпленный замокъ, въ монастырь, за стѣнами котораго молодой умъ будетъ совершенно застрахованъ отъ соблазновъ. Одинъ изъ круныхъ нѣмецкихъ историковъ въ первой четверти XIX в. (Нибуръ) съ ужасомъ смотрѣлъ на разрушительную, какъ ему казалось, политическую работу своего времени. Отъ ея вліянія онъ хотѣлъ особенно предохранить свое потомство. Онъ обѣщалъ, въ



случаѣ, если у него родится сынъ, повести его воспитаніе въ духѣ древнихъ.

Онъ даетъ сыну римское имя. Съ первыхъ же лѣтъ отецъ начинаетъ говорить съ нимъ по-латыни; онъ читаетъ мальчику древнихъ авторовъ и увѣренъ, что ребенокъ принимаетъ боговъ и героев за историческія существа. Въ видѣ уступки христіанству онъ, разумѣется, считалъ нужнымъ прибавлять, что древніе не въполнѣ знали истиннаго Бога, и что ихъ боги были потомъ свергнуты; но это не портило, по его мнѣнію, главнаго результата: «древній міръ, въ глазахъ моего сына, истинно настоящій, новый же представляетъ собой для него нѣчто случайное; древняя исторія и міоологія въ такой мѣрѣ вошли въ его сознаніе и близки ему, какъ у римскаго мальчика 1800 лѣтъ тому назадъ».

Мысль о такомъ нормальномъ воспитаніи въ спасительномъ предразсудкѣ и сейчасъ не исчезла. Я читаю у новѣйшаго педагога сожалѣніе, что дѣтямъ 11—12 лѣтъ сообщаютъ о шаровидности земли и вращеніи ея вокругъ солнца, т.-е. о явленіяхъ, которыхъ они сами доказать и провѣрить вѣдь не могутъ. «Я желалъ бы имъ,—говоритъ педагогъ,—въ слѣдующемъ классѣ учителя, который бы высмѣялъ хорошенько ихъ мнимую научность и наполнилъ бы ихъ головы греческими сказками, гдѣ наивно изображена земля въ видѣ круглой доски, окруженной моремъ, а небо—опрокинутой чашкой; это—вѣдь болѣе естественное для нихъ міровоззрѣніе».

Не забудемъ одного изъ важнѣйшихъ мотивовъ этой воспитательной системы. Люди тянулись къ золотому вѣку, къ періоду невинно-правдиваго человѣчества потому, что имъ казались страшными тѣ сомнѣнія, колебанія, какія могла вызвать въ умахъ мысль новаго времени. Эти страхи

были всего рельефнѣе формулированы реакціонными романтиками начала XIX в. Мы найдемъ у нихъ много мотивовъ, напоминающихъ новый символизмъ.

Романтики возмущались результатами просвѣщенія предшествоващаго столѣтія, они призывали всѣ силы противъ разрушительной работы, сдѣланной наукой и критицизмомъ. Они говорили, что «истребленъ энтузіазмъ; разсудочный анализъ убилъ фантазію и чувство, нравственность и любовь къ искусству, будущность и прошлое». «Онъ обратилъ безконечную творческую музыку вселенной въ однообразный стукъ громадной мельницы, влекомой теченіемъ случая и плывущей по его волнамъ,—мельницы, которая лишена строителя и управителя, представляетъ собой *perpetuum mobile* и крошитъ сама себя».

Въ страхъ заодно достается и самому элементу свѣта, который такъ возлюбило просвѣщеніе: «вотъ онъ,—говорили реакціонеры,—баловень просвѣтителей, этотъ свѣтъ, который такъ дорогъ имъ своею дерзостью и вѣрностью точной наукѣ». Эти слова очень характерны: къ нимъ примыкаютъ различныя идеализаціи темной ночи, туманности и неясности, дремоты и сна, въ противоположность всему, что ярко, отчетливо, что дневной свѣтъ.

Еще другая идеализація реакціонной эпохи начала XIX вѣка своеобразно напоминаетъ нѣкоторыя новыя формы протеста противъ разсудочности; это—возвеличеніе спутанной головы, восхваленіе умственного безпорядка въ сравненіи съ яснымъ мышленіемъ. «Чѣмъ болѣе спутана мысль человека, тѣмъ выше она потомъ поднимается. Упорядоченный умъ быстро входитъ въ дѣло, но такъ же быстро покидаетъ его. Спутанная голова долго и мучительно борется съ затрудненіями; но, овладѣвъ собой, она достигаетъ небесной прозрачности и самопросвѣтлѣнія».



Въ концѣ-концовъ вершиной этихъ страховъ является идеализація мудрыхъ церковныхъ правителей среднихъ вѣковъ, которые истребляли всякій духъ умственного протеста и критики. «Справедливо глава церкви противился дерзкому вырожденію человѣческихъ наклонностей насчетъ святого смысла вещей; справедливо онъ возставалъ противъ несвоевременныхъ открытій въ области знанія. Не даромъ онъ не позволялъ смѣлымъ мыслителямъ утверждать, что земля—незначительная блуждающая планета; онъ вѣдь хорошо зналъ, что люди, потерявъ уваженіе къ своему жилищу и земной родинѣ, утратятъ также уваженіе къ небесному отечеству и къ своему происхожденію оттуда; онъ зналъ, что тогда они предпочтутъ безграничной вѣрѣ ограниченное знаніе; они пріучатся презирать все великое и чудесное и видѣть въ немъ лишь мертвое дѣйствіе законовъ» (Новалисъ).

Впрочемъ, легко убѣдиться въ безсиліи научной мысли. Легко видѣть всю разницу двухъ путей: «одинъ—тяжелый, безъ просвѣта и видимой цѣли съ безчисленными искривленіями, это—путь опыта; другой—почти моментальный прыжокъ, это—путь внутренняго созерцанія. Въ одномъ случаѣ нами руководитъ разсудокъ, который сбивается постоянно мыслью о своей пользѣ, который ослѣпленъ безконечнымъ числомъ новыхъ случайностей и сплетеній. Не вѣрнѣе ли насъ проведетъ дѣтская наивная простота черезъ лабиринтъ явленій на землѣ?» Но разъ вся сила во внутреннемъ созерцаніи, человѣкъ можетъ сдѣлаться «магомъ міра, чудотворомъ и волшебникомъ». Отдаваясь этому созерцанію, человѣкъ чудеснымъ образомъ привлекаетъ на землю потусторонній міръ, небеса; онъ «наполняетъ этотъ видимый свѣтъ чудесами, таинственными тѣнями и привидѣніями».

Я привелъ эти выраженія реакціонныхъ романтиковъ потому, что они близко напоминаютъ мотивацію нѣкоторыхъ новыхъ теоретиковъ символизма. Не тѣ ли самые страхи просыпаются теперь, не тотъ ли самый протестъ противъ механичности научнаго міровоззрѣнія, противъ мучительныхъ путей науки и ея конечнаго бездушія; не тотъ ли самый слышится призывъ къ внутреннему углубленію, внутреннему созерцанію, въ тайникахъ котораго внезапнымъ отраженнымъ свѣтомъ долженъ засіять потусторонній міръ? Это—психологія малодушія. Нѣтъ терпѣнія, нѣтъ мужества вести наблюденіе, направлять критику, признаваться въ ограниченности познанія, и вотъ—поиски какого-то потайного кратчайшаго хода помимо научныхъ путей.

Но въ этихъ поискахъ особой дороги, тѣмъ временемъ можетъ ослабѣть чутье къ реальному, вниманіе къ дѣйствительности.

То философское направленіе, о которомъ я упомянулъ вначалѣ, и которое придаетъ такую цѣну внутреннему созерцанію, поражаетъ именно такимъ невниманіемъ къ конкретному научному матеріалу исторіи, права, народовѣдѣнія, психологіи. Оно легко и свободно передвигаетъ свои воздушные термины, но и предпосылки, и выводы его остаются внѣ пространства и времени.

Мнѣ приходитъ по этому поводу на память утопическая картина, принадлежащая одному замѣчательному новому соціологу \*). Утопія состоитъ въ томъ, что человѣчество, вслѣдствіе ослабленія свѣтовой энергіи солнца и

---

\*) *Tarde*. Fragment d'histoire future въ *Revue internationale de sociologie*, 1896.



охлажденія земной коры, вынуждено покинуть земную поверхность и уйти въ подземныя сферы; оно обращаетъ старый мифологическій адъ въ человѣческій рай и переноситъ туда все совершенство своей культуры.

Новый подземный міръ и новый вѣкъ человѣческаго сознанія отличаются тѣмъ, что изъ круга зрѣнія людей исчезла вовсе внѣшняя живая природа: нѣтъ солнца, неба и разнообразнѣйшей игры красокъ, нѣтъ горизонта, нѣтъ пейзажа, возвышенностей, рѣкъ, лѣсовъ. Отсутствуетъ весь животный и растительный міръ; остался только человѣкъ да камни. Нѣтъ больше дѣленій на государства и націи, нѣтъ мѣстныхъ особенностей, нѣтъ расовыхъ характеровъ, разныхъ языковъ. Нѣтъ ни деревни, ни города; все превратилось въ дома, залы, фасады и коридоры между ними.

Реального матеріала нѣтъ; нечего наблюдать, не на чемъ дѣлать опыты. Это оказываетъ своеобразное воздѣйствіе на науку и искусство. Всѣ предметы, которые изучаются или воспроизводятся учеными и художниками, имѣютъ совершенно отвлеченный интересъ; никто не видѣлъ ни ихъ самихъ, ни чего-либо подобнаго. Исчезло само побужденіе чувствовать конкретность. Когда попробовали при помощи кинематографа и фонографа воспроизвести картину стараго надземнаго міра съ его днемъ и ночью, пѣніемъ соловья, журчаніемъ ручья и шелестомъ листвы, обитатели подземнаго рая нашли, что пресловутая симфонія старинной природы скучна и смѣшна.

Старая вселенная, о которой такъ много говорятъ, обратилась въ сплошной символъ. Ученые начинаютъ походить на прежнихъ богослововъ, которые исключительно говорили о томъ, чего не могли видѣть и провѣрить. Теологія подземной культуры, такъ же какъ схоластика, распа-

дается на секты и ереси, которые ведутъ между собою ожесточенную борьбу: «вѣдь бесполезные вопросы всегда способны волновать людей, разъ они неразрѣшимы».

Болѣе всего, разумѣется, должна процвѣтать философія. Эта область кишитъ школами, которыя жадно тянутся мыслью назадъ, къ великимъ авторитетамъ: есть нео-аристотелики, нео-кантіанцы, нео-платоники и т. д. Философія имѣетъ свою арену, свой храмъ: въ огромномъ гротѣ, украшенномъ всѣми чарами подземной архитектурной и ювелирной техники, сидятъ руководители школъ на извѣстномъ разстояніи другъ отъ друга, на гранитныхъ пьедесталахъ, окруженные группами поклонниковъ и поклонницъ.

Ничто не мѣшаетъ полету отвлеченной мысли; одна теорія другой тоньше и блестящѣе, одна гипотеза другой красивѣе, но все это—великолѣпная артистическая игра словъ, чудеснѣйшій воздушный замокъ терминологіи. Несравненная параллель въ то же время къ культу красоты, который составляетъ основу общественной жизни въ изумительныхъ дворцахъ.

Еще одна особенность этого окрыленія мысли, свободной отъ реальной основы. Изъ всей старой природы остался только человѣкъ, притомъ человѣкъ, если возможно такъ сказать, одухотворенный, поднятый надъ эмпиріей. Вотъ она—абсолютная личность, очищенная отъ всякихъ оттѣнковъ и красокъ, налагаемыхъ естественными условіями, случайностями жизни и пережитыми впечатлѣніями. Вотъ она—полная свобода для самоуглубленія, для тончайшаго изученія своего «я», выдѣленнаго отъ всѣхъ стѣсненій пространства, времени и среды. Понятно, что первое мѣсто между науками занимаетъ новая психологія, она же атомологія личнаго «я», «Наши психологи,—говоритъ изоб-



разитель подземнаго царства,—раскрываютъ намъ въ малѣйшихъ деталяхъ нашъ духъ, это—удивительнѣйшее изъ всѣхъ обществъ, эту іерархію сознаній, этотъ феодализмъ вассальныхъ психическихъ единицъ, въ которомъ наша личность образуетъ вершину».

Конечно, эта наука, будучи безпредметной, ничѣмъ не связанной съ жизнью и опытомъ, исключительно покоясь на комнатной гимнастикѣ человѣческаго духа, не заключаетъ въ себѣ большой энергіи. Она носитъ характеръ «милы безвредности»,—говоритъ лѣтописецъ подземнаго салона. «Раздѣленіе на секты и фракціи въ средѣ нашихъ философовъ несущественно. Ихъ методы и данныя одинаковы. Они, если позволено будетъ такъ выразиться, пережевываютъ одно и то же на одинъ манеръ и въ однихъ и тѣхъ же отдѣленіяхъ».

Картина, которую я вамъ передалъ, рассказана съ полною серьезностью и въ свое время была помѣщена въ ученомъ журналѣ, какъ соціальная утопія будущаго безъ всякаго комментарія. Мнѣ думается, однако, что составитель посмѣялся надъ нами и изобразилъ въ концѣ-концовъ современный научно-артистическій салонъ, въ которомъ нѣсколько чрезмѣрно презрѣли конкретную дѣйствительность и, подъ вліяніемъ символистическихъ увлеченій, отклонились отъ реализма. Вѣдь можно и видя, не глядѣть и, не будучи запертымъ, замкнуться.

Новый символизмъ со своимъ исканіемъ тайнаго внутренняго міра сквозь явный внѣшній, т.-е. безъ вниманія къ внѣшнему, стоитъ на этомъ опасномъ склонѣ. Онъ можетъ подниматься до выраженій все болѣе возвышенныхъ и красивыхъ, но по мѣрѣ того, какъ онъ будетъ дѣлаться все болѣе безпредметнымъ, онъ все меньше будетъ оказывать на насъ воздѣйствія. Мы еще пока на

земной поверхности и хотимъ, чтобы намъ говорили объ ея реальныхъ горизонтахъ, ея реальныхъ формахъ и краскахъ.

Мы хотимъ, чтобы намъ открывали идеальныя цѣли жизни; но онѣ не требуютъ загадочнаго и преувеличеннаго языка. Идеалы велики не тѣмъ, что вѣчны—это слово не вызываетъ у насъ отвѣтнаго біенія сердца—они велики тѣмъ, что человѣчны, тѣмъ, что отвѣчаютъ человѣческому достоинству нашему, человѣку нашего времени. Все, чего мы хотимъ, мы можемъ сказать конкретнымъ языкомъ нашего времени. . . .



## Общественно-историческіе взгляды Грановскаго.

(Къ пятидесятилѣтію смерти).

Въ полуторавѣковой жизни московскаго университета пѣтъ имени, которое было бы окружено болѣе свѣтлой памятью, чѣмъ имя Тимоѳея Николаевича Грановскаго. Въ послѣднее время много сдѣлано, чтобы выяснитъ значеніе его въ общественномъ движеніи середины XIX в.; нѣкоторые отрывки записанныхъ за нимъ лекцій, опубликованные въ послѣднее время, начинаютъ намъ открывать то, что можно было лишь подозрѣвать, читая простой и благородный языкъ его напечатанныхъ статей, именно, удивительную покоряющую силу его живой рѣчи, соединившей поэтическія картины съ единствомъ идеи, рѣчи, все время державшей слушателя на высотѣ борьбы за великія человѣческія начала. Но не въ одной художественности слова, силѣ убѣжденія, единствѣ міровоззрѣнія заключалась тайна вліянія Грановскаго.

Скоро послѣ смерти Грановскаго по поводу перваго изданія его сочиненій и какъ бы въ отвѣтъ на обвиненіе, почему Грановскій такъ мало писалъ, Чернышевскій далъ замѣчательную оцѣнку его дѣятельности, къ которой и въ данную минуту нечего прибавить. Русскій ученый, по мнѣнію Чернышевскаго, — служитель не столь-

ко своей частной науки, сколько просвѣщенія вообще. Въ Россіи «прежде, нежели заботиться о движеніи впередъ науки, надобно позаботиться о томъ, чтобы усвоить ее нашему обществу—подвигъ вовсе не блестящій, въ научномъ смыслѣ, подвигъ не спеціалиста, увѣнчиваемаго музою Кліо, а просвѣтителя своей націи, за отреченіе отъ обольщеній личной славы вознаграждаемаго только сознаніемъ, что онъ дѣлаетъ полезное для общества дѣло». «Грановскій понималъ это и служилъ не личной своей ученой славѣ, а обществу». Грановскій писалъ мало, потому что имѣлъ передъ собою кругъ дѣятельности, не менѣе обширный, чѣмъ литература—московскій университетъ. И Чорнышевскій заключаетъ: «Грановскій былъ однимъ изъ сильнѣйшихъ у насъ посредниковъ между наукою и нашимъ обществомъ; очень немногія лица въ нашей исторіи имѣли такое могущественное вліяніе на пробужденіе у насъ сочувствія къ высшимъ человѣческимъ интересамъ». То же самое писалъ одинъ изъ людей, близкихъ къ Грановскому, въ частномъ письмѣ: «Грановскій былъ не только профессоръ, не только ученый—онъ былъ и однимъ изъ малочисленныхъ у насъ общественныхъ людей... онъ былъ историкомъ не одного прошедшаго, но и настоящаго... помянемъ его, какъ общественнаго русскаго человѣка».

И для насъ на первое мѣсто выдвигается вопросъ, какова была общественная программа Грановскаго, и какими способами онъ проводилъ ее. Все значеніе Грановскаго можно оцѣнить только въ связи съ крупными теченіями современной ему общественно-исторической мысли.

Какъ ни различны были внѣшнія условія XIX в. у насъ и на Западѣ, однако наше образованное общество съ первыхъ десятилѣтій вѣка, тѣсное и немногочисленное



сначала, жило умственной жизнью, параллельной съ Западомъ. По временамъ, въ 1825 г., въ концѣ 50-хъ и началѣ 60-хъ годовъ, въ 1880 г. сближались и внѣшнія обстоятельства, пульсъ общественной жизни дорасталъ до настоящаго политическаго біенія, тогда параллелизмъ умственныхъ интересовъ получалъ особенно яркое выраженіе. Его труднѣе уловить въ долгіе промежутки внѣшняго застоя, не только потому, что направленія преслѣдуемыя должны были прибѣгать къ иносказаніямъ; эти направленія, силою вещей оторванныя отъ соприкосновенія съ дѣйствительностью, лишенныя практическаго приложенія, уходили вынужденно на отвлеченныя высоты и бились тамъ изъ-за метафизическихъ сущностей, когда имъ хотѣлось говорить о реальныхъ отношеніяхъ своего времени. Нѣмецкій народъ эпохи Гёте и Шиллера, когда у общества не было политической жизни, называли народомъ философовъ; имя это исчезло, потому что оно вовсе не обозначало особой народной черты, особаго національнаго свойства Германіи; оно покрывало ступень развитія, черту эпохи. Съ такимъ же правомъ и насъ можно было бы назвать до послѣдняго времени народомъ философовъ; мы были таковы, потому что это была наша горькая судьба, наши затянувшіеся годы ученія и странствованія. Но при оцѣнкѣ прожитого времени, при истолкованіи его желаній и мыслей историкъ долженъ освободиться отъ условныхъ отвлеченныхъ и маскирующихъ формъ, въ которыхъ они выражены, онъ долженъ перевести ихъ на болѣе намъ привычный реальный языкъ.

Съ такого истолкованія надо начать и характеристику идей Грановскаго.

Поколѣніе, которому въ срединѣ 30-хъ годовъ было отъ 20 до 25 лѣтъ, должно было чувствовать себя въ

периодъ повсемѣстной глухой и безнадежной реакціи. За нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ по всей Европѣ во второй разъ прошла волна освободительнаго политическаго движенія и вездѣ была разбита, и у насъ, можетъ быть, съ наиболѣе трагическимъ результатомъ. Опять поднималась философія страха и покорности, философія безсилія личности и всемогущества слѣпой внѣчеловѣческой тайны; эти идеи, съ торжествомъ указывая на совершившіеся факты, опустошали умы, разстраивали логику, закрадывались во всякую форму человѣческаго общенія, во всякую попытку объясненія соціальныхъ явленій. Посмотрите, какъ культъ безсознательнаго своей отравой одолѣлъ, замутилъ многія передовыя группы мысли на Западѣ и у насъ: онъ проникъ въ ранній социализмъ, придавши ему патріархально-религіозный оттѣнокъ, навязалъ себя широкимъ массамъ народа въ видѣ демократическаго католицизма; та же религія самоотреченія личности растворила народничество нашихъ славянофиловъ въ какую-то безформенную массу и сближала ихъ по временамъ съ такъ называемою официальной народностью, съ такими людьми и направленіями, отъ которыхъ при бѣломъ дневномъ свѣтѣ наши демократы-мистики съ ужасомъ должны были бы отшатнуться.

Даже большая научная система возникающаго позитивизма жила наполовину идеями соціальной реакціи: Контъ завидовалъ католической іерархіи и инквизиціи и копировалъ ихъ въ своей организаціи умственной и соціальной работы: его умомъ завладѣла идея порядка, въ которомъ люди—послушные колеса и винты предустановленной машины, онъ испытывалъ удовлетвореніе отъ мысли, что человѣчество вступило въ финальное состояніе, своего рода тысячелѣтнее царство Христова, въ которомъ



не нуженъ болѣе разѣдающій анализъ, а будетъ только творчество, только устроение и все по системѣ, все по указаннымъ линіямъ, въ стройномъ подчиненіи принципу умственной экономіи и дисциплины.

Для русскаго общества реакція николаевскихъ временъ имѣла еще одинъ ощутительный результатъ: она повела къ паденію культурнаго уровня, къ приниженію, измельчанію интересовъ. Университетская жизнь 30-хъ гг. въ Москвѣ и Петербургѣ представляла полное разрушеніе. Объ одномъ изъ лучшихъ сравнительно петербургскихъ профессоровъ того времени Грановскій говорилъ въ письмѣ изъ Берлина: «Я не зналъ, что такое философія, пока не пріѣхалъ сюда. Фишеръ читалъ намъ какую-то другую науку, пользы которой я теперь рѣшительно не понимаю». Видимо, связь съ научнымъ движеніемъ на Западѣ ослабѣла, преподаваніе стало ничтожно и безпринципно.

Наши сороковые годы вмѣстѣ съ сороковыми на западѣ открыли выходъ изъ темнаго лѣса реакціоннаго наслѣдія. Вмѣстѣ съ лѣвымъ гегеліанствомъ въ Германіи, вмѣстѣ съ боевымъ философскимъ и научнымъ матеріализмомъ, вмѣстѣ съ демократическими историками во Франціи и Англіи наше западничество освободилось отъ досаднаго круга мрачныхъ, обидныхъ для человѣческаго достоинства мыслей о слѣпомъ соціальномъ фатализмѣ. Грановскій, уѣхавшій за границу въ 1836 году, сразу сталъ учиться новому соціально-историческому языку; онъ примкнулъ безъ колебаній, безъ промежутка къ новому движенію и сдѣлался однимъ изъ самыхъ послѣдовательныхъ и губѣжденных его выразителей. Возвращеніе его изъ-за границы и одновременное появленіе съ нимъ нѣсколькихъ молодыхъ преподавателей въ московскомъ университетѣ

было настоящимъ событіемъ въ тогдашней русской общественной жизни: они непосредственно привезли съ собою новую соціальную философію.

Есть нѣсколько рѣзкій отзывъ Герцена о группировкѣ общественныхъ взглядовъ въ началѣ 40-хъ годовъ. Герценъ засталъ въ Москвѣ какія-то «непонятныя» партіи: всѣхъ целѣпѣе показались ему католики, затѣмъ православные, потомъ дилетанты религіи, среди нихъ славянофилы и руссофилы. Странно на первый взглядъ какъ будто само обозначеніе общественныхъ направленій по религіознымъ и даже церковнымъ принципамъ. Но оно объясняется весьма легко: главный, горячій и основной споръ вращался около вопроса, искать ли правды въ преданіи, въ святыхъ неподвижныхъ косныхъ массахъ или въ анализѣ, въ дерзаніи личности. Всѣ сторонники перваго взгляда выставляли какое-нибудь религіозное знамя. Сила Грановскаго и друзей, примкнувшихъ къ нему, состояла въ томъ, что они могли на этотъ вопросъ отвѣтить ясно и безъ всякихъ колебаній.

Новая соціальная философія была тѣсно связана съ однимъ именемъ, которое въ качествѣ магическаго символа сразу служило къ распознаванію своихъ и чужихъ, объединяло передовую группу и вызывало страхъ на противоположной сторонѣ. Это было имя Гегеля, звучавшее для поколѣній 40-хъ годовъ почти какъ имя Маркса въ послѣднемъ десятилѣтіи прошлаго вѣка. Строгановъ, самъ отправлявшій молодыхъ ученыхъ за новой наукой, за границу, говорилъ потомъ Герцену: «Я буду всѣми силами противодѣйствовать гегелизму и нѣмецкой философіи; она противорѣчитъ нашему богословію». По поводу публичнаго курса Грановскаго въ 1843 г. «Московитянинъ» спрашивалъ съ наивно ядовитымъ видомъ: «отчего Грановскій



ничего не сказалъ о Россіи? стоитъ со стороны западной науки и слышно, что намѣренъ держаться Гегеля?»

Знакомство съ курсами лекцій, которые читалъ Грановскій въ первые 8—9 лѣтъ своей университетской дѣятельности, не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что онъ вполне подчинилъ историческій матеріалъ гегелевской схемѣ. Но гегеліанскіе термины въ это время подвергались уже настолько различнымъ толкованіямъ, что надо знать, какое именно изъ нихъ принималъ Грановскій. Гегеліанство уже въ эпоху пребыванія Грановскаго за границей, стало раскалываться на двѣ партіи, консервативную и радикальную, и все болѣе перевѣса получала вторая. Правое гегеліанство не имѣло выдающихся представителей, и имъ нечего было сказать, послѣ того какъ они вмѣстѣ съ учителемъ признали, что человѣческій духъ вступилъ въ свою окончательную стадію. Лѣвые, напротивъ, обращали діалектическій методъ въ дѣятельное сокрушительное орудіе, требовали дальнѣйшаго анализа и разложенія традиционныхъ формъ мысли. Лѣвое гегеліанство стояло на томъ, что время синтеза еще не наступило; надо продолжать отрицательную работу, чтобы довести личность до полного освобожденія. У насъ будущіе радикальные дѣятели, Бѣлинскій и Бакунинъ, еще мучились въ поискахъ выхода изъ консервативнаго праваго гегеліанства, когда въ лицѣ Грановскаго появилось другое направленіе этой философіи. Это новое для русскихъ круговъ истолкованіе Гегеля дало поводъ Герцену написать слѣдующія слова: «когда я привыкъ къ языку Гегеля и овладѣлъ его методъ, я сталъ разглядывать, что Гегель гораздо ближе къ нашему воззрѣнію, чѣмъ къ воззрѣнію своихъ послѣдователей (Герценъ разумѣетъ правыхъ). Философія Гегеля—алгебра революціи, она необыкновенно освобожда-

етъ человѣка и не оставляетъ камня на камень отъ міра христіанскаго, отъ міра преданій, пережившихъ себя».

Хорошо извѣстно, что у Грановскаго не было въ натурѣ воинственности: гегеліанскія схемы никогда не обращались въ его рукахъ въ рѣжущее орудіе: но, тѣмъ не менѣе, всюду у него звучала основная мысль «лѣвыхъ»: пришелъ конецъ преклоненію передъ слѣпымъ наслѣдіемъ прошлаго, сковывающимъ личность. Среди напечатанныхъ статей, представляющихъ лишь небольшую часть его общественной «пропаганды исторіей», какъ выражался Герценъ, есть одно мѣсто необычайно опредѣленное и горячее для Грановскаго: «Многочисленная партія подняла въ наше время знамя народныхъ преданій и величаетъ ихъ выраженіемъ общаго непогрѣшимаго разума. Такое уваженіе къ массѣ неубыточно. Довольствуясь созерцаніемъ собственной красоты, эта теорія не требуетъ подвига. Но въ основаніи своемъ она враждебна всякому развитію и общественному успѣху». (Въ статьѣ о книгѣ Мишеля. Исторія проклятыхъ породъ, 1847 г.) Здѣсь Грановскій ясно обозначаетъ главнаго противника; не называя прямо славянофиловъ, онъ однако еще опредѣленнѣе осуждаетъ «мистическія толкованія, пущенныя въ ходъ нѣмецкими романтиками и принятыя на слово многими у насъ въ Россіи».

Но осужденіе направлено еще гораздо дальше. Грановскій разумѣетъ все умственное наслѣдіе европейской реакціи, которое заполонило возникающее народничество и загородило въ немъ здоровое зерно; онъ произноситъ слова еще болѣе характерныя: «массы, какъ природа, или какъ Скандинавскій Торъ, бессмысленно жестоки или бессмысленно добродушны. Онѣ коснѣютъ подъ тяжестью историческихъ и естественныхъ опредѣленій, отъ которыхъ



освобождается мыслью только отдѣльная личность. *Въ этомъ разложеніи массъ мыслью заключается процессъ исторіи*». Приговоръ массамъ здѣсь звучитъ очень сурово, почти какъ базаровское сужденіе о мужикѣ. Но вся его сила направляется не противъ самого народа, а противъ злоупотребленія именемъ народа, противъ возведенія невѣжества въ законъ жизни, только потому, что оно велико количественно. Массы здѣсь только синонимъ некультурности. Грановскій говоритъ дальше въ той же статьѣ: «у каждаго народа есть много прекрасныхъ, глубоко поэтическихъ преданій; но есть нѣчто выше ихъ; это—разумъ, устраняющій ихъ положительное вліяніе на жизнь и бережно-слагающій ихъ въ великія сокровищницы человѣка—науку и поэзію». Изъ рассказовъ о спорахъ, которые происходили въ интимныхъ кружкахъ, мы знаемъ еще больше; Грановскій защищалъ противъ непримиримыхъ западниковъ, противъ фанатиковъ высшей культуры необходимость бережно относиться къ молчаливой безотвѣтной народной массѣ: «мы должны себя вести прилично по отношенію къ низшимъ сословіямъ, которыя работаютъ, но не отвѣчаютъ намъ. Всякая выходка противъ нихъ, вольная или невольная, похожа на оскорбленіе ребенка. Кто же будетъ за нихъ говорить, если не мы же сами? Офиціальныя адвокаты у нихъ нѣтъ—понимаешь... что всѣ тогда должны сдѣлаться ихъ адвокатами». (Анненковъ, Десятилѣтіе, стр. 122.)

Тотъ же смыслъ, какой лежитъ у Грановскаго въ противоположеніи «мысли» и «массы», заключается и въ другомъ противоположеніи, «личности» и «общества». Въ той же статьѣ читаемъ: «Задача (исторіи)—нравственная, просвѣщенная, независимая отъ роковыхъ опредѣленій личность и сообразное требованіямъ этой личности общество».

Здѣсь опять насъ способно задѣть это возвеличеніе личности на счетъ общества. Грановскій какъ будто приближается къ взгляду, что крупные люди составляютъ цвѣтъ исторіи, опредѣляютъ ея смыслъ и направленіе; намъ странно читать въ одномъ изъ его писемъ почти религіозное преклоненіе передъ портретомъ Петра I. Но я думаю, что всѣ эти выраженія опять-таки станутъ намъ понятны, если мы обратимъ вниманіе на ихъ боевое значеніе, на то, противъ чего они были направлены. Общество въ данномъ случаѣ, какъ масса, означало для Грановскаго только элементы неподвижности, пассивнаго сопротивленія, слабой сознательности; личность означала все активное, безпокойно толкающее впередъ, ставящее запросы; первой задачей ея въ данную минуту была критика, отрицаніе устарѣлаго, «разложеніе массъ мыслью».

Та же опредѣленная идея приводитъ Грановскаго къ постоянному противоположенію природы и исторіи; въ области первой господствуетъ тѣсная необходимость, область второй—свобода, но тотчасъ же выступаетъ и ограниченіе, изъ котораго видно, что личность въ пониманіи Грановскаго—не произволъ, не случай, не капризная игра, а именно правильная сила, разрубаящая узлы, когда это нужно, но дѣйствующая такъ во имя сознательной, свободно усвоенной идеи.

«Наше время перестало вѣрить въ безсмысленное владычество случая. Новая наука, философія исторіи, поставила на его мѣсто законъ, или, лучше сказать, необходимость. вмѣстѣ со случаемъ утратила бѣольшую часть своего значенія въ исторіи отдѣльная личность. Наука предоставила ей только честь или позоръ быть орудіемъ стоящихъ на очереди къ исполненію историческихъ идей». Это воззрѣніе кажется, однако, Грановскому сухимъ, близ-



кимъ къ фатализму, и онъ умѣряетъ его такъ: «жизнь человѣчества подчинена тѣмъ же законамъ, какимъ подчинена жизнь всей природы, но законъ не одинаково осуществляется въ этихъ двухъ сферахъ. Явленія природы совершаются гораздо однообразнѣе, чѣмъ явленія исторіи... Такого правильнаго опредѣленнаго развитія нѣтъ въ исторіи. Ей данъ законъ, котораго исполненіе неизбежно, но срокъ исполненія не сказанъ—десять лѣтъ или десять вѣковъ, все равно. Законъ стоитъ, какъ цѣль, къ которой идетъ человѣчество: но ему нѣтъ дѣла до того, какою дорогою оно идетъ и много ли потратитъ времени на пути. Здѣсь-то вступаетъ во всѣ права свои отдѣльная личность. Здѣсь лицо выступаетъ не какъ орудіе, а самостоятельно, поборникомъ или противникомъ историческаго закона и принимаетъ на себя по праву отвѣтственность за цѣлые ряды имъ вызванныхъ или задержанныхъ событій».

Намъ вполне ясно, почему Грановскій протестуетъ противъ примѣненія началъ строгаго детерминизма въ исторіи и зачѣмъ ему нужна творческая личность; если бы онъ принялъ неумолимую закономѣрность вплоть до всѣхъ частныхъ, то это опять было бы все то же преклоненіе передъ дѣйствительностью, культъ массы, т.-е. застоя; личность нужна была, какъ проповѣдь свободнаго начала для выхода изъ тѣхъ русскихъ условій, которыя даже въ отрывкѣ учебника, составлявшагося Грановскимъ, едва прикрыты символическимъ именемъ Китая, съ горькой прибавкой: «историческое значеніе государствъ опредѣляется не столько цифрами населенія и квадратныхъ миль, сколько духовными силами. Незнакомые съ просвѣщеніемъ другихъ народовъ, исполненные раболѣпнаго уваженія къ старинѣ, китайскіе ученые... не выходятъ изъ тѣснаго круга исключительно національныхъ идей... у народа...

до сихъ поръ почти не просыпалась жажда высшей духовной истины». Тутъ, кажется, надо просто подставить вмѣсто Китай—Россія. Умный учитель, конечно, понялъ бы, что ему слѣдуетъ говорить, проходя этотъ отдѣлъ.

Намъ понятенъ энтузіазмъ, вызывавшійся Грановскимъ. Подъ впечатлѣніемъ его мягкой, терпимой натуры большинство тѣхъ, кто о немъ писалъ впослѣдствіи, были склонны видѣть въ его «общественной пропагандѣ исторіей» лишь общую неопредѣленную проповѣдь гуманности. Не то видѣли въ немъ современники: молодые слушатели привѣтствовали въ немъ, какъ выразился Герценъ, «рвущуюся къ свободѣ мысль Запада, мысль умственной независимости и борьбы за нее».

Вездѣ, гдѣ рѣчь идетъ о личности, ея критической роли Грановскій заодно съ радикальными индивидуалистами своего времени. Его смѣлость и опредѣленность въ этомъ отношеніи замѣчательны тѣмъ болѣе, что былъ одинъ вопросъ, въ которомъ онъ не могъ за ними послѣдовать. Изъ воспоминаній о спорахъ въ кружкѣ мы знаемъ, что Грановскій держался традиціонныхъ религіозныхъ понятій и послѣ ряда ожесточенныхъ столкновеній, во время которыхъ его друзья требовали отъ него послѣдовательности, онъ съ болью въ сердцѣ долженъ былъ разойтись съ ними. Когда Грановскій еще учился въ Берлинѣ, вышла книга Штрауса, безжалостно объявившая исторію ранняго христіанства мифологіей; она, повидимому, сильно встревожила Грановскаго: онъ рѣшилъ прежде, чѣмъ читать это страшное, разрушительное сочиненіе, изучить возраженія противниковъ, чтобы имѣть противъ него щитъ.

Но все это остается совершенно интимнымъ дѣломъ; въ публичной дѣятельности Грановскаго нигдѣ нѣтъ ни одного намека на опасность анализа и критики, нигдѣ нѣтъ ни



малѣйшей попытки объявить религію неприкосновенностью; всѣ личныя чувства у него отступаютъ тамъ, гдѣ надо было признать неумолимое дѣйствіе исторически необходимаго принципа.

Если для насъ несомнѣнны западные литературные и научные вдохновители и единомышленники Грановскаго, то гораздо труднѣе опредѣлить отношеніе его къ движеніямъ современной жизни, къ политическимъ и соціальнымъ событіямъ Европы. Онъ долженъ былъ отказаться въ университетѣ отъ чтенія исторіи революціи, т.-е. всей ближайшей къ современности части новой исторіи. Едва отстоялъ Грановскій реформацію, которую ему предлагали читать въ католическомъ духѣ. Изъ разсказа Соловьева видно, что даже отвѣчать на тему изъ эпохи реформаціи на магистерскомъ экзаменѣ, который происходилъ въ присутствіи попечителя, было дѣломъ «щекотливымъ» и рискованнымъ. Задвинутый насильственно въ изложеніе старины, т.-е. средневѣковья и древности, Грановскій все время, однако, говорилъ своимъ слушателямъ о современности, постоянно возвращался къ ней, непрерывно имѣлъ ее въ виду. Я беру наудачу примѣръ изъ ненапечатаннаго курса исторіи реформаціи. По поводу біографіи Кальвина, говоря о происхожденіи его изъ Пикардіи, Грановскій напоминаетъ, что оттуда же были родомъ видные представители партіи Горы въ Конвентѣ, и отмѣчаетъ сходство ихъ характера и склада мысли съ суровымъ реформаторомъ XVI вѣка.

Но все, что прошло горячей полосой въ бесѣдахъ Грановскаго, Герцена и ихъ друзей, исчезло для насъ, за исключеніемъ небольшихъ случайныхъ отрывковъ. То въ перепискѣ мелькнетъ совѣтъ Грановскаго Бѣлинскому читать Пьера Леру—Петра Рыжаго, какъ его переводили,

въ качествѣ представителя запретной литературы: эта рекомендація Леру должна была служить для того, чтобы предохранить Бѣлинскаго, при помощи реализма демократа-соціалиста, противъ созерцательной консервативной философіи Шеллинга, привезенной въ Россію Катковымъ. То мы узнаемъ, что въ средѣ петербургскихъ и московскихъ западниковъ увлекаются дѣятельностью Арнольда Руге, пытавшагося сблизить нѣмецкіе и французскіе радикальные круги, соединить критицизмъ лѣваго гегеліанства съ французскимъ соціализмомъ. Я не думаю, чтобы можно было въ этомъ отношеніи выдѣлять Грановскаго отъ Герцена и Бѣлинскаго, видѣть въ Грановскомъ скорѣе сторонника идей буржуазной демократіи, а въ его друзьяхъ признавать больше сочувствія къ соціализму. Герценъ въ своихъ воспоминаніяхъ не упоминаетъ ни о какомъ различіи подобнаго рода; разногласія между ними касались религіознаго вопроса. Есть только одно указаніе Анненкова въ этомъ смыслѣ: Грановскій, по его словамъ, осуждалъ соціализмъ за то, что «онъ пріучаетъ отыскивать разрѣшеніе задачъ общественной жизни не на политической аренѣ, которую презираетъ, а въ сторонѣ отъ нея, чѣмъ и себя и ее подрываетъ». Если мнѣніе Грановскаго вѣрно передано, то оно относится лишь въ тактикѣ нѣкоторыхъ соціалистическихъ группъ на западѣ, но не къ существу ихъ общественныхъ программъ. Повидимому, въ кругу Грановскаго всѣ болѣе или менѣе одинаково придерживались того неопредѣленнаго оттѣнка «коммунизма», который отличалъ современную французскую демократію до большого кризиса 1848 г., принудительно размежевавшего классы и классовыя понятія.

Даже по немногимъ печатнымъ статьямъ Грановскаго можно судить о томъ, какъ его занимали всѣ новыя дви-



женія на западѣ; въ нихъ часто прорываются аналогіи и сравненія съ современностью, и читатель долженъ былъ непосредственно чувствовать ближайшій мотивъ, который внушилъ эти сравненія. Особенно поразительна въ этомъ отношеніи статья 1847 г., о нибуровскихъ лекціяхъ и о только что вышедшей книгѣ Нитча «Исторія Гракховъ». Дѣло не въ томъ, конечно, что Грановскій сравниваетъ хлѣбный законъ Кая Гракха съ новымъ англійскимъ законодательствомъ о бѣдныхъ, а Катона съ Робертомъ Пилемъ, важна основная мысль статьи: римскій аграрный вопросъ въ его глазахъ имѣетъ общечеловѣческое значеніе; онъ возобновился въ новой Европѣ и Америкѣ во всемъ страшномъ значеніи своемъ, программа Гракховъ—спасти и возсоздать крестьянское землевладѣніе—получила снова всю силу непосредственнаго примѣненія. И здѣсь нужно отдать всю справедливость соціально-исторической чуткости Грановскаго. Въ старой Европѣ онъ не видѣлъ условій для широкой творческой аграрной политики; послѣднія крестьянскія освободительныя реформы въ Германіи совершались по принципамъ фритреда, съ разрушеніемъ самостоятельныхъ мелкихъ хозяйствъ, съ вычеркиваніемъ крестьянства изъ числа живыхъ. Таковы же были первыя реформы въ этомъ смыслѣ въ предѣлахъ русскаго государства. Политическая власть выступала только маклеромъ при ликвидаціи отношеній владѣльцевъ и рабочихъ, сидѣвшихъ на землѣ; государство только разрѣшало имъ разсчитаться и давало окончательный толчокъ начавшемуся уже обезземеленію крестьянства. Сознавая это, Грановскій находитъ болѣе благопріятныя условія для спасенія крестьянства въ Соединенныхъ Штатахъ, гдѣ государство еще осталось въ обладаніи огромной казенной земли, подобной римскимъ «общественнымъ

полямъ», гдѣ оно могло активно вмѣшаться въ процессъ распредѣленія земель и закрѣпить формы, выгодныя для самостоятельнаго аграрнаго труда. Знакома русскую публику все въ той же статьѣ о Нибурѣ и Нитчѣ съ современной аграрной борьбой въ Соединенныхъ Штатахъ, Грановскій отдастъ всѣ свои симпатіи «новымъ Гракхамъ» и ихъ программѣ—ограничить ростъ крупнаго землевладѣнія и охранить крестьянство, программѣ, которую въ сущности можно было бы назвать тогдашней идеей націонализаціи земли.

Все значеніе этихъ сравненій и этихъ взглядовъ Грановскаго мы можемъ оцѣнить, если вспомнимъ, какъ смутны были тогда виды на крестьянскую реформу въ Россіи, какъ близко къ западнымъ образцамъ, разрушительнымъ для крестьянства, прошли ея первыя начинанія на почвѣ русскаго государства при Александрѣ I. Между нами и временемъ Грановскаго стоитъ актъ 1861 года; при всѣхъ своихъ большихъ недостаткахъ онъ все-таки составляетъ первую европейскую реформу, которая сознательно ставила цѣль сохраненія крестьянскаго землевладѣнія и создавала опять-таки единственную въ Европѣ юридическую и фактическую основу для возможной націонализаціи земли. Реформа 1861 года—дѣло частью учениковъ, частью современниковъ и единомышленниковъ Грановскаго. Для насъ нѣтъ сомнѣнія, что по этому поводу думалъ и чему училъ самъ Грановскій въ смутное, глухое время, послѣ котораго, однако, сразу, безъ особой подготовки, приходилось приступать къ дѣлу, и приступать съ тѣмъ запасомъ понятій, какія кто сумѣлъ пріобрѣсти въ тяжелый досугъ невольнаго политическаго заключенія общества.

Грановскій жилъ недолго, но въ его общественно-



историческихъ взглядахъ тѣмъ не менѣе можно замѣтить извѣстную смѣну. Она стоитъ въ связи съ поворотами политической и соціальной жизни въ западной Европѣ и у насъ. Кризисъ 1848 года создаетъ здѣсь замѣтную грань въ настроеніи. Пока демократическія направленія и критическая философія издали готовили нападеніе на консервативныя твердыни Европы, западникамъ рисовались благопріятныя перспективы: казалось, что «скорбное развитіе Запада», какъ они выражались, есть въ то же время его великое счастье: непрерывная борьба силъ указывала на жизненность Запада: ее надо было привѣтствовать и по ея ходу, и по ея результатамъ. Западники, соглашаясь со славянофилами въ томъ, что русская исторія не имѣла до сихъ поръ аналогій съ западно-европейской, крѣпко вѣрили, что оба эти отдѣльные ряда сомкнутся въ современности, и Россія возьметъ готовыя завоеванныя политическія формы, какъ она уже взяла пріобрѣтенныя чужими усиліями культурныя. Они склонны были вообще очень высоко оцѣнивать значеніе политическихъ формъ; эти формы казались созданіемъ свободныхъ нравственныхъ усилій лучшихъ представителей общества. Эта вѣра и составляла главный смыслъ ученія о разумности прогресса; она и давала основаніе противоплагать природу и исторію, царство необходимости и царство свободы.

Это настроеніе сильно поколебалось послѣ 1848 года. Возвратившіяся реакціонныя силы грубо утверждались какъ разъ въ недавнихъ очагахъ освободительныхъ идей во Франціи, въ Германіи. Въ Россіи разыгралась глухая трагедія даже не въ видѣ отвѣта на какое-либо движеніе; тутъ точно впередъ были усчитаны возможные проблиски свободной мысли, и дикая буря свирѣпствовала

надъ просвѣщеніемъ вообще. «Есть съ чего сойти съ ума. Благо Бѣлинскому, умершему во-время. Много порядочныхъ людей впали въ отчаяніе...» писалъ въ это время Грановскій, для котораго 1848 годъ былъ также кризисомъ личной жизни: со смертію и уходомъ за границу самыхъ энергичныхъ и послѣдовательныхъ друзей своихъ онъ остался почти одинокимъ.

Ошеломляющіе факты европейской реакціи дѣйствовали не только непосредственно на сознаніе; и для болѣе спокойной позднѣйшей мысли, стоявшей на извѣстномъ разстояніи отъ событій, они оставались все же жестокимъ опытомъ. Политическая реформа не далась въ результатѣ моральнаго порыва лучшихъ людей. Еще менѣе поддаливымъ, чѣмъ политическій порядокъ, оказалось общественное строеніе. Очень трудно было удержаться на прежней мысли, что человѣческій духъ, т.-е. культурные идеалы передовыхъ людей, въ своемъ стремленіи къ свободѣ, создаетъ и перестраиваетъ формы общежитія. Поднималось сомнѣніе, правда ли, что въ нихъ имѣется творческая сила, не даютъ ли они ровно столько, что способно дать общество, гдѣ они возникли; не образуютъ ли они всего только игру свѣта, манифестацію на его поверхности? Во всякомъ случаѣ, не хватало достаточно основаній, чтобы признать моральные или соціальные идеалы факторами общественныхъ состояній: осторожнѣе было видѣть въ нихъ лишь продукты и формулы тѣхъ же состояній. Но отсюда получался также и другой взглядъ на главнаго носителя культурныхъ желаній и мечтаній, личность, вѣрнѣе говоря, крупную личность: она должна смириться передъ медленнымъ движеніемъ скрытыхъ силъ, дѣйствующихъ въ обществѣ; общественное развитіе можетъ идти вовсе не въ ту сторону, гдѣ



личность видитъ цѣль, а главное, можетъ быть, къ нему и не приложимо понятіе о цѣли. Вѣрнѣе, что въ общественномъ развитіи рѣтъ планомѣрности, нѣтъ замысловъ и осуществленій такъ же, какъ нѣтъ его въ царствѣ природы. Въ немъ нѣтъ логики творчества и сочиненія, а есть логика эволюціи, органическаго роста.

Въ краткихъ чертахъ я старался набросать то настроеніе 50-хъ годовъ, слѣдовавшихъ за второй большой европейской революціей, которое отразилось въ позитивизмѣ. Мы знаемъ его лучше всего въ такихъ историкахъ и соціологахъ, какъ Тэнъ, Бокль, Спенсеръ. Ихъ цѣль—сдѣлать исторію одною изъ естественныхъ наукъ; по ихъ мнѣнію, дѣло исторіи—вычисленіе, наблюденіе и опытъ при полной объективности, если можно такъ сказать, отрѣшенности отъ предмета.

Сильный наклонъ въ сторону позитивизма можно указать и у Грановскаго въ послѣднія 4—5 лѣтъ его жизни. Правда, въ публичныхъ лекціяхъ 1851 года онъ далъ какъ разъ знаменитыя свои четыре характеристики великихъ людей, но уже самый выборъ показываетъ, что у Грановскаго не было прежней теоріи героев-творцовъ исторіи. Разрушитель-Тимуръ, пассивный рыцарь печальнаго образа Людовикъ IX, фантастическій конкистадоръ Александръ и Бэконъ, великій умъ въ соединеніи съ моральнымъ ничтожествомъ,—въ этомъ пестромъ сопоставленіи всѣ совершенно чужды другъ другу; духовнаго единства дѣятели, выбранные Грановскимъ, не образуютъ. Онъ взялъ своихъ героев лишь въ качествѣ показателей эпохъ и моментовъ, въ видѣ яркихъ и характерныхъ свидѣтелей исторіи.

Въ теоретическихъ замѣчаніяхъ, которыми Грановскій началъ лекціи, не видно ясности; въ нихъ есть недоска-

занность и колебанье. Ему не нравится скептический взгляд, онъ осуждаетъ «голоса, отрицавшіе необходимость великихъ людей въ исторіи, утверждавшіе, что роль ихъ кончена, что народы сами, безъ ихъ посредства, могутъ исполнять свое историческое назначеніе». Но самъ Грановскій не даетъ рѣшительной поправки; онъ только говоритъ о томъ, что великіе люди, «одаренные особенно чуткимъ нравственнымъ слухомъ, особенно зоркимъ умственнымъ взглядомъ», «облекаютъ въ живое слово то, что до нихъ таилось въ народной думѣ». Онъ допускаетъ далѣе, что не всегда ясна задача дѣятельности такихъ людей и мѣсто, которое они занимаютъ въ цѣпи явленій; въ такомъ случаѣ надо помириться на томъ, что передъ нами загадка, и надо терпѣливо ждать, чтобы послѣ вѣковъ и, можетъ быть, тысячелѣтій разрѣшился смыслъ отдѣльныхъ явленій.

Мнѣ кажется, судя по этимъ словамъ, что теперь у Грановскаго мало осталось отъ прежняго взгляда на свободное творчество нравственныхъ силъ, истиннымъ полемъ которыхъ признавалась исторія человѣчества. Мы далеки отъ бурнаго натиска лѣваго гегеліанства и идеалистическаго социализма, того, чѣмъ полно было наше западничество въ 40-хъ годахъ.

Но настоящимъ выраженіемъ перехода Грановскаго къ позитивизму служить рѣчь «о современномъ состояніи и значеніи всеобщей исторіи», сказанная на университетскомъ актѣ 1852 года. Грановскій выражаетъ весьма пессимистическій взглядъ на результаты, достигнутые до сихъ поръ исторической наукой. Она чрезмѣрно была занята художественнымъ описаніемъ, констатированіемъ фактовъ и регистраціей ихъ; но въ ней не было строгаго метода, и она неясно сознавала свою цѣль. Чтобы стать наукой,



она должна пойти въ школу естествовѣдѣнія. Исторія должна прежде всего заимствовать у естественныхъ наукъ знакомство съ той группой незыблемыхъ явленій, въ которую врастаютъ всѣ корни человѣческаго общежитія. Но этого мало: историки должны признать, что культурное развитіе человѣчества есть само по себѣ продолженіе органической жизни природы; то, что дано физическими условіями, составляетъ не просто обстановку общественныхъ движеній: это—ихъ первоначальный и основной направлятель. Съ большимъ удареніемъ приводитъ Грановскій слова натуралиста Бэра: «...когда земная ось получила свое наклоненіе, вода отдѣлилась отъ суши, поднялись хребты горъ и отдѣлили другъ отъ друга страны, судьба человѣческаго рода была опредѣлена уже напередъ и... всемірная исторія есть ни что иное, какъ осуществленіе этой предопредѣленной участи».

Грановскій послѣ этого, правда, предостерегаетъ противъ фатализма, въ который впали нѣкоторые новые историки, но предостереженіе слабо, и онъ, напротивъ, съ силою обрушивается на философію исторіи, которая вывела законы развитія духа а priori и приложила къ исторической жизни логическіе законы, въ то же время игнорируя законы естественные.

Исторія должна заимствовать у естествовѣдѣнія «свойственный ему способъ изслѣдованія». «Начало уже сдѣлано», и Грановскій видитъ его «въ открытыхъ законахъ исторической аналогіи». Надо идти дальше по этому пути, раздвигать тѣсные предѣлы, въ которые до сихъ поръ была заключена историческая наука, новый методъ долженъ возникнуть изъ внимательнаго изученія фактовъ міра духовнаго и природы въ ихъ взаимодѣйствіи. Тогда можно достигнуть «яснаго знанія законовъ, опредѣляющихъ дви-

женіе историческихъ событій». Грановскому кажется, что исторія можетъ и должна сдѣлаться «опытной наукой». Хотя въ ней и проявляется «свободное творчество человѣческаго духа» (этотъ старый гегеліанскій терминъ Грановскій еще допускаетъ), но свобода существуетъ только въ поступкахъ отдѣльныхъ людей; въ цѣломъ, въ ихъ соединеніи сказываются повторенія, обнаруживается строгая закономерность. «Въ фактахъ общественныхъ,—говоритъ Грановскій словами Кетле,—больше правильности, чѣмъ въ фактахъ, которые подлежатъ простому дѣйствию физическихъ причинъ». Но пока лишь статистика овладѣла опытнымъ методомъ; статистика отмѣчаетъ правильный пульсъ общественныхъ организмовъ; въ этомъ отношеніи она опередила исторію, говоритъ Грановскій. Исторія должна вступить на тотъ же путь; «пока она не усвоитъ себѣ надлежащаго метода, ее нельзя будетъ назвать опытной наукой».

Само это сближеніе исторіи со статистикой невольно напоминаетъ знаменитыя страницы введенія Бокля, гдѣ приведенъ примѣръ неуклонно повторяющагося процента неоплаченныхъ писемъ и при помощи этого статистическаго факта доказывается механическое дѣйствіе социальныхъ законовъ, которые могутъ работать, между прочимъ, черезъ посредство самой индивидуальной и капризной черты человѣка, его разсѣянности. Книга Бокля вышла черезъ шесть лѣтъ послѣ рѣчи Грановскаго. Нашъ историкъ со своей необыкновенной чуткостью уже успѣлъ указать тотъ поворотъ, который едва намѣчался въ исторической наукѣ. Если бы ему суждено было дольше жить, онъ, конечно, повелъ бы по этой новой дорогѣ преподаваніе въ университетѣ, построилъ бы по новому принципу свои курсы, сталъ бы руководителемъ слѣдующихъ поко-



лѣній въ этомъ новомъ истолкованіи исторіи. Безъ этого продолженія его рѣчь 1852 года остается только красно-рѣчивымъ манифестомъ.

Однимъ изъ толчковъ къ позитивному направленію въ исторической наукѣ на Западѣ и у насъ была неудача революціи 1848 года. Но это не значитъ, чтобы позитивизмъ совпадалъ съ настроеніемъ подавленности, которое было вызвано этимъ кризисомъ. Въ позитивизмѣ выразилась новая соціальная философія, прошедшая сквозь горькій опытъ: смыслъ испытанья былъ тотъ, что моментальный натискъ надо замѣнить сложной организаціей силъ.

Пережившій Грановскаго на 15 лѣтъ Герценъ писалъ въ 1869 году: «народное сознаніе такъ, какъ оно выработалось, представляетъ естественное, само собой сложившееся, безотвѣтственное, сырое произведеніе разныхъ усилій, попытокъ, событій, удачъ и неудачъ людского сознанія, разныхъ инстинктовъ и столкновений; его надобно принимать за *естественный фактъ* и бороться съ тѣмъ, какъ мы боремся со всѣмъ безсознательнымъ, овладѣвая имъ и направляя его же средства сообразно нашей цѣли». Эти слова довольно вѣрно отражаютъ господствующее настроеніе нашихъ шестидесятыхъ годовъ, соединявшихъ реформаторскій пылъ съ соціальной философіей позитивизма.

Между людьми и направленіями сороковыхъ и шестидесятыхъ годовъ обыкновенно проводятъ довольно рѣзкую черту различія. О Грановскомъ говорили въ частности, что онъ едва ли присоединился бы къ умственнымъ теченіямъ, которыя были неизбѣжными спутниками эпохи реформъ, что онъ долженъ былъ бы вступить въ противорѣчіе съ самыми характерными и сильными идеями ще-

стидесятыхъ годовъ. У новѣйшаго біографа Грановскаго я нахожу даже такую фразу: «къ концу пятидесятыхъ годовъ общественное значеніе Грановскаго представляется уже до извѣстной степени исчерпаннымъ: онъ умеръ въ дни лучшей своей славы...» \*). Я совершенно не могу присоединиться къ этимъ словамъ. Грановскій умеръ слишкомъ рано, умеръ отъ физическаго недуга, не только не исчерпавъ моральной и умственной силы своей, но въ моментъ, когда ей открывался широкій просторъ. Последніе мѣсяцы жизни Грановскаго съ ихъ одушевленіемъ, обширными планами основанія журнала, реформы преподаванія, участія въ возможной политической жизни страны— яркое тому доказательство. Грановскій могъ бы быть руководителемъ поколѣнія шестидесятыхъ годовъ: онъ уже высказывалъ раздѣлявшуюся этимъ поколѣніемъ соціальную философію.

Не даромъ безспорно первый по чуткости, таланту и силѣ вліянія дѣятель этой эпохи далъ Грановскому ту (приведенную выше) оцѣнку, которая составляла высшую похвалу въ его устахъ: «онъ былъ однимъ изъ сильнѣйшихъ у насъ посредниковъ между наукой и нашимъ обществомъ».

---

\*) Ч. Вѣтринскій (Вас. Е. Чешихинъ) Т. Н. Грановскій и его время, стр. 316.



## Новые горизонты въ исторической наукѣ.

Въ послѣднія 10—15 лѣтъ археологія Европы и передней Азіи сдѣлала такія открытія, которыя способны переставить всѣ наши представленія о ходѣ такъ называемой всемірной исторіи.

Еще недавно общую исторію Европы начинали чуть ли не съ Мараѳонской битвы, а въ старинныхъ культурахъ Нильской и Евфратской долинъ видѣли изолированные, рано загорѣвшіеся, но и рано погасшіе свѣточы. Греческая культура со своими іонійскими философами, Платономъ и т. д., могла казаться вполнѣ самобытной. Христіанство разсматривали какъ продуктъ очень новыхъ культурныхъ комбинацій, также преимущественно греческаго происхожденія; если и обращались къ его іудейскимъ корнямъ, то дѣлали опять ошибку: думали о іудействѣ палестинскомъ, о іудействѣ эпохи пророковъ и Маккавеевъ, не подозревая, что Палестина VI—I вв. до Р. Х. была лишь промежуточной средой, черезъ которую проникали на западъ великія вавилонскія идеи, сложившіяся въ третьемъ тысячелѣтіи до христіанской эры, а можетъ быть, еще и гораздо раньше.

Новыя открытія раздвинули горизонтъ до такой степени, что прежняя древняя исторія кажется теперь въ 4—5 разъ короче открывшейся позади нея другой, настоящей древней. «Рѣчныя» культуры Нила и Евфрата оказа-

лись не оазисами среди пустыни дикости, а большими центрами широко развѣтвленной системы торгово-промышленныхъ сношеній, политическихъ группировокъ, движенія религиозныхъ вѣрованій, научныхъ понятій, художественныхъ формъ и т. п. Нельзя больше говорить о какомъ-то младенчествѣ Востока, о сонномъ фантастическомъ царствѣ послѣ того, какъ открыты сложные юридическіе памятники, въ родѣ законовъ Хаммураби, безчисленные кредитные знаки, счета большихъ хозяйствъ, слѣды громадныхъ построекъ и оросительныхъ сооружений, и особенно очертанія великой астрономической и вмѣстѣ съ тѣмъ религиозной системы, наконецъ, столь поразившая богослововъ религиозная лирика, образецъ псалмовъ Давидовыхъ.

Намъ сейчасъ еще трудно установить географическіе предѣлы этой, сколько можно судить, стариннѣйшей культуры земного шара, помѣстившейся какъ разъ въ серединѣ восточнаго материка, мы не знаемъ хорошо ея отношеній къ Китаю, Индіи, Аравіи и Африкѣ. Но одно явленіе открывается намъ все яснѣе: это—именно отношеніе Вавилона (если собрать старинную культуру подъ одно имя великаго города) къ Европѣ, ко всей европейской исторіи вплоть до самыхъ новыхъ временъ. Восторженный почитатель древняго Востока, Винклеръ, уже объявилъ, что вся культура Европы до XVI в.—ни что иное, какъ усвоеніе и повтореніе вавилонской мудрости; онъ различаетъ въ исторіи Европы и передней Азіи двѣ культурныя эпохи: вавилонскую и новоевропейскую послѣднихъ трехъ, четырехъ вѣковъ. Многимъ эта формула можетъ показаться рѣзкимъ и непріятнымъ парадоксомъ. Но ея сущность теперь уже нельзя отвергнуть: Востокъ, т.-е. передняя Азія, долго, очень долго былъ оригиналомъ, а Европа—копіей, ученицей.



Къ тому же результату съ другой стороны насъ подвела археологія Европы. Греческіе историки и географы V—IV вв., отражавшіе господствующее сознаніе гордыхъ побѣдителей надъ варварскимъ азіатствомъ, ввели насъ въ заблужденіе относительно судебъ своей родины. Въ самомъ дѣлѣ, если вѣрить *Θουκιδиду*, исторія Греціи началась за какихъ-нибудь 3—4 вѣка до его времени; троянская война—это первые шаги грековъ, отважившихся за границу,—до тѣхъ поръ Греція была дикой, деревенски разрозненной и замкнутой страной. Воспитанные въ этой традиціи, первые археологи XIX вѣка, приступая къ раскопкамъ на берегахъ Эгейскаго моря, думали найти дворцы родоначальниковъ Греціи, Агамемнона и Пріама. Ихъ усиліями стала однако открываться культура, гораздо болѣе старая, чѣмъ гомеровскіе герои и гомеровскій эпосъ, культура, основательно забытая позднѣйшими греками. Постепенно обрисовалась далекая перспектива другой, очень продолжительной древней исторіи Греціи. По мѣрѣ расширенія открытій выяснялось все болѣе и болѣе, что Микены, Критъ, Троя и другіе старинные греческіе центры были органической частью большой культурно-политической системы, охватывавшей со всѣхъ сторонъ Средиземное море. Въ этомъ кругу широкими проторенными путями по Малой Азіи и Сиріи или привычными морскими переѣздами, съ остановкой на о. Критѣ, направлялись орудія, посуда, матеріи, предметы роскоши, переѣзжали мастера и ремесленники, переходили праздничные и погребальные обычаи, а слѣдовательно также догматы, молитвы и сказанія и, надо думать, вмѣстѣ съ ними ихъ носители, проповѣдники, пророки, монашескія братства, пѣвцы и рассказчики, апостолы литературныхъ и богословскихъ школъ.

Нѣкоторыя черты «эгейской культуры»—особенно то, что открылъ въ самое послѣднее время Эвансъ на Критѣ,—могутъ казаться продуктомъ самостоятельной сильной работы, но, конечно, вполне возможно допустить, что послѣ цѣлыхъ столѣтій пассивнаго усвоенія, ввоза чужихъ товаровъ и пропаганды чужихъ идей, пришлое акклиматизировалось, стало національнымъ и вызвало, наконецъ, собственную инициативу въ народѣ; послѣ этого отношеніе къ «заграницѣ» должно было измѣниться. Прежніе кліенты продолжали покупать у бывшихъ патроновъ и учителей нѣкоторые предметы, но они могли также предложить и свои продукты, а главное, они уже считали себя равноправной силой, націей, культурой и о настоящемъ происхожденіи своего богатства и премудрости старались забыть или искренно забывали. Если тѣмъ временемъ старая культурная метрополія приходила въ упадокъ, ея эмансипировавшіеся ученики пытались даже завладѣть ею, перекинуть на ея территорію воинственное предпріятіе.

Слѣдя за исторіей Европы по географической линіи съ востока и юга на западъ и сѣверъ, мы видимъ нѣсколько разъ то же самое явленіе. Италія беретъ культурное содержаніе у Греціи и потомъ поднимается надъ нею, завоевываетъ ее и даетъ ей законы. Слѣдующая очередь за Галліей, которая учится у Италіи, а тамъ за Германцами, кліентами и завоевателями Галліи и Италіи заразъ. Эти отношенія, давно очень хорошо извѣстныя, получили новое освѣщеніе, когда удалось археологически изслѣдовать европейскія страны и установить періоды матеріальнаго развитія Европы съ самыхъ отдаленныхъ временъ.

Оказывается, что европейскія области съ самой ранней поры каменнаго вѣка имѣли взаимную связь и до извѣст-



ной степени общую исторію, что онѣ составляли уже нѣкоторую систему отношеній. Эта система, или общая исторія Европы, повернута фронтомъ своимъ на востокъ. Оттуда идутъ свѣтъ и богатства, понятія и вѣрованія, предметы обстановки, орудія и приемы работы. На первый взглядъ кажется страннымъ, что самые ранніе продукты индустріи, какіе-нибудь первобытные каменные молотки или стрѣлки, и тѣ обязаны своимъ возникновеніемъ вовсе не самостоятельной инициативѣ, одновременно выступавшей во множествѣ разныхъ мѣстъ. Массовое ихъ изученіе, въ связи съ географическимъ опредѣленіемъ находокъ, показываетъ, что они шли постоянно изъ одного индустріальнаго центра, изъ одной группы мастерскихъ, приблизительно въ родѣ того, какъ сейчасъ вся некультурная Африка снабжается ножичками, зеркальцами и т. д. изъ немногихъ европейскихъ фабричныхъ округовъ. Можно сказать, что всякая восходящая ступень культуры въ Европѣ, «новый каменный вѣкъ», появленіе и усовершенствованіе металловъ, крупныя и прочныя постройки, новые погребальные обычаи въ связи съ новыми представленіями о загробной жизни—все это были результаты прибытія изъ какого-то одного отдаленнаго центра новыхъ орудій, товаровъ и понятій, или, иначе говоря, это были отозвавшіеся на окраинахъ толчки ряда переворотовъ, совершившихся въ извѣстномъ центрѣ.

Такъ было, повидимому, съ самой древнѣйшей поры. Лучами отъ юговосточнаго края Европы, соприкасающагося съ культурнымъ угломъ Азіи, распространялись восточные товары и идеи, всего гуще заполняли они ближайшія области, втягивая ихъ по временамъ въ самый кругъ дѣятельныхъ азіатскихъ странъ. Слабѣе и медленнѣе передвигались они въ болѣе отдаленныя западныя и сѣвер-

ныя части, но въ извѣстные промежутки наплывъ усиливался. совершался какой-то большой толчокъ: вмѣсто странствующихъ купцовъ, вѣроятно, выступали настоящіе колонисты или завоеватели, которые вдвигались въ дикую территорію и, отнявъ у нея опорные пункты, расширяли кругъ культурнаго вліянія. По временамъ воздѣйствіе могло быть такъ сильно, что на далекой окраинѣ, гдѣ-нибудь въ Скандинавіи и Ирландіи, зажигался свой мѣстный культурный очагъ; онъ горѣлъ этимъ заимствованнымъ огнемъ иногда довольно долго, значительно переживая эпоху вызвавшей его колонизаціи съ востока. Разбираясь во многочисленныхъ остаткахъ бронзоваго и раннежелѣзнаго вѣка на сѣверѣ Европы, можно заключить, что тамъ существовали въ извѣстную пору большія государства, между которыми были оживленные торговые сношенія, развилась своя мифологія, свой кругъ сказаній, своя воинственная поэзія наподобіе гомеровской.

Такой новый кругъ могъ сохранить сношенія со своей метрополіей, но могъ и оторваться, отдѣлившись полосой одичанія отъ яркаго главнаго центра. Культурное излученіе вообще совершалось неровно; то метрополія посылала одну за другой дѣятельныя группы колонистовъ, и товары безпрепятственно шли массами по протореннымъ путямъ, то теченіе ослабѣвало, прерывалось, и на западѣ наступали опять сумерки.

Въ нѣсколько большихъ пріемовъ Востокъ отдалъ Западу запасъ своихъ матеріальныхъ и идеальныхъ богатствъ. Знаками этой передачи служатъ большія «міровыя» религіи, греческая или греко-римская, іудейство, христіанство, исламъ, каждая въ свою очередь—фактъ обширной колонизаціи. Но всѣ онѣ возникли изъ вавилонскихъ сектъ, всѣ онѣ, повидимому, образуютъ по-



вторенныя и измѣненныя изданія одного стариннаго оригинала, той религіи и той науки о небесномъ сводѣ, которая отпечатлѣлась такъ или иначе на всѣхъ документахъ и памятникахъ стариннаго Вавилона.

Это была огромная стройная система, нѣчто въ родѣ колоссальнаго архитектурнаго лабиринта. Надъ построеніемъ его частей, искусно прилаженныхъ другъ къ другу, работали многія поколѣнія, и все же въ ней былъ проведенъ одинъ планъ, одна руководящая мысль. Небесный сводъ былъ изученъ до послѣдней детали, на какую только способенъ невооруженный глазъ; его поверхность была распредѣлена на географическія области, столь же ясныя и понятныя, какъ и земныя страны; предполагался полный параллелизмъ земной и небесной жизни; отгадываніемъ частныхъ, разрѣшеніемъ земныхъ задачъ по небеснымъ даннымъ занять былъ цѣлый классъ людей. Размѣръ поперечника великаго свѣтила, повтореніе этого размѣра на небесномъ полукругѣ, періоды затмѣній и т. п. не оставались простыми цифрами, отмѣченными досужимъ наблюденіемъ. Это были священные положенія, вѣчныя символы, которымъ должны были подчиниться всѣ жизненныя отношенія: возрасты жизни человека и сроки дѣловыхъ отношеній, годъ и день, праздники и развлечения, цѣны на товары, отношеніе между золотомъ и серебромъ, и т. д.

Своеобразная философія, повидимому, весьма рано вступила въ кругъ астрономическихъ выкладокъ и записей. Міръ подчиненъ круговороту, въ которомъ послѣдовательно одолѣваетъ то свѣтлое, то темное начало. Кругъ годовой, кончающійся погруженіемъ свѣтлаго бога въ адскую водяную бездну и начинающійся его весеннимъ выходомъ, долженъ повторяться ежедневно въ маломъ кругѣ сутокъ,

но онъ составляетъ также прообразъ вѣковыхъ періодовъ : замираніе свѣтлаго начала повторяется въ большіе сроки въ видѣ «свѣтопреставленій», вселенскихъ катастрофъ, изъ которыхъ міръ божій выходитъ обновленнымъ, возрожденнымъ и очищеннымъ. Распредѣленные въ кругахъ, движущіеся элементы однако фиксированы также въ вѣчныхъ рисункахъ и чертежахъ неба : историческая лѣтопись закрѣплена въ видѣ нестираемой географической иллюстраціи : эпизоды міровой драмы во всякую минуту можно показать на сіяющихъ картинахъ созвѣздій. Законы времени и пространства соединены, такимъ образомъ, въ умозрительной системѣ ; они находятъ также выраженіе и въ аффективной сторонѣ человѣческаго существа, такъ какъ люди должны переживать вмѣстѣ со свѣтлымъ богомъ всѣ перипетіи его борьбы, его страданій и торжества, повторять ихъ символически въ извѣстные священные сроки и помнить о нихъ непрерывно.

Всѣ частности вавилонской астрономіи-религіи мы легко узнаемъ въ 12 олимпійскихъ богахъ, 12 подвигахъ Геракла, въ 12 апостолахъ и т. п. кругахъ, варьирующихъ 12 сроковъ или остановокъ солнца, узнаемъ въ европейской семидневной недѣлѣ съ ея архаическими именами, которыя всякій народъ перевелъ на свой языкъ, въ зимнемъ карнавалѣ, символизирующемъ міръ наизнанку, когда богъ изъ бездны плыветъ назадъ, узнаемъ въ пасхальныхъ обычаяхъ, въ родѣ даренія яицъ, относящихся къ новорожденію или выходу наружу, избавленію свѣтлаго бога, и въ другихъ десяткахъ и сотняхъ обычаевъ, сказокъ, повѣрій и т. д. Это—такой же занесенный въ Еврону товаръ, какъ шлифованные каменные топоры и стрѣлы или разрисованная орнаментомъ глиняная посуда.

Но такъ же, какъ матеріальные предметы являлись



въ результатъ индустріальныхъ революцій, происходившихъ на востокъ, такъ же, какъ наплывъ новыхъ товаровъ на окраинахъ составлялъ всякій разъ продолженіе и отзвукъ переворота въ центръ, такъ точно было и въ области идей.

Въ старинной вавилонской религіи уже были представленія, составляющія фундаментъ іудейской и христіанской психологіи искупленія. Весь міръ, окружающая человѣка природа, его собственное существо исполнены зла, порчи и грѣха; казни земной жизни, несчастія, болѣзни, преступленія еще должны возрасти за гробомъ, когда смерть и другія дьявольскія силы овладѣютъ несчастною тварью земли. Самъ Богъ, податель свѣта, не ушелъ отъ страданій, отъ мрака и мукъ, которыми охватываютъ его злобные враги. Неподкупные и всевидящіе счетчики и писмоводы пишутъ подробный списокъ человѣческихъ прегрѣшеній, и въ книгахъ будущаго опредѣляются вѣчныя воздаянія. Страшно прозвучитъ труба окончательнаго и общаго суда.

Но измученная ожиданіемъ душа вѣритъ въ заслугу молитвы, въ цѣлительную силу словъ, она вѣритъ въ силу своего горячаго желанія, чтобы совершилось невозможное: покаяніе у святыхъ мѣстъ, трудный подвигъ воздержанія, таинственное общеніе съ божествомъ—развѣ не могутъ обезпечить человѣку на томъ свѣтѣ спасительный островокъ среди океана страданій и мукъ? Можетъ быть, даже удастся проскользнуть вмѣстѣ со свѣтлымъ богомъ въ его ладьѣ, въ тотъ моментъ, когда онъ уходитъ отъ темныхъ силъ болѣзни и смерти, можетъ быть, выпадетъ счастье найти въ немъ заступника и избавителя, возродиться съ нимъ вмѣстѣ въ его новомъ пришествіи? У Бога—своя тяжелая смертная борьба, но развѣ онъ,

не можетъ такъ же прикрыть своимъ могучимъ щитомъ малаго и слабаго человѣка? Божественный страдалецъ благъ и великодушенъ и, можетъ быть, именно ради вѣрующихъ-то онъ и совершаетъ свой тяжкій подвигъ, нисходитъ въ страшныя подземныя пещеры, глядитъ въ глаза ужасу смерти и уничтоженія, терпитъ удары и пытку и сохраняетъ даже язвы на своемъ прекрасномъ тѣлѣ?

Всѣ эти идеи, приуроченныя къ вавилонскимъ сказаніямъ о солнечномъ богѣ Мардукѣ, о героѣ Гильгамешѣ, о богинѣ Истаръ, повторяются въ греческихъ мифахъ объ Аполлонѣ, Діонисѣ-Загреѣ, Гераклѣ, Корѣ-Персефонѣ и т. д. Вліятельная секта орфиковъ главнымъ образомъ пропагандировала идею искупленія и спасенія человѣка заступничествомъ бога-страдальца. Сколько мы можемъ судить, уже въ первомъ проникшемъ въ Европу изданіи вавилонской религіи весь циклъ понятій о спасеніи имѣлся налицо.

Между тѣмъ въ центрѣ, откуда шла культура, продолжалась работа, множились толкованія и варіаціи, возникали секты и разногласія, которыя преувеличивали или заостряли ту или другую сторону основной теоріи. То выдвигался на первое мѣсто вопросъ о подготовкѣ великаго подвига искупленія, о степеняхъ постепеннаго возвѣщенія избавительнаго слова «пророками», то моментъ его полного откровенія, то изображались муки героя-спасителя и его предстоящее возвращеніе въ сіяніи побѣды или среди окончательной катастрофы міра, которая будетъ гибелью для однихъ и торжествомъ для другихъ. Долина Евфрата была ареной совершенно исключительной по своей интенсивности работы богословскихъ, литературныхъ и астрологическихъ школъ, мѣстомъ горячихъ споровъ, диспутовъ и проповѣдей, фабрикой и типографіей без-



конечнаго множества обработокъ основного сюжета, догматическихъ и полемическихъ книжекъ, религіозныхъ романовъ, астролого-мистическихъ фантазій и т. п. Дошедшія до насъ каноническія и апокрифическія сочиненія іудейской и христіанской литературы составляютъ обрывки, много разъ стертыя и обрубленные, разрозненные и немногочисленные куски этой сложной, огромной и неорганизованной работы. Можетъ быть, нѣкоторое слабое понятіе о ней даютъ позднѣйшія арабскія школы, помѣстившіяся съ VII в. на томъ же мѣстѣ, около много разъ завоеваннаго и разрушеннаго Вавилона.

Ранніе результаты вавилонской пропаганды въ Европѣ ускользаютъ отъ нашего глаза. Мы не можемъ даже точнѣе опредѣлить, когда проникла въ Грецію религія олимпійцевъ, не знаемъ хорошо ея послѣдовательныхъ фазъ или наслоеній. Мы видимъ только, что восточныя теченія усиливались отдѣльными приливами. Однимъ изъ такихъ приливовъ былъ, вѣроятно, культъ безвременно погибшаго Діониса, рожденнаго дѣвой. Другимъ наслоеніемъ, но съ характеромъ болѣе литературнымъ и академичнымъ, былъ платонизмъ, учившій о двойственной жизни «идей», то глядящихъ на насъ сверху вѣчными яркими звѣздами небеснаго свода, то заключенныхъ въ насъ самихъ въ видѣ нашего духовнаго начала.

Рѣзче намѣченъ моментъ выступленія іудейства, можетъ быть, потому, что самое возникновеніе этого толка составляло результатъ своего рода вавилонской «реформаціи». Но тутъ мы имѣемъ дѣло еще съ нѣкоторымъ оптическимъ обманомъ. Какъ ни ясно теперь вавилонское происхожденіе Ветхаго Завѣта, сказаній книги Бытія, библейской лирики и видѣній пророковъ, но все же очень трудно отрѣшиться отъ мѣстнаго палестинскаго тона и

окраски этихъ разсказовъ и заключенной въ нихъ полемики и проповѣди. Сколько усилій было положено европейскими учеными на то, чтобы объяснить монотеизмъ іудейства изъ особыхъ условій природы и исторіи Ханаана! А между тѣмъ все принесено изъ проклятаго въ послѣдствіи Вавилона, и притомъ окончательная, самая чистая редакція очень поздно—эмигрантами V вѣка, вернувшимися будто бы изъ вавилонскаго плѣна, а въ дѣйствительности составлявшими новую группу колонистовъ, ушедшую на далекій западъ черезъ степь въ іорданскую долину. Эти позднія поколѣнія, конечно, нашли уже на берегу Средиземнаго моря слѣды стараго вавилонскаго вліянія; они нашли также старинныя мѣстные лѣтописи, «книги царствъ», но они еще разъ и окончательно переработали въ своемъ клерикальномъ тонѣ всю исторію маленькой страны, и эта исторія, ничтожная въ дѣйствительности, силою литературнаго построенія, превратилась во всемірно-историческую драму. Между тѣмъ, тѣсныя кулисы, въ которые имъ пришлось помѣстить дѣйствіе божественной трагедіи, задуманной на широкихъ равнинахъ Месопотаміи, среди волнующагося человѣческаго моря, остались и выдають вымыселъ, выдають заимствованіе.

Съ Палестиной въ исторической традиціи случилось то же самое, что съ другой сосѣдней и родственной страной, Финикіей. И тутъ тоже ученые XIX вѣка много ломали голову надъ вопросомъ, какимъ образомъ маленькая безплодная береговая полоска, прижатая къ морю горнымъ хребтомъ, породила такую крупную колонизацію, охватившую чуть не весь западъ Средиземнаго моря, создавшую два Карфагена и довольно цѣпкую пунійскую культуру. Но Финикія была только передаточной станціей многочис-



ленныхъ и разноплеменныхъ эмигрантовъ, выходившихъ изъ передней Азіи: они снаряжались здѣсь въ далекій путь. Ихъ матеріальный багажъ и ихъ идейный запасъ возникли все тамъ же, въ равнинѣ Евфрата. Нѣчто подобное, вѣроятно, придется сказать и о Палестинѣ. Даже въ самую горячую пору іудейскаго религіознаго развитія, въ эпоху сектъ, возстаній іудейскихъ мистиковъ, появленія христіанской проповѣди, главная масса евреевъ была внѣ Палестины, на западѣ и на востокѣ, въ Египтѣ, Малой Азіи, Греціи и Италіи, въ Селевкии и Ктезифонѣ. Александрійское іудейство, во всякомъ случаѣ, глубже и сильнѣе переживало религіозныя проблемы эпохи, чѣмъ его сравнительно малочисленные и малокультурные единоплеменники въ узкой полосѣ между Іорданомъ и Средиземнымъ моремъ.

Связь христіанства съ Палестиной также крайне слаба и случайна. Авторы евангельскихъ рассказовъ умѣли съ несравненнымъ искусствомъ изобразить краткое земное странствованіе галилейскаго плотника, такъ очаровавшаго простыхъ людей своей тѣсной провинціальной родины и такъ безжалостно сломленного старовѣрами и клерикальной аристократіей Іерусалима, при безучастномъ отношеніи римскаго полицейскаго чиновника. Но передъ нами лишь одинъ изъ примѣровъ того, что литературный пересказъ, романъ или эпосъ, можетъ дѣйствовать несравненно сильнѣе на мысль и вѣру длиннаго ряда поколѣній, чѣмъ реальное событіе. Не даромъ римскіе, греческіе и іудейскіе современники молчатъ о томъ, что происходило въ Іерусалимѣ въ послѣдніе годы правленія Тиверія: среди эпизодовъ непрерывной, почти партизанской войны, кипѣвшей въ маленькой безпокойной странѣ, среди многихъ религіозныхъ вспышекъ въ Сиріи и Палестинѣ, траги-

ческая смерть галилейскаго пророка, схваченнаго въ первые же дни появленія своего въ Іерусалимѣ, прошла совершенно незамѣченной. Христіанскія общины въ Палестинѣ были ничтожны и эфемерны—если вообще онѣ здѣсь были,—въ то время какъ въ сосѣднихъ неіудейскихъ странахъ пропаганда новаго сектантства шла широко и полнымъ ходомъ. Опять Палестина была промежуточнымъ пунктомъ, черезъ который прошелъ новый приливъ вавилонскаго богословія, чтобы возрастающими волнами заполнить старыя европейскія колоніи того же востока. Можно думать, что первые толчки іудейской секты, превратившейся въ христіанство, идутъ также съ Евфрата, гдѣ подъ владычествомъ парянъ оставались обширныя іудейскія колоніи, находившіяся въ тѣсныхъ сношеніяхъ съ сирійскими и египетскими богословскими и литературными школами.

При этомъ произошло явленіе, много разъ повторявшееся въ исторіи мѣтовъ и догматовъ: небесный процессъ, божественная драма, происходящая внѣ пространства и времени, приняла мѣстный колоритъ, отождествилась съ опредѣленнымъ эпизодомъ и фігурой эпохи и фиксировалась въ видѣ опредѣленнѣйшаго событія, всѣ детали котораго можно было прослѣдить на мѣстахъ. Таковы вообще «воплощенія» всѣхъ временъ и народовъ. Первые литературные провозвѣстники христіанства строго удержали палестинскій колоритъ: они хлопочутъ о соединеніи своего героя съ величайшимъ мѣстнымъ національнымъ объединителемъ Давидомъ, они умѣютъ передать идиллическую обстановку Генисаретскаго озера, крошечной арены, гдѣ бѣдные рыболовы слушали безхитростныя притчи о царствѣ небесномъ, открывающемся въ насъ самихъ. Но уже послѣдній евангелистъ пренебрегъ этими



провинціалізмами: дѣйствіе его філософской драмы лишь по имени происходитъ въ Палестинѣ: самаритянка у колодца, Никодимъ, пришедшій ночью, апостолъ Петръ, трижды вопрошаемый Господомъ о силѣ любви къ Нему,— не историческія и не бытовые лица, а психологическіе типы, носители извѣстныхъ общечеловѣческихъ принциповъ, или такіе же условные персонажи, необходимые для репликъ, какъ собесѣдники Сократа въ платоновскихъ діалогахъ. Въ четвертомъ евангеліи мы опять возвращаемся къ великимъ общимъ идеямъ, мы покидаемъ землю, чтобы приковать вниманіе къ небеснымъ перипетіямъ, мы опять среди мірового круговорота въ борьбѣ свѣта и тьмы.

Какъ ни различны литературные приемы синоптиковъ и автора четвертаго евангелія, но и первые, и послѣдній были великими мастерами пропаганды, и невольно думается, что въ тогдашней бѣдной и малокультурной Палестинѣ едва ли такъ умѣли писать. Къ сожалѣнію, вся большая литература, къ которой принадлежатъ каноническія книги, исчезла, истребленная большею частью руками позднѣйшихъ христіанскихъ же цензоровъ—ревнителей чистоты; допущенныя и одобренныя ими сочиненія стоятъ 'одинокими руинами, и вслѣдствіе этого происхожденіе ихъ остается темнымъ. Но что онѣ вышли изъ старинныхъ школъ съ богатыми традиціями, что онѣ—часть своего рода классическаго вѣка литературы, возможнаго лишь послѣ долгаго сложнаго развитія,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія. Христіанскіе апологеты были почти правы, когда говорили, что христіанство такъ же старо, какъ міръ. Мы теперь скажемъ нѣсколько точнѣе: да, оно—такъ старо, какъ самая старинная культура міра, вавилонская.

Если іудейство въ своей религіозно-промышленной колонизаціи продвинулось дальше на западъ и сѣверъ, чѣмъ эллиизмъ—въ Испанію и среднюю Европу,—то третья волна вавилонской культуры, христіанство, захватила еще болѣе, всю Европу. Между тѣмъ старинный очагъ просвѣщенія подвергся ряду разореній. Его богатства нѣсколько разъ расхищали ближніе сосѣди, ассиріяне, эламиты, персы; увлекаемые блескомъ «вѣчнаго города», по значенію подобнаго императорскому и средневѣковому Риму, восточные завоеватели садились въ немъ, дѣлали его столицей. Такъ же поступилъ и западный конкистадоръ, Александръ Македонскій. Снова и снова чужіе властители собирали съ трудолюбиваго населенія равнины неслыханныя жатвы и подати, снова и снова извлекали пользу изъ общаго транзита, шедшаго черезъ Месопотамію. Изъ нея уходили массами колонисты, какъ изъ Европы ХІХ в. въ Америку, въ поискахъ лучшей участи. Страна бѣднѣла, но все еще сохраняла очарованіе, все еще держались въ ней традиціи. Парсизмъ, религія и церковь ново-персидскаго государства, а также промежуточное между нимъ и христіанствомъ манихейство въ сильнѣйшей мѣрѣ проникнуты вавилонскими чертами и даже кружатся около того же исконнаго географическаго центра.

Въ VII в. по Р. Х. Вавилонъ далъ жизнь своему послѣднему произведенію—исламу. Игра историческаго преломленія лучей опять ведетъ насъ въ другую сторону, въ Аравію; тамъ вѣдь жилъ и дѣйствовалъ «основатель религіи» Мохамедъ, оттуда пошли муслимы, «слѣпо преданные» ревнители. И снова насъ освобождаетъ отъ оптического обмана то соображеніе, что степь около Мекки и Медины—край бѣдный и невѣжественный, что всѣ элементы вѣроученія ислама—чужіе, что внѣ предѣловъ ма-



лолюднаго ѣ пустыннаго полуострова жили арабы, болѣе тронутые культурой, чѣмъ разбойничьи и пастушескія племена арабской метрополіи. Вся наука, вся казуистика толкованій корана, все сложное мусульманское право, главныя теченія мусульманской мистики, все это кипѣло и волновалось въ нижней Месопотаміи, на почвѣ арабскихъ военныхъ колоній, служившихъ персамъ и черезъ нихъ воспринявшихъ элементы старинной вѣры въ великое слово избавленія, въ пророка, открывающаго собою новую эру человѣчества, въ страшный судъ и т. п.

Послѣднее изданіе вавилонской религіозной философіи было слабѣе своихъ предшественниковъ, чему и нельзя удивляться: вѣдь расхитители, восточные и западные варвары, нѣсколько разъ разрушали и разносили по частямъ великолѣпное старинное строеніе; все меньше и меньше силы и энергіи сохранялось для его возстановленія, пока на мѣстѣ отъ него не осталось камня на камнѣ.

И все-таки этотъ послѣдній цвѣтъ восточной евфратской культуры былъ богаче, выше, тоньше, чѣмъ одичавшая христіанская Европа. Съ IX по XII в. послѣдователи креста увлекались богатствами странъ полумѣсяца, покупали ихъ изящныя издѣлія и предметы роскоши, отправлялись на выучку къ мудрецамъ мусульманства, которые притомъ сидѣли такъ близко въ самой Европѣ—на Пиринейскомъ полуостровѣ. Крестовые походы—фактъ не только воинственнаго благочестія, но и промышленной жадности, золотоискательской авантюры,—составляютъ яркій знакъ этого сознанія западныхъ людей, что ихъ культура ниже, бѣднѣе восточной, что тамъ—земной рай рода человѣческаго. Посредническая роль арабовъ въ сообщеніи европейцамъ греческой науки, особенно Аристотеля, слишкомъ извѣстна. Меньше, можетъ быть, обращали вни-

манія на другую культурную передачу: въ эту же пору и при помощи тѣхъ же посредниковъ проникла въ Европу вавилонская астрологія, когда-то органическая часть великой религіи неба; она уже передалась европейцамъ въ старину, въ видѣ нерушимаго календаря, а теперь, въ XIV—XVII вв. составила главную ихъ науку.

На частномъ примѣрѣ вавилонской астрологіи можно наблюдать характеръ передачи восточныхъ вліяній въ Европу. Въ разное время послѣдовательными слоями ложились на европейскую дикость черты вавилонской культуры; иное было повтореніемъ или варіаціей предшествующаго, иное расходилось съ первымъ изданіемъ, такъ какъ въ самомъ центрѣ происходила эволюція, разрывались направленія, бушевали секты и толки, и на окраины приходили элементы, враждовавшіе между собою еще на родинѣ. Но въ цѣломъ приливавшіе продукты могли сростаться въ общую культуру. Галлы легко отождествили своихъ боговъ съ римскими, а римляне своихъ съ греческими, потому что эти боги были одинаковыми понятіями, пришедшими изъ одной и той же школы въ разное время. Еврейскіе пропагандисты александрійской эпохи легко ориентировались въ греческой мифологіи и убѣдительно показывали тождество Орфея, Геракла и другихъ героев съ патріархами и богатырями Библии. Христіанство захватило съ собою цѣликомъ весь іудейскій Ветхій Завѣтъ и примѣнилось искусно къ греческому Логосу, который въ свою очередь достался платоникамъ съ таинственнаго Востока. «Языческая» астрологія, съ ея полунаучнымъ признаніемъ стихійныхъ безличныхъ силъ, отлично уживалась въ средневѣковой Европѣ вмѣстѣ съ вѣрой въ личное заступничество Богоматери и святыхъ, какъ она мирилась съ подобными же идеями въ старинномъ Вавилонѣ.



Съ теченіемъ времени произошла одна важная перемѣна. И сами восточные колонисты, и приносимыя ими понятія, обычаи и религія, все болѣе удалялись отъ своей метрополіи, отъ источника свѣта и поученія. Эмигрантамъ и миссіонерамъ большею частью приходилось прочно основаться на новыхъ мѣстахъ, развитъ самостоятельную жизнь, слиться съ туземными группами. Позднѣйшія ихъ поколѣнія забывали о старинной культурной родинѣ. Въ то же время метрополія разрушалась, видоизмѣнялась, въ ней садились чужіе. Такъ могло случиться, что Вавилонъ изъ «священнаго города», изъ столицы міра, сдѣлался для своихъ же дѣтей, іудеевъ, предметомъ отвращенія и проклятія, «блудницей». По-своему они были правы. Свѣточъ міра перешелъ въ другія руки: тамъ, гдѣ были раньше учителя чистой мысли и вѣры, распоряжались теперь чужіе расхитители, еретики или язычники. Первые стали послѣдними. Поэтому представленіе о священномъ градѣ передвигается на западъ, какъ будто слѣдуя за отливомъ колонизаціи. Градомъ божьимъ становится Іерусалимъ, еще позднѣе Римъ и Мекка.

Но постепенно само понятіе о священномъ городѣ стало видоизмѣняться. Среди іудеевъ, а потомъ христіанъ и мусульманъ появилось мистическое направленіе, своего рода религіозный нигилизмъ, сводившій матеріальные моменты на игру воображенія, на психологическія состоянія восторженной или вдохновенной души; зачѣмъ искать священной столицы міра, когда на землѣ нѣтъ таковой, когда все пропиталось порчей? пусть люди отрекутся отъ стараго Іерусалима въ пользу Іерусалима новаго, града небеснаго, т.-е. въ пользу великаго идеала, спасительная сила котораго откроется человѣку лишь въ концѣ времени. Эта апокалипсическая идея, оторвавшаяся не только

отъ Вавилона, но и отъ всякой мѣстности на земномъ шарѣ вообще, тѣмъ не менѣе примыкаетъ къ чисто вавилонскому кругу идей.

Если глядѣть на исторію Европы съ востока, виденъ рядъ колонизаціонныхъ и миссіонерскихъ движеній, то идущихъ медленно прерывающимися небольшими группами, то усиливающимися въ сплошныя могучія теченія. Эти теченія отмѣчены появленіемъ большихъ всемірныхъ религій. Можно посмотрѣть на процессъ взаимодѣйствія съ другого, западнаго конца, и тогда перспектива будетъ иная.

Западъ не только пассивно воспринималъ свѣтъ съ востока. По временамъ онъ судорожно, бурно отвѣчалъ на восточную эмиграцію и на религіозную пропаганду большимъ походомъ, цѣлой завоевательной эпопеей, крупнымъ воинственнымъ передвиженіемъ. Это была тоже колонизація, но обыкновенно болѣе массивная, порывистая, съ характеромъ захвата. На движеніе съ востока ремесленныхъ группъ, торговцевъ, миссіонерскихъ братьевъ западъ отвѣчалъ «великими переселеніями». Принесенные съ востока культурные продукты проникали сначала въ разрозненныя племенные массы и служили средствомъ подчиненія полудикарей чужимъ господамъ. Но постепенно просвѣщеніе помогало также новымъ адептамъ культуры объединиться и давать отпоръ пришельцамъ. Получалось положеніе, которое можно наблюдать въ современной Афrikѣ, напр., у кафровъ и зулусовъ: соприкосновеніе съ европейскими культуртрегерами даетъ толчокъ къ образованію перваго государства, къ соединенію довольно значительныхъ массъ и крупныхъ территорій. Вновь увидѣвшіе свѣтъ исторіи народы могутъ быть преисполнены очень высокаго сознанія «своей собственной» культуры,



но у нихъ остается еще какое-то неистребимое тяготѣніе къ старымъ просвѣтительнымъ центрамъ, къ стариннымъ источникамъ сокровищъ. Заимствованное съ востока сказанье о земномъ раѣ европейцы переносили на самое страну восхода и искали прямого доступа въ чудесный край. Сложилась особая форма подвига, хожденіе къ святому мѣсту, чтобы пріобщиться покоющейся на немъ божьей благодати, унести частицу его земли или даже въ смутной надеждѣ принять въ немъ смерть и увидать небо. Если божій градъ, Іерусалимъ, Мекка, Римъ, оказывался въ чужихъ рукахъ, трудное богомолье превращалось въ самоотверженную борьбу. Такъ возникали большія экспедиціи, соединявшія массы людей.

Мы не знаемъ, когда совершился первый походъ Европы на Азію. Можетъ быть, это и было то происшествіе, которое послужило первой основой сказанія о троянской войнѣ, можетъ быть, Агамемнонъ и Пріамъ и дѣйствительно были крупными и знаменитыми вождями, представлявшими силы Европы и Азіи. Микенская культура Греціи, такъ тѣсно примыкавшая къ просвѣщенной части Азіи, повидимому, пала вслѣдствіе крупной катастрофы. Тѣ же самые сѣверные воители, которые прикончили ее, забравши ея замки и богатства, могли перенести свое оружіе и за море, въ Малую Азію. Если это вѣрно, то позднѣйшіе спартанскіе кондотьеры, выходившіе противъ персовъ около 400 года, и Александръ Македонскій имѣли основаніе считать Агамемнона и Ахилла своими предшественниками: движеніе ахейцевъ, изображенныхъ Гомеромъ, надо думать, и было именно раннимъ «переселеніемъ народовъ» въ Азію. Какъ далеко зашли они, намъ, разумѣется, остается неизвѣстнымъ.

Слѣдующимъ переселеніемъ былъ походъ Александра

въ IV в. до Р. Х. Онъ еще засталъ Вавилонъ живымъ и не усумнился выбрать «вѣчный городъ» своей столицей. Скоро смѣнившіе грековъ римляне—Лукуллъ, Помпей, Цезарь, Траянъ—уже не могли достигнуть таинственно манившей цѣли: Вавилонъ остался въ чужихъ рукахъ. Съ новымъ святымъ городомъ, который лежалъ на окраинѣ имперіи, съ Іерусалимомъ, римляне уже не могли примириться, вѣроятно, именно потому, что Палестина сохранила слишкомъ много связей съ Месопотаміей, оставшейся въ рукахъ ихъ политическаго врага. Стоитъ замѣтить, однако, что вначалѣ римляне не были враждебны новѣйшему восточному теченію, іудейству: извѣстно, что евреямъ благоволилъ Цезарь, что въ концѣ республики они занимали въ самомъ Римѣ довольно видное мѣсто въ рядахъ демократіи; между представителями высшаго класса, и даже въ императорскомъ домѣ, были прозелиты іудейства, какъ, напр., жена Нерона.

Въ эти вѣка—послѣднія два столѣтія до нашей эры и первыя четыре послѣ нея—восточная религіозная колонизація зашла такъ далеко на западъ, какъ еще никогда раньше. Полухристіанскіе маги выступали въ Ирландіи, почитатели Митры строили свои часовни-пещерки на Рейнѣ. Въ свою очередь, соотвѣтствующая воинственная реакція съ сѣвера и запада—это и было такъ наз. «великое переселеніе» III—V вв. по Р. Х.—остановилась несравненно раньше, чѣмъ римское завоеваніе: она не пошла дальше границъ Италіи. Остался незахваченный наше-ствіемъ край, отнятый въ свое время римлянами у Востока, Византія, съ культурой промежуточной, съ сильнымъ при-даткомъ восточныхъ «ересей» въ родѣ манихейства, нѣчто крайне подозрительное съ точки зрѣнія «правовѣрно-христіанскаго» Запада, который опять, какъ во времена скан-



динавско-ирландской культуры, оторвался рѣзко отъ центрального очага. «Франки», явившіеся на востокъ крестоносцами, мало были склонны различать византійцевъ, официально съ ними единовѣрныхъ, отъ муѡльманъ: весь этотъ востокъ былъ заманчивъ, но въ то же время чуждъ, «пороченъ» и преданъ заблужденію. Съ другой стороны, и Византія, въ качествѣ подлиннаго Востока, истинной хранительницы исконныхъ традицій, смотрѣла свысока на западныхъ варваровъ, такъ поздно и такъ несовершенно воспринявшихъ начала просвѣщенія.

Крестовые походы—послѣдняя реакція Запада на восточныя чары. Въ нихъ много общаго съ экспедиціей Александра, съ предпріятіями римлянъ въ Сиріи и Месопотаміи, съ движеніемъ готовъ на Италію. Крестоносцы предполагали желанный край неисчерпаемо богатымъ и считали его территорію святой, хотя и заполненной невѣрными. Это сознаніе составляло лишь своеобразное отраженіе совершенно реальнаго факта: все, что было свѣта, украшенія и достатка въ бѣдной, полуварварской Европѣ, она получила изъ этой далекой области, которую неясно звали Востокомъ, Индіей, «срединой обитаемой земли» и т. п. Но крестоносцы запоздали: франкскіе рыцари, искавшіе земли и крѣпостныхъ рабочихъ, и воинствующие итальянскіе купцы нашли край, въ свою очередь разоренный и истощенный; они встрѣтились съ другимъ феодальнымъ обществомъ, пришедшимъ съ дальняго Востока и еще сейчасъ занимающимъ край Европы, подъ названіемъ турокъ. Продуктивность Востока окончилась, и Европа осталась съ тѣмъ, что она успѣла перенять у него или самостоятельно выработать.

Въ то же время рѣзко разошлись и отдѣльныя теченія восточной культуры, секты и толки старинной рели-

гій, вышедшія изъ общаго источника. Полная взаимная нетерпимость христiанства, iудейства и мусульманства— фактъ сравнительно новый и поздній. Хорошо извѣстно, какъ существовали разныя религіи въ римской имперіи. Iудеи занимали по временамъ въ мусульманскомъ мірѣ, напр., въ Испаніи, положеніе весьма видное и выгодное, да и въ христiанской Европѣ до крестовыхъ походовъ было нѣчто подобное: iудей-купецъ, нерѣдко называвшійся сирійцемъ, пользовался привилегіями; привлечь въ новооснованный рынокъ евреевъ значило «придать ему достоинство». Ранній исламъ не отдѣлялся стѣной отъ iудейства и христiанства: сирійскіе арабы допускали христiанъ въ высшую администрацію; въ Дамаскѣ VII в. одно и то же зданіе служило церковью и мечетью. Отношенія европейскихъ христiанъ къ Востоку до крестовыхъ походовъ были также проще и непосредственнѣе, чѣмъ потомъ: въ германскихъ церквахъ висѣли ризы изъ восточныхъ матерій, снабженныхъ арабскимъ символическимъ орнаментомъ; возможны были совмѣстные турниры христiанскихъ и мусульманскихъ рыцарей.

Но по мѣрѣ того, какъ расходились все дальше ступени родства, вышедшаго изъ одной семьи, по мѣрѣ удаленія потомковъ одной общей культурной метрополіи отъ первоначальнаго источника, между ними развивалась все бóльшая національная исключительность и религіозная нетерпимость. Раньше они лучше узнавали другъ друга, легче размежевывались или спокойнѣе жили бокъ о бокъ.

Съ теченіемъ времени стали слабѣть, стираться и главные основы старинной культуры и міровоззрѣнія. Винклеръ имѣлъ право приставить къ своей общей мысли опредѣленную хронологическую дату. Старые дары Вавилона, астрологія и вѣра въ небесныхъ заступниковъ,



испытываютъ первые сокрушительные толчки въ XVI вѣкѣ. Съ точки зрѣнія культурной исторіи Европы, это—дѣйствительно важный поворотъ, начало новой исторіи.

---

Вышеприведенныя соображенія возникаютъ невольно, когда сопоставляешь данныя европейской и передне-азіатской археологіи. Вѣроятно, многое даже въ этомъ приблизительномъ наброскѣ окажется невѣрнымъ и непропорціональнымъ; но общія линіи культурнаго развитія западной половины Стараго свѣта, думается мнѣ, опредѣлились безповоротно. Мы слишкомъ долго жили построеніями и догадками грековъ, іудеевъ и христанъ, т.-е. учениковъ или колонистовъ, которые оторвались отъ своей школы или метрополіи и привыкли считать доставшееся имъ наслѣдіе пріобрѣтеніемъ собственной инициативы и энергіи. Въ глазахъ грековъ свѣтъ культуры начался на ихъ собственной почвѣ и притомъ совсѣмъ недавно, евреи считали свое избранничество, правда, очень стариннымъ фактомъ, но зато весь остальной міръ людей казался имъ погруженнымъ во мракъ и заблужденіи, а христіане очень скоро заглушили первоначальный аргументъ апологетовъ въ пользу исконности своего ученія—точной датой воплощенія, обозначившей начало Новаго слова. Всѣ эти школы такъ или иначе загородились стѣной отъ своей родины, искренне увѣровавъ въ свою собственную чистоту, непосредственность и оригинальность.

Но нашлись молчаливые свидѣтели противъ ихъ ошибочной традиціи: вавилонскія плитки съ обрывками молитвъ и астрономическихъ выкладокъ, европейскіе кувшины съ однообразной фабричной мѣткой и даже совсѣмъ безличныя, повидимому, топоры, ножи и молотки. Разъ обна-

ружился фактъ непрерывной преемственности восточнаго вліянія. сталъ выясняться смыслъ множества до тѣхъ поръ разрозненныхъ явленій европейской культуры: мифовъ, литературныхъ формулъ и оборотовъ, географическихъ названій, эпизодовъ военной исторіи, медицинскихъ средствъ и т. п. безъ конца. Близнецы или двойники въ сказаніяхъ; одинъ безсмертный, другой—смертный, въ родѣ Ромула и Рема, Поллукса и Кастора, искупительная жертва невинной дѣвушки или женщины (Лукреціи, Виргиніи, Ифигеніи), бичеванье моря Ксерксомъ, дѣйствительное или легендарное, пропаданіе героя у подземной или находящейся гдѣ-то на западѣ чаровницы, Одиссея у Калипсы и Кирки, Тангейзера у Венеры, птица фениксъ и міровой пожаръ, Вѣчный жидъ, прикладываніе паука—шарика съ лучами—къ больному глазу, пытка въ видѣ колесованія, и пр., и пр., игры и серьезное, крупное и мелкое, формы разсказа, суевѣрія, моды, судебныя наказанія, виды оружія, все это представляетъ повтореніе и воспроизведеніе частныхъ всеобъемлющей вавилонской символики. Разъ мы усвоили этотъ методъ, привыкли отыскивать отношеніе къ восточному оригиналу, насъ уже начинаетъ поражать обиліе, общераспространенность копій, мы удивляемся, какъ мы не видѣли раньше всѣхъ этихъ совпаденій.

Быть можетъ, не только реальная исторія, но также историческая методологія должна испытать воздѣйствіе вновь открывшихся фактовъ. Отдѣлавшись отъ гегеліанскихъ фантазій о непрерывномъ шествіи абсолютнаго духа черезъ тѣлесныя оболочки «историческихъ народовъ», очень кстати подставляемыхъ Провидѣніемъ, историческая наука отдалась нѣкоторой естественной реакціи. Явилось очень законное недовѣріе къ «всемирно-историческимъ» по-



строєніямъ, къ всевозможнымъ «вліяніямъ» и «передачамъ», потому что въ нихъ боялись опять встрѣтиться съ «разумными путями развивающагося изъ себя духа». Вмѣсто того, чтобы изучать общій процессъ развитія чело-вѣчества, предпочитали слѣдить за самостоятельнымъ развитіемъ отдѣльныхъ обществъ. Встрѣчая, напр., сходныя черты въ религіи старинныхъ европейскихъ и азіатскихъ племенъ, историки всего охотнѣе сводили ихъ на общія психическія и соціальныя предпосылки, одинаковыя для всѣхъ обществъ, въ нихъ видѣли одновременно или разновременно, но самобытно достигнутыя ступени.

Въ настоящее время къ этому взгляду придется сдѣлать значительныя ограниченія. Можно быть смѣлѣе въ допущеніи историческихъ вліяній, не опасаясь впасть въ старый фатализмъ и провиденціализмъ. У старинныхъ европейцевъ оказывается гораздо больше заимствованнаго, выученнаго, чѣмъ можно ожидать: притомъ это замѣчается одинаково, какъ въ области духовной, такъ и матеріальной культуры. Полной замкнутости, чистаго нату-рального хозяйства, можетъ быть, никогда не было съ первыхъ шаговъ культуры. Искони существовали торго-выя сношенія, колонизація и передвиженія, пропаганда. Безъ сомнѣнія, на мѣстахъ шла и самостоятельная ра-бота, многое достигнуто одновременно въ разныхъ гео-графическихъ рамкахъ и условіяхъ, самобытными уси-ліями, но, можетъ быть, еще чаще слѣдующая ступень развитія бралась скачкомъ, въ видѣ преждевременнаго урока, грубо и несовершенно воспринятаго, но все-таки взятаго съ чужого голоса и уже потомъ разученнаго.

---

Всякая научная работа представляетъ изслѣдованіе и рѣшеніе частныхъ задачъ на основаніи тѣхъ пріемовъ

и по тѣмъ основнымъ линіямъ, которыя указаны крупными проблемами. Эти проблемы въ сущности уже являются большими идеальными построеніями матеріала. Поколѣнія, которыя надъ ними работаютъ, до тѣхъ поръ не находятъ себѣ успокоенія, пока не провѣрятъ такого построенія, т.-е. пока не размѣстятъ всего запаса извѣстныхъ данныхъ по намѣтившемуся идеальному чертежу. Мнѣ кажется, что за послѣднее время намѣтился новый чертежъ въ исторіи большой части человѣческаго общества на землѣ: и мнѣ хотѣлось въ этой краткой статьѣ только обратить вниманіе на предстоящій переворотъ въ историческихъ работахъ.

---



## Реакціонный идеализмъ и новая наука.

Время отъ времени въ культурномъ обществѣ поднимается протестъ противъ науки приблизительно въ такой формѣ: «наука безсильна отвѣтить на крупныя вопросы, волнующіе человѣчество, но ихъ можетъ разрѣшить философія или религія, или искусство».

Намъ теперь приходится, можетъ быть, особенно часто слышать такія заявленія. И они какъ будто находятъ себѣ отзвукъ въ средѣ многихъ представителей самой науки, готовыхъ признать, что въ таинственную область непознаннаго можно проникнуть инымъ путемъ, кромѣ тѣхъ осторожныхъ, точныхъ, но ограниченныхъ шаговъ, которыми идетъ научное познаніе. По всей Европѣ распространяется вотъ уже второе десятилѣтіе сильная струя философской реакціи, которая у насъ едва ли случайно совпала съ реакціей общественной. Довольно разнообразны оттѣнки этой умственной реакціи, отъ мягко неопределеннаго волюнтаризма до необузданно христіанизирующей философіи, охотно подводятъ себя подъ благозвучное названіе *идеализма*.

При этомъ имени прежде всего приходитъ мысль о томъ наводненіи новой схоластикой, которую испытываютъ общественныя науки, и дѣйствительно, здѣсь разгромъ, можетъ быть, наиболѣе силенъ. Нѣтъ нужды приводить всѣмъ извѣстныя иллюстраціи. У насъ не одинъ ученый

соціологъ и юристъ прошелъ столь извѣстный путь «отъ марксизма къ идеализму», какъ гласило заглавіе одного автобіографическаго признанія. Аудиторіи вторятъ своимъ лекторамъ, и ученики поощряютъ учителей. Не такъ удивительно то, что въ качествѣ введенія къ одному юридическому предмету оказалась возможной бесѣда о безсмертіи души, какъ любопытно и важно, что эта тема поправилась.

Но не однѣ общественныя науки испытываютъ наплывъ реакціонныхъ идей. Сильное теченіе аналогичнаго рода замѣтно также въ области естественныхъ наукъ. Достаточно напомнить, какъ много въ настоящее время сторонниковъ неовитализма, т.-е. ученія объ особой жизненной силѣ или энергіи въ организмахъ, ведущей ихъ къ опредѣленнымъ цѣлямъ, о сознательномъ творествѣ въ природѣ.

Къ идеалистической философіи примыкаютъ, иногда отдѣляясь отъ нея едва замѣтной границей, различныя теософическія системы, къ которымъ въ свою очередь приближаются попытки оживленія религіи, реставраціи богословія, идеализаціи религіознаго чувства, многократныя упоминанія о божественномъ началѣ и призывы къ неисповѣдимымъ силамъ—вся эта странная для посторонняго глаза игра со старымъ аппаратомъ, пытающаяся возобновить тѣ страхи, ожиданія и утѣшенія, которыя переживали люди того времени, когда земля казалась всѣмъ міромъ.

Вся эта группа идеалистическихъ формулъ, призывовъ и порываній свидѣтельствуетъ о нѣкоторомъ утомленіи мысли. Какъ будто одинъ основной мотивъ звучитъ въ различныхъ проявленіяхъ: «Назадъ, остановка научнаго анализа, заходящаго слишкомъ далеко и расшатывающаго



все, что было и должно остаться прочнымъ въ жизни и представленіяхъ людей. Въ мірѣ, въ природѣ человѣка есть неразложимыя, божественныя, вѣчныя начала, которыя должны остаться неприкосновенными, иначе пришлось бы отчаяться, иначе станетъ разстраиваться общечитіе». Мы особенно часто слышимъ отъ сторонниковъ идеализма слова «вѣчный», «абсолютный».

Какъ ни высоко стоятъ въ данную минуту воды идеализма, едва ли однако можно предречь ему еще долгое существованіе, во всякомъ случаѣ онъ не подвигается дальше въ своихъ требованіяхъ, утвержденіяхъ и пріемахъ, не видно открывающейся передъ нимъ работы. Идеалистическая философія еще уловить иныхъ въ свои очарованные круги, еще будутъ поддаваться ея утѣшительному шопоту, улаждающему слабости человѣческой природы. Но уже неосторожный призывъ идеалистовъ къ теоретико-познавательному критицизму, къ анализу нашего аппарата наблюденія и разсужденія, грозитъ обратиться противъ нихъ самихъ и разстроить метафизическія сущности, представленія объ особыхъ жизненныхъ силахъ и органическихъ энергіяхъ, о чудесныхъ оборотахъ воли и духа. Съ другой стороны, недалекаго крушенія идеализма можно ожидать на основаніи тѣхъ поученій, которыя даетъ исторія науки, исторія мысли. Принципы, выставленные идеализмомъ, получаютъ тогда опредѣленное мѣсто въ драматической борьбѣ человѣческихъ дерзаній и человѣческихъ страховъ. Мы узнаемъ въ немъ явленіе, повторявшееся въ извѣстной періодичности, но все болѣе слабыми волнами или натисками.

Первыя научныя разсужденія о теченіи міровыхъ явленій, о жизни на землѣ и о человѣческой психикѣ возникли, сколько мы можемъ судить, въ эпоху сильнѣйшаго господ-

ства *анимизма*. Человѣкъ уже раздѣлилъ рѣзко душу и тѣло, внѣшній и внутренній міръ, и крѣпко утвердился въ этомъ дуализмѣ. Онъ привыкъ всѣ свои поступки и движенія разсматривать, какъ проявленія особаго отъ тѣла существа—духа; онъ привыкъ очень высоко оцѣнивать волю этого духа, т.-е. предполагать ко всякому дѣйствию соотвѣтственно сильный внутренній толчокъ, размахъ, или разбѣгъ; онъ привыкъ видѣть въ желаніи, въ игрѣ своихъ представленій—причину матеріальнаго движенія, удара, скачка, всякаго искуснаго дѣйствія и работы и т. д. Такимъ образомъ, онъ помѣстилъ движущую силу въ какомъ-то глубокомъ тайникѣ, гдѣ она, казалось, возникла чудесно, какъ бы изъ ничего. Онъ думалъ, что можно ее точно опредѣлить, и называлъ ее словами: воля, цѣлесообразность, замыселъ.

Переходя къ объясненію явленій природы, человѣкъ вездѣ предполагалъ тѣ же живыя силы, тѣ же воли, личности, души—въ животныхъ и растеніяхъ, въ рѣкахъ и горахъ, въ облакахъ и вѣтрахъ и, наконецъ, въ небесныхъ тѣлахъ. Легіоны духовъ разной силы наполняютъ міръ, начиная отъ мелкаго бѣса какой-нибудь болѣзни, не слишкомъ сильнаго или даже болѣе слабаго, чѣмъ самъ человѣкъ, и кончая богомъ животворящаго солнца или страшнымъ громовикомъ. Вполнѣ отчетливо представляли себѣ, что божества аналогичны людямъ, что это тѣ же—только во много разъ усиленные—люди: у нихъ вся сила въ волѣ, въ хотѣніи, но они гораздо больше могутъ захотѣть.

Любопытно, что въ міръ духовномъ, въ міръ воли, человѣкъ воспроизвелъ существующую общественную іерархію. Онъ сдѣлалъ предположеніе, что богатые и властные, которымъ такъ много удается сравнительно съ бѣд-



ными и подчиненными, — полубоги, что у нихъ несравненно сильнѣе воля, сильнѣе личность; они стали въ его объясненіяхъ земными божествами, героями, великими людьми; таковыми были безъ спора цари и папы, крупные военные вожди и официальные служители культа, но по временамъ могли стать таковыми и ютдѣльные выдвинувшіеся изъ массы силачи, изобрѣтатели, мастера искусства или пророки. Всѣ подобные люди явно стояли въ сношеніяхъ съ великими богами, увеличивали свою волю заимствованіями изъ этого высшаго волевого міра. Земные перевороты и происшествія, очевидно, имѣли причиною ихъ замыслы, очевидно, были въ мѣру ихъ силъ и воздѣйствій. Великіе люди казались творцами событій, они двигали исторію.

Такова была стариннѣйшая философія, отложившаяся въ красивыхъ и страшныхъ, но неизмѣнно наивныхъ мифахъ. Не трудно замѣтить, какое сходство съ ея идеями представляетъ новѣйшій волюнтаризмъ, ученіе о превосходствѣ или первенствѣ воли въ человѣческой психикѣ, а также историческая теорія о творческой роли личности, или о значеніи великихъ людей въ исторіи. Не мѣшаетъ напомнить объ этомъ сходствѣ. Идеалистическія теоріи являются отголоскомъ старинной мифологіи; онѣ — ея продолженіе или возвращеніе къ ея лепету.

Дикари, которыхъ мы еще можемъ наблюдать въ современности, цѣликомъ стоятъ на почвѣ анимизма. Они на каждомъ шагу видятъ волшебство, совершаютъ чудеса и подвергаются имъ. Для этого міровоззрѣнія характерна мысль о господствѣ въ природѣ величайшаго произвола; воли и личности, духи людей и боговъ проявляютъ непрерывно капризы и причуды. Это верхъ анархіи, отсутствіе какого-либо организаціоннаго, регулирующаго, закономернаго начала; для духа нѣтъ препятствія въ

разстояніяхъ, въ срокахъ времени; возможны любыя превращенія; никто никому и ничему не подчиненъ; всякое дѣйствіе измѣряется силой захотѣвшаго его произвести.

Эта черта капризности воли, ея произвольности, или, если можно такъ выразиться, хотѣнія всего того, что захочется, опять-таки остается характерной и для новѣйшаго реакціоннаго понятія о волѣ какъ первомъ, движущемъ, божественномъ началѣ въ человѣкѣ. Стоитъ замѣтить характерную надстройку, которую человѣкъ сдѣлалъ къ этому понятію: онъ говоритъ «свободная воля». Онъ уже не ограничивается констатированіемъ у себя желаній, хотѣній. Онъ думаетъ, что можетъ еще въ нихъ выбирать—захотѣть пожелать то или другое, т.-е. какъ будто надъ регулируемой волей поднимается еще другая, регулирующая, возникающая по мановенію, по капризу человѣка.

Но уже очень рано возникаетъ потребность внести порядокъ въ міровой хаосъ. Легко замѣтить правильныя смѣны, правильную повторяемость многихъ явленій; это указываетъ предѣлы произвольному творчеству и капризнымъ выходкамъ великихъ и малыхъ духовъ. Есть, очевидно, явленія, надъ которыми они безсильны, которымъ и они подчиняются.

Стариннѣйшая наука, какая намъ теперь извѣстна, наука вавилонянъ, уже начала работать надъ ограниченіемъ произвола духовъ. Вавилонскіе астрономы мыслили движеніе неба и звѣздъ безъ анимистическаго объясненія: для нихъ это была сфера вѣчно правильныхъ измѣненій, измѣненій, какъ мы бы сказали, механическихъ. Явленія эти казались имъ наиболее простыми, и потому для нихъ представлялась ненужной гипотеза воли. Но они продолжали признавать воздѣйствіе духовъ на дви-



женіе планетъ, потому что оно казалось болѣе сложнымъ и неправильнымъ; въ планетахъ еще чудились личныя силы, благодѣтельныя и злыя; онѣ были не механическіе факторы, а личности. Происхожденіе этой разницы въ толкованіи вполне понятно: надо имѣть въ виду, что вся старая астрономія не знала простого движенія планетъ около солнца, а строила изъ ихъ видимаго «блужданія», ихъ кажущагося движенія впередъ и назадъ, крайне сложную и путаную систему. Какъ только въ явленіи кажущагося блужданія были открыты простыя линіи, исчезло одухотвореніе планетъ, исчезла астрологія. Сфера механическихъ явленій вообще, т.-е. точно опредѣлимыхъ, повторяющихся, зависящихъ отъ законовъ, и сфера механическихъ объясненій расширились; духи, воля, произволъ замкнулись въ болѣе тѣсныя рамки; въ ихъ вѣдѣніи осталось все не простое, т.-е. не казавшееся простымъ, все болѣе пестрое, разнообразное, переменчивое. Анимизмъ, какъ объясненіе, остался для всей органической жизни, и особенно для фактовъ жизни человѣка и человѣческаго общества.

Уже въ этихъ успѣхахъ небесной механики виденъ характерный путь науки, ея задача отвоевывать и увеличивать область простыхъ механическихъ, законотѣрныхъ явленій, сокращать область причудъ и капризовъ, отнимать шагъ за шагомъ старое царство духовъ. Въ извѣстномъ смыслѣ, исторія науки представляетъ длинную цѣпь стремленій освободиться отъ анимистическихъ объясненій. Но старые взгляды защищались съ необыкновеннымъ упорствомъ, и потому движеніе науки было неровно и не разъ перебивалось смятеніемъ идей, т.-е. реакціями мысли.

Въ новой европейской наукѣ моментъ сильнаго подъема научной мысли и жестокой реакціи противъ нея приходится

на XVI в. Борьба завязалась по поводу великаго астрономическаго открытія Коперника, которое внесло простоту и механичность въ новую сферу, въ область солнечной системы, между тѣмъ какъ четырехтысячелѣтняя вавилонская наука, если не одобренная, то допущенная христіанствомъ, не рѣшалась идти такъ далеко. Какая это была потрясающая революція міровоззрѣнія,—мы можемъ судить по силѣ послѣдующей церковной реакціи, потому что вѣдь за чернымъ знаменемъ крылись всѣ испугавшіеся консервативные инстинкты, все отчаяніе старыхъ властителей, державшихъ ключи отъ ада и рая, распоряжавшихся спасеніемъ душъ. Это спасеніе оказалось уже не великимъ міровымъ явленіемъ; естественные законы, т.-е. механическія безличныя сцѣпленія, заступали мѣсто божественнаго гнѣва или милосердія божества, т.-е. произвола на небѣ, которымъ пользовались властвующіе для оправданія произвола на землѣ. Церковь—и притомъ безразлично, какъ католическая, такъ и протестантская—жгла раціоналистовъ, Сервета, Джордано Бруно, усматривая въ нихъ самыхъ злѣйшихъ своихъ враговъ. Натуралистическія занятія сами по себѣ стали въ высокой мѣрѣ опасны. Въ началѣ XVII в. раціоналисты должны были организоваться въ тайный союзъ для того, чтобы взаимно поддерживать другъ друга и сноситься между собою, а также для того, чтобы вести анонимную пропаганду своихъ идей, потому что иной путь былъ невозможенъ.

Въ концѣ XVII в. снова раціонализмъ пробивается побѣдоносно. Въ великой книгѣ Ньютона «О математическихъ принципахъ натуральной философіи» подведенъ былъ фундаментъ механическимъ объясненіемъ астрономіи, и въ то же время основной законъ, законъ всемірнаго тяготѣнія былъ распространенъ на всю группу такъ назы-



ваемыхъ физическихъ явленій. Въ видѣ теоріи атомизма его скоро перенесли и на другую область—явленій химическихъ. Такимъ образомъ область господства духовъ, воли, произвола сразу сократилась. Въ сферу дѣйствія простого механическаго начала введена была и земля. Духъ огня, который горитъ въ пламени, боязнь пустоты, испытываемая водой или воздухомъ, всѣ эти понятія, которыя вели начало отъ стараго анимизма, стараго одухотворенія міра, должны были исчезнуть. Проведенные до конца ньютоновскіе механическіе принципы создали необыкновенно ясное и прозрачное міровоззрѣніе—это было англійское и французское просвѣщеніе XVIII в., пропагандированное Толендомъ, Вольтеромъ, Дидро, Пристли, Кондорсе. Они совершенно сошли съ почвы анимизма. Любопытно, какъ въ это время понимаютъ божество всѣ тѣ, кто, въ родѣ Вольтера, еще не рѣшились устранить монархію изъ мірозданія: божество—мастеръ, пускающій въ ходъ часовой механизмъ; можетъ быть, вначалѣ нужно было изобрѣтеніе, но въ дальнѣйшемъ ходѣ вмѣшательство высшей воли не нужно и невозможно: міръ идетъ своими законами.

Духамъ, божественнымъ силамъ, осталось уже не много, но зато они сохранили въ своемъ обладаніи органическую природу, организмъ человѣка, и, наконецъ, самую интимную для человѣка область, его духовную сферу. Однако смѣлые умы XVIII в. коснулись и этой области. Тогдашній матеріализмъ мало интересовался, правда, социальными явленіями; зато онъ проникъ въ психологію; ученіе о душѣ, какъ продуктъ мозга, продуктъ фізіологическихъ процессовъ, было попыткой перенести механическій взглядъ и въ эту сокровеннѣйшую сферу, выгнать капризы духовъ изъ ихъ собственной родины, подрѣзать анимистическій предразсудокъ въ самомъ его корнѣ.

За этимъ вторымъ великимъ торжествомъ реальной науки также слѣдовала реакція. Опять заговорили люди, испуганные умственной революціей; опять слышался инквизиторскій упрекъ, что наука разрушаетъ человѣческія святыни. Любопытно, что стали волноваться задолго до революціи, и волновались частью люди, въ области политическихъ и соціальныхъ идей передовые, въ родѣ Руссо. Но настоящій отбой начался вмѣстѣ съ политической реакціей, соединился съ криками соціальнаго испуга и вылился въ началѣ XIX вѣка въ формѣ романтизма, возрожденія христіанства, обновленія католичества и т. д. Итогъ реакціи можно прочесть въ знаменитомъ силлабусѣ папы Пія IX въ началѣ 60-хъ годовъ, гдѣ въ послѣдній разъ устами преемника вавилонской мудрости осуждена вся новая культура.

Эта реакція не была ни такой страшной, какъ первая, ни такой дружной. Механическія толкованія скоро поднялись съ новой силой. Промежутокъ отъ 40-хъ до 70-хъ годовъ XIX вѣка представляетъ эпоху ихъ наибольшаго преобладанія. Главная сила этого новаго подъема приходится на біологическія науки. Открытіе клѣточки, какъ мельчайшей составной части крупныхъ организмовъ, ученіе Дарвина и Уоллеса о развитіи видовъ путемъ подбора и приспособленія, открытіе микроорганизмовъ и представленіе, что видимые крупные организмы составляютъ поле дѣйствія или даже комплексы мельчайшихъ живыхъ существъ, все это были истребительные удары противъ анимизма: и богоподобіе человѣка, и цѣлесообразность, съ которой будто бы работаетъ жизненная энергія въ организмахъ, и понятіе объ извѣчномъ твореніи готовыхъ формъ—всему этому не стало мѣста послѣ великихъ біологическихъ открытій.



Но и соціальныя науки и психологія, наиболѣе косныя и отсталыя, также затронуты были на этотъ разъ безпощаднымъ анализомъ; насталъ и здѣсь конецъ представленіямъ о творческой роли личности, о необыкновенной силѣ сознательныхъ актовъ воли, о таинственныхъ оборотахъ и смѣнахъ въ жизни общества, объяснимыхъ только руководствомъ высшихъ силъ. Здѣсь поразительно сходятся теоріи двухъ соціологовъ, Маркса и Спенсера, при всемъ различіи ихъ политическихъ и соціальныхъ вкусовъ и симпатій. Новая соціальная философія не допускаетъ особыхъ духовныхъ сущностей, витающихъ въ исторіи и толкающихъ ее; она не видитъ въ идеяхъ двигателей событій и людей. Идеи—только знаки, символы дѣйствій, показатели интересовъ, онѣ—не цѣли и не цѣлесообразные размахи, онѣ—непроизвольныя выраженія тѣхъ же самыхъ мотивовъ, которые выступаютъ и въ дѣйствіяхъ; идеи—лишь громкіе свидѣтели, но не творящія начала. Личныя силы тѣмъ менѣе способны повращивать исторію; личности не могутъ быть разсматриваемы какъ факторы; онѣ—показатели, продукты среды, но не создатели ея. Дѣйствующими величинами въ исторіи являются массы, массовыя группы, объединенныя схожими интересами, которые опредѣляются въ свою очередь организаціей работы и распредѣленіемъ богатствъ. Дѣйствія состоятъ въ приспособленіи и борьбѣ за существованіе, въ объединеніи жизненныхъ мотивовъ и, обратно, въ дифференціаціи интересовъ. Повторенія моментовъ въ этой борьбѣ, неизбежные кризисы ея, твердые сроки обращенія соціальныхъ величинъ могутъ и должны быть изучены и установлены, и въ нихъ откроются ясные и отчетливые законы.

Въ этихъ выводахъ, въ этихъ требованіяхъ новой со-

ціальної науки, заключень великіи переверотъ мысли. Въ изученіи общественныхъ явленій откриваются тѣ же перспективы, которыя намѣчены были въ астрономіи Коперникомъ, физикѣ—Ньютономъ. Теперь можно говорить о новомъ, почти окончательномъ торжествѣ механическихъ теорій надъ анимизмомъ. У теорій произвола скоро отнимется послѣднее ихъ убѣжище. Но переверотъ только что начался, новые принципы едва объявлены. Мы всѣ, въ томъ числѣ и тѣ, кто привѣтствуетъ новыя теоріи, сидимъ по уши въ предразсудкахъ, не только выражаемся старымъ анимистическимъ языкомъ, но часто незамѣтно для себя оперируемъ анимистическими понятіями. Намъ предстоитъ въ области исторической науки пересмотрѣть весь матеріалъ согласно новымъ запросамъ. Но это будетъ уже работа по ясному пути, принципъ здѣсь побѣдилъ, и возвратъ къ старымъ вѣрованіямъ кажется совершенно невозможнымъ, такъ же какъ астрономія не можетъ повернуть на старый геоцентризмъ и опять признать планеты благодѣтельными и злыми силами.

Осталась послѣдняя битва съ анимизмомъ въ его крайнемъ убѣжищѣ, въ психологіи. Можно легко понять, почему здѣсь всего упорнѣе держится вѣра въ произволъ, въ чудесные полеты и превращенія духа, наконецъ, чѣмъ питается сама идея сущности духа. Вѣдь выводы, которые человѣкъ сдѣлалъ изъ сравненія своей психики съ психикой своихъ ближнихъ, и были началомъ всего громаднаго заблужденія, на которомъ держалось анимистическое объясненіе міра, понятіе о его одухотворенности. Вѣдь первая ошибка была въ томъ, что человѣкъ, предполагая въ ближнихъ подобное своему сознанію и видя внѣшнія выраженія этого сознанія, раздѣлилъ



двѣ постановки своего наблюденія и обратилъ ихъ въ двѣ разныя сферы, двѣ сущности, духовную и матеріальную. Наука стала поправлять ошибку съ конца, съ тѣхъ явленій, которыя стояли дальше всего отъ человѣка; въ нихъ не оказалось ничего духовнаго, т.-е. произвольнаго, нерегулированнаго; явленія и существа были простыя, не раздвоенныя. Но вотъ, поднимаясь по нѣкоторой цѣпи отъ отдаленнаго къ близкому, наука дошла до начала. Міръ вовсе не оказался устроеннымъ по подобію человѣческаго духа; въ немъ нѣтъ тѣхъ чудесъ, которыя совершаетъ человѣческая воля; но, можетъ быть, это и вообще были мнимыя чудеса, можетъ быть, никѣмъ невидимый духъ есть только другое названіе для жизни, можетъ быть, мы принимали сознаніе нашего тѣла, отраженное множествомъ другихъ тѣлъ, за особую сущность и создали себѣ привидѣніе, которое въ теченіе вѣковъ давило научный анализъ и заключало въ себѣ коренную ошибку всѣхъ разсужденій?

Къ такому вскрытію призрачности человѣческаго духа, какъ особаго существа, вплотную подошли психологическія и теоретико-познавательныя работы Авенаріуса, Маха и ихъ сторонниковъ. Уже создается понемногу «психологія безъ души». Мы можемъ ожидать отъ нея распространенія на человѣческую природу тѣхъ простыхъ «механическихъ» законовъ, которые установлены уже давно для отношеній во всемъ остальномъ мірѣ. Въ этой области предстоитъ нелегкая борьба. Одинъ изъ сторонниковъ новой философіи, предусматривая столкновеніе, говоритъ: «Мы не отдѣлаемся отъ духовъ, пока не нападѣмъ на нихъ самихъ и такимъ образомъ не убѣдимся въ ихъ пустотѣ и несуществованіи. А это можетъ произойти лишь на ихъ собственной почвѣ, въ области психическихъ явленій».

Но пока мы готовились къ этой послѣдней великой битвѣ съ вѣковымъ анимизмомъ, наступила новая реакція. Она особенно сильно сказалась въ германской наукѣ и философіи, но торжествуетъ еще бóльшіе успѣхи у насъ. Отличіе ея отъ предшественницъ въ томъ, что и районъ, на который она отваживается, гораздо болѣе ограниченный, и она скрывается большею частью за разными отклоняющими подозрѣніе терминами, носитъ болѣе стыдливый характеръ. Такъ, напримѣръ, въ большомъ ходу у представителей идеалистической философіи заявлять себя сторонниками критицизма, критическаго пересмотра научныхъ цѣнностей. Но много разъ приходилось убѣждаться въ томъ, что это мнимые критицисты, предлагающіе вамъ совмѣстную работу анализа, ограничиваются тѣмъ, что открываютъ дверь и затѣмъ, покидая реальный матеріалъ, совершаютъ свой метафизическій полетъ. Боязнь реальности, нежеланіе и неумѣніе съ нею обращаться—вотъ первая характерная черта разнообразныхъ идеалистическихъ направленій. Оттого они не подвигаются впередъ и не выходятъ за предѣлы философіи, т.-е. общихъ желаній и порывовъ.

По большей части они облакаются въ форму какой-нибудь реставраціи: это—неокантіанцы, неофихтеанцы, неовиталисты и т. п. Назадъ къ какой-нибудь тихой пристани, за какую-нибудь надежную стѣну! Очень характерна самая крупная реставрація—«назадъ къ Канту». Но къ какому Канту? Не къ Канту, великому энциклопедисту-ученому, идейному сотруднику французскаго просвѣтительства XVIII в., автору новой космогоніи, не къ Канту, безпощадному критику метафизическихъ понятій, а къ Канту, испугавшемуся богослову, проснувшемуся догматику, который слабѣющей рукой старался вос-



кресить то, что онъ же разрушилъ всѣмъ могущественнымъ аппаратомъ научнаго анализа нѣсколькихъ поколѣній.

Не будемъ входить въ объясненіе причинъ реакціи. Самъ по себѣ крайне любопытенъ вопросъ, почему за сильной просвѣтительной пропагандой слѣдуетъ неизбѣжно какой-то отливъ, утомленіе? Почему такъ много оказывается недовольныхъ, между тѣмъ какъ недавно еще, разрозненные, они молчали и только недоумѣвали? Остановимся лишь еще немного на характеристикѣ даннаго момента.

Реакціи въ области науки и философіи повторялись нѣсколько разъ съ извѣстной правильностью; но онѣ несомнѣнно слабѣли по мѣрѣ повторенія, и поэтому для нихъ самихъ сравненіе съ предшественницами невыгодно. Боролись нѣсколько разъ какъ бы двѣ державы, и всякій разъ одна съ увеличенной и выроставшей, другая съ уменьшенной территоріей. Термины въ этой борьбѣ мѣнялись: сначала на одной сторонѣ грозили (это было время соединенія научной реакціи съ церковной), потомъ скорѣе стали просить, убѣждать и навязывать утѣшенія. Сначала болѣе спорили о великихъ божественныхъ сущностяхъ въ пространствѣ и времени, а потомъ болѣе о силахъ человѣка, о границахъ его личности. Но, по существу, это былъ и остается одинъ и тотъ же вопросъ, и пожалуй въ настоящую минуту, въ ученіи волюнтаристовъ, защищающихъ произволъ человѣческаго духа подъ названіемъ «примата практическаго разума», основная проблема, или, по-нашему, основная ошибка выражена наиболее отчетливо. Это все тотъ же старый анимизмъ, все то же раздѣленіе человѣческой природы на косную матерію, тѣло, и активный, творческій духъ; все та же

вѣра во внезапное и чудесное рожденіе воли изъ ничего, все то же самое выдѣленіе воли, какъ особаго разбѣга, отъ самаго дѣйствія; все то же признаніе произвола и чуда, хотя бы и въ небольшомъ уголкѣ живого міра.

За или противъ анимизма—таково было въ сущности содержаніе борьбы на почвѣ научнаго изысканія и построенія. Натуралисты сравнительно давно покончили съ затрудненіями, возникавшими изъ этой борьбы; у насъ, историковъ, соціологовъ, юристовъ—нечего уже и говорить о психологахъ—борьба эта во всемъ разгарѣ. Мы продолжаемъ еще говорить на варварскомъ схоластическомъ языкѣ; у насъ еще въ полномъ ходу разсужденія о творческой роли личности въ исторіи, о руководящей силѣ идей, о цѣлесообразности въ развитіи общества, о происхожденіи права изъ любви, и т. п., и т. п. Мы еще способны доискиваться исторической вины той или другой партіи или группы людей въ извѣстныхъ событіяхъ или, по крайней мѣрѣ, мы не достаточно протестуемъ противъ этой старинной уголовно-исторической точки зрѣнія, коренящейся все въ томъ же анимизмѣ.

Реакція не только сама бредетъ въ туманѣ своихъ мнимыхъ загадокъ, но она загромождаетъ нашу научную работу, вытряхивая изъ архива человѣческой мысли старыя дѣтскія проблемы, заставляя насъ если не пересматривать, то оспаривать давно уже упраздненные постановки вопросовъ. На чемъ основывается ея обычный упрекъ, что наука не въ силахъ рѣшить проблемъ, рѣшаемыхъ религіей или философіей (понимаемой въ качествѣ системы вѣроученія)? Именно на томъ, что наука не хочетъ отвѣчать на чрезмѣрно притязательные вопросы старой анимистической философіи. Возрожденный идеализмъ опять возобновилъ поиски основныхъ, первыхъ причинъ



явленій, онъ опять готовъ въ причинѣ видѣть силу, вину, волевою единицу, виновника, творца, воплощеннаго духа.

Позитивисты были вполне правы, когда въ виду этой притязательности поставили осторожное ограниченіе: «пусть не спрашиваютъ, *почему* произошло извѣстное явленіе, пусть изучаютъ только, *какъ* оно произошло». Новѣйшій реализмъ повторяетъ это ограниченіе и формулируетъ его еще отчетливѣе: по мнѣнію Маха, хорошее, мѣткое описаніе явленія составляетъ лучшее научное пониманіе и оцѣнку его.

Въ исторической наукѣ такіа описанія приводятъ къ установленію правильныхъ соотношеній; все болѣе и болѣе мы замѣчаемъ ряды повтореній и совпаденій, т.-е. все болѣе приходимъ къ признанію того общаго принципа, что соціальныя явленія—не горы случайностей, не арена волшебныхъ скачковъ, а группы постоянныхъ сдѣвленій, образующихъ механически повторяющіяся единства. Все ближе мы подходимъ и къ установленію «законовъ» этихъ сдѣвленій, потому что законы, какъ опять превосходно говоритъ Махъ,—ни что иное, какъ «ограничительныя условія, которыя мы вносимъ, руководясь возрастающимъ опытомъ, въ наши ожиданія и предвидѣнія».

Новѣйшіе поклонники метафизики возмущены этой осторожностью въ опредѣленіи научныхъ проблемъ. Они забываютъ хорошее правило Бекона: *prudens interrogatio est dimidium scientiae*, т.-е. разумно поставленный вопросъ составляетъ половину исполненія научной задачи. Обратное, о неразумно поставленномъ вопросѣ можно было бы выразиться еще сильнѣе: онъ не только отвлекаетъ въ сторону научную работу, онъ дѣлаетъ ее безплодной или вовсе ее разрушаетъ. Вѣдь вопросъ напередъ опредѣлять отвѣтъ; онъ уже заключаетъ въ себѣ тѣ группы и

рамки, въ которыя потомъ подыскивается матеріалъ. Вопросъ всегда есть продуктъ цѣлаго міровоззрѣнія. Достаточно напомнить, что, напримѣръ, спрашивать о роли великой личности въ исторіи—значить прежде всего вѣрить въ такую роль, т.-е. вѣрить въ волшебство, совершаемое волей или духомъ, вѣрить въ пребываніе на землѣ сверхъестественныхъ существъ и т. п.

Всѣ подобныя вопросы мы можемъ спокойно предоставить тѣмъ, кто находитъ научные методы медленными и ползучими и кто мечтаетъ объ орлиныхъ полетахъ другихъ высшихъ откровеній, доступныхъ человѣку: пусть наши противники получаютъ въ отвѣтъ на свои вопросы отраженія собственныхъ видѣній.

---



## Нѣсколько замѣчаній о происхожденіи церкви.

Въ греческомъ обществѣ, начиная съ гомеровскаго времени, замѣтно бросается въ глаза отсутствіе церковнаго строя, идеи церкви, отсутствіе вліятельнаго духовенства. Эта черта рѣзко отличаетъ античную Грецію отъ стариннаго Востока, Вавилона, персовъ, іудеевъ, отъ римской имперіи, отъ Европы въ Средніе Вѣка и Новое время.

Въ греческихъ общинахъ обряды, гаданія совершаются скромными выборными должностными лицами; религіозныя обрядности переходятъ отъ одного къ другому и относятся къ очереднымъ функціямъ смѣняющейся администраціи. Нѣтъ могущественныхъ, богатыхъ священническихъ корпорацій. Есть, правда, вліятельные оракулы, какъ, на примѣръ, Дельфійскій, но ихъ авторитетъ въ остальныхъ частяхъ Греціи чисто моральный, не принудительный; Дельфы, это—община среди другихъ общинъ, и при томъ очень слабая, предметъ спора для сосѣдей. Время отъ времени появляются предсказатели, пророки (Эпименидъ Критскій, Эмпедоклъ), знакомящіе общество съ новымъ очистительнымъ исцѣляющимъ обрядомъ или помогающие общинѣ очнуться послѣ какой-нибудь тяжелой катастрофы, на примѣръ, чумы. Но ихъ значеніе—индивидуальное, переходящее, они не столько священники, сколько учителя

и врачи: Эмпедоклъ, наримѣръ, уже прямо составляетъ переходъ къ типу софиста.

Правда, въ Аѣинахъ V в. мы встрѣчаемъ религіозные процессы (Анаксагора, Сократа, гермокопидовъ). Но въ сущности это—политическій судъ, въ разбирательствѣ нѣтъ рѣчи о догматахъ, обрядовой чистотѣ; карается вовсе не возстаніе противъ священническаго авторитета. Судятъ о политической благонадежности; спорящія на судѣ стороны—политическія партіи, радикалы и консерваторы; рѣшается—въ критическій моментъ, революціи или реакціи, или подъ впечатлѣніемъ опасности для государства—вопросъ о вѣрности общинѣ того или другого гражданина.

Церкви, духовенства, догматики, принудительной организаціи, царящей надъ духовной жизнью, нѣтъ. Старинная гомеровская Греція въ этомъ отношеніи не отличается отъ позднѣйшей. Въ поэмахъ нѣтъ упоминанія о священникахъ. Есть гадатели (Калхасъ Иліады), но гадать могутъ вообще начальники и вліятельныя люди, старѣйшины родовъ, басилеи, вожди. Они—божьи сыновья, или потомки, и ихъ близость къ богамъ кажется естественной. Это ихъ привилегія, ихъ счастливая способность; она не основывается на принадлежности къ какой-либо общей организаціи; въ этомъ смыслѣ они предшественники очередныхъ и выборныхъ начальниковъ позднѣйшихъ городскихъ общинъ.

Стоитъ обратить вниманіе на сцену всенароднаго празднества въ Пилосѣ, идиллическомъ царствѣ старика Нестора, куда пріѣзжаетъ сынъ Одиссея. Народъ собрался на мѣстѣ агоры, т.-е. политическихъ сходовъ, и демократичность религіознаго празднества во всемъ ясно выступаетъ. Здѣсь всѣ равны, іерархіи нѣтъ, всѣ принимаютъ



активное участіе: басилей и его сыновья предсѣдательствуютъ, сидя въ серединѣ народа; ихъ приближенные, въ качествѣ распорядителей, рѣжутъ и распредѣляютъ жертвенное мясо.

Очень характерна въ томъ же смыслѣ сцена въ III пѣснѣ Иліады, гдѣ воюющія стороны, греки и троянцы, соглашались остановить бой, предоставить рѣшеніе поединку двухъ ближайше заинтересованныхъ лицъ, Менелая и Париса. Присмотримся къ подробностямъ. Вся подготовительная работа, оповѣщеніе въ городѣ осажденномъ и въ лагерьѣ осаждающихъ, приготовленіе и раздача всенародной жертвы, необходимой для торжественнаго скрѣпленія договора,—все это исполняютъ не священники, а *κῆρυκες*, тѣ же низшіе служащіе, которые выступаютъ при созывѣ политической сходки, при организаціи судебного разбирательства. Когда все готово, вожди обмѣниваются въ присутствіи и съ одобренія обоихъ войскъ обѣщаніями и клятвами. Затѣмъ вожди возносятъ молитвы къ небу, призываютъ боговъ въ свидѣтели и мстители на того, кто осмѣлится нарушить договоръ. Здѣсь мы встрѣчаемся съ чертой, которую нельзя назвать иначе, какъ демократической. Вмѣстѣ съ вождями громко молятся простые люди, все тѣ же *λαοί*, которые заполняютъ сходку, окружаютъ судъ, которые организованы въ морской союзъ. И *λαοί* здѣсь не простой темный фонъ, на которомъ выдѣляются главные актеры, а дѣятельный элементъ.

Народъ прямо обращается къ богамъ, съ тѣмъ же жестомъ воздѣванія рукъ къ небу, какъ вожди. Онъ также громко призываетъ боговъ въ мстители, онъ ясно выражаетъ ту же основную мысль, составляющую сущность предстоящаго состязанія или испытанія судьбы и воли боговъ, и такъ же непосредственно. Гомеръ два раза въ той же

сценѣ приводитъ всенародную громкую молитву. Во-первыхъ, когда рѣчь идетъ о заключеніи уговора, и, во-вторыхъ, когда секунданты, Гекторъ и Одиссей, размѣривъ мѣсто для поединка, бросаютъ жребій, чтобы рѣшить, кому достанется право перваго удара. По этому поводу грекамъ и троянцамъ вложены въ уста любопытнѣйшія слова. У Бога просятъ: *ἦμῖν δ' αὖ φιλότητα καὶ ὄρκια πιστὰ ὑευσσάα!* дай намъ, Боже (по окончаніи поединка въ ту или другую сторону) заключить между собою—тѣсный союзъ и дружбу и обмѣняться нерушимыми клятвами. *ἦμῖν*, намъ, т.-е. обоимъ народамъ, а не державнымъ властителямъ.

Всѣ эти сцены и подробности какъ нельзя болѣе краснорѣчивы. Посредниковъ между богами и людьми нѣтъ. Общество имѣетъ лишь организацію свѣтскую, народъ непосредственно сносится съ богами.

Итакъ, на греческой почвѣ нѣтъ вовсе условій для возникновенія церкви, духовенства, іерархіи, догматики, и ихъ нѣтъ до конца самостоятельной греческой исторіи. Большая и значительная культура обходилась безъ этихъ формъ, столь важныхъ въ послѣдующей исторіи. Этотъ выводъ позволяетъ поставить общій вопросъ о томъ, какъ и гдѣ возникла церковь вообще, церковь, какъ соціальная организація, церковь, какъ соціальное явленіе?

Въ отвѣтахъ на этотъ вопросъ смѣнилось нѣсколько разныхъ концепцій историческаго процесса. Можно разсматривать государство, церковь, аристократію, демократію, какъ послѣдовательныя и всюду необходимыя или неизбѣжныя ступени развитія всего человѣчества. Это была точка зрѣнія старой философіи исторіи, которая выводила одну единственную линію развитія человѣчества. Въ вопросѣ о происхожденіи церкви она примыкала прямо



къ традиціи христіанства: церковъ возникла тогда-то и тамъ-то, когда человѣчество для этого созрѣло, и въ эту общую культурную форму стали вступать одна за другой отставшія и доспѣвавшія группы человѣческаго общества, новые народы. Будущее также ясно. Объединеніе будетъ совершаться до тѣхъ поръ, пока великая община не охватитъ весь родъ человѣческій: конечно, это былъ только идеалъ, постоянно блѣднѣвшій, но все-таки сохранявшійся.

Болѣе новая, соціологическая теорія, основанная на сравненіи повторяющихся явленій, измѣнила постановку. Она разбила человѣчество на самостоятельныя группы, Общество съ большой буквы, на общества съ малой буквы. То, что разсматривалось въ видѣ разъ пройденныхъ ступеней роста и развитія, то стали считать много разъ повторенными въ отдѣльныхъ обществахъ формами. Соціологическая теорія уже потому должна была допустить такое дробленіе соціальнаго процесса человѣчества, что ея матеріалъ былъ несравненно шире и разнообразнѣе. Прибавилось знакомство съ культурой восточно-азіатской, большой и самостоятельной, которую можно было поставить почти наравнѣ съ западно-азіатско-европейской, между тѣмъ какъ раньше эту послѣднюю считали единственно «всемирной». Изучили старую американскую культуру и замѣтили, какой она занимала большой кругъ и въ какую старинную пору она заходитъ. Затѣмъ прибавился обширный этнологическій матеріалъ, знакомство съ бытомъ современныхъ народовъ, отставшихъ въ культурѣ. Получилась масса аналогій, несомнѣнныхъ доказательствъ того, что развитіе совершается самостоятельно въ параллельныхъ группахъ. Пришлось признать, что въ исторіи идетъ не одна большая рѣка цивилизаціи, а мно-

жество потоковъ, которые начинаютъ сливаться въ немногіе крупные лишь въ болѣе позднія времена.

Въ примѣненіи къ нашему вопросу о развитіи и возникновеніи церкви, какъ соціальной организаціи, соціологическая теорія должна была выставить другіе взгляды. Можно было предположить, что церковъ—форма мѣстнаго общества, всюду одинаково способная возникнуть на определенной ступени развитія. Традиція христіанской церкви, правда, очень громко говорила о распространеніи идей и организаціи изъ одного центра; сначала небольшая, община расширилась потомъ завоеваніемъ, пріобрѣтеніемъ новыхъ приверженцевъ.

Можно было, однако, представить себѣ встрѣчу двухъ процессовъ, мѣстнаго и общаго: посторонняя церковъ, новая вѣра всякій разъ являлись въ то время, когда въ мѣстномъ обществѣ сложилась аналогичная группировка и складъ понятій, когда возникла іерархія, выработалась мысль о великомъ спасеніи или катастрофѣ, предстоящей народу. На такую ступень поднялъ друидизмъ кельтовъ, а религія Тора и Бальдра—скандинавовъ. Въ такомъ случаѣ «принятіе христіанства» было бы ничѣмъ инымъ, какъ отвѣтомъ на поставленные въ мѣстномъ обществѣ вопросы или даже повтореніемъ уже полученныхъ отвѣтовъ, но только въ новой, болѣе увѣренной формулировкѣ, или просто перемѣной терминологіи. Можно представить себѣ, что и корпораціи священниковъ перешли почти незамѣтно одна въ другую. Важная роль жречества у германцевъ и кельтовъ уже давно бросалась въ глаза новымъ изслѣдователямъ. Еще реакціонеръ начала XIX в. Жозефъ де Местръ, не колеблясь, называлъ друидовъ прямыми предшественниками христіанскихъ епископовъ. Одна организація легко могла перейти въ другую. Такимъ образомъ



вездѣ совершался особый мѣстный процессъ развитія, похожій на другіе сосѣдніе.

Еще одно наблюденіе какъ будто подтверждало эти догадки. Въ отдѣльныхъ странахъ христіанство заявило себя крайне индивидуальными формами: въ Африкѣ, въ Египтѣ, въ Греціи, Римѣ, Ирландіи, не говоря уже о несторіанахъ, катарахъ и вообще сектантскихъ общинахъ. Почти неудобно говорить въ единственномъ числѣ «христіанство», христіанская церковь, когда представляешь себѣ Средніе Вѣка; хочется говорить о нѣсколькихъ христіанскихъ церквяхъ, о «христіанствахъ». Передъ нами какъ будто группа схожихъ религій, одинаковыхъ по формѣ, разныхъ по содержанію. Причина понятна: въ дѣйствительности вездѣ продолжаютъ старыя религіозныя традиціи, идетъ свое мѣстное развитіе подъ новой общей терминологіей, въ родѣ того, какъ подъ организаціей римской имперіи продолжали жить мѣстныя культуры.

Въ этихъ толкованіяхъ соціологической исторіи много вѣрнаго, но они грѣшатъ все-таки тѣмъ, что не считаются съ разнообразіемъ культуръ, коренящимся въ физическихъ, въ географическихъ отличіяхъ. Всюду они предполагаютъ одинъ и тотъ же ходъ вещей, одно и то же органическое развитіе. А между тѣмъ человѣческія общества можно только въ очень общемъ смыслѣ сравнивать съ организмами. Они не такъ рѣзко отграничиваются другъ отъ друга, какъ организмы, изучаемые біологіей; они не связаны въ такой мѣрѣ опредѣленными сроками существованія. Когда мы видимъ, что греческое общество съ начала и до конца осталось при своихъ характерныхъ чертахъ, египетское и вавилонское—въ свою очередь, тогда мы начинаемъ думать, что, помимо смѣны ступеней развитія, въ жизни обществъ есть еще другой, противопо-

жный элементъ, элементъ неподвижности, сохраненія па, свойственнаго данному обществу и не встрѣчающагося въ другихъ. Въ этомъ смыслѣ мы можемъ считать демократію, городскую, кантональную автономію—національнымъ продуктомъ Греціи. Въ этомъ же смыслѣ мы можемъ назвать церковъ національнымъ продуктомъ стариннаго Востока, точнѣе, Вавилона, при посредствѣ іудейской пропаганды перешедшимъ въ новую культуру и на западъ, въ то время какъ на старой почвѣ изъ него возникло мусульманство.

Не трудно показать, какъ стара форма неограниченной монархіи и въ какой мѣрѣ она связана съ большими государствами Востока. Слѣдуетъ также обратить вниманіе на то, что между абсолютизмомъ и церковью тѣснѣйшая связь, что они съ самаго начала идутъ изъ одного круга понятій, развиваются параллельно, въ союзѣ или во враждѣ, но не обходятся одинъ безъ другого.

Въ старомъ Вавилонѣ, какъ потомъ въ его копіяхъ и воспроизведеніяхъ, въ персидской монархіи, въ халифатѣ, нѣтъ самостоятельной церковной организаціи. Государь получаетъ отъ Бога законы, править надъ тѣлами и душами. Происхожденіе власти здѣсь иное, чѣмъ въ Греціи: уже ранніе князья на равнинѣ Евфрата, такъ называемые патеси,—первосвященники, между тѣмъ какъ гомеровскій басылей—военный вождь. Въ кодексѣ Хаммураби часто идетъ рѣчь о монахахъ и особенно о монахиняхъ, но не видно вліятельнаго священничества. Хаммураби распоряжается властно въ религіозныхъ вопросахъ: онъ запрещаетъ колдовство, т.-е. указываетъ предѣлы гадателямъ, ограничиваетъ ритуаль, обряды. Всѣ великія и важныя сношенія съ богами происходятъ черезъ царя. Царь—священная особа и глава церкви, иначе говоря,



церковь и государство совпадаютъ, какъ въ современныхъ державахъ съ государственною церковью. Въ такой комбинаціи церковь—только другой терминъ для выраженія неограниченности власти.

Въ Вавилонѣ этотъ терминъ пріобрѣлъ особый теоретическій смыслъ; онъ былъ связанъ съ господствовавшимъ астрономическимъ ученіемъ. Теорія говорила, что земной міръ—копія небеснаго оригинала; земныя судьбы слѣдуютъ вполнѣ точно происшествіямъ небеснымъ. Земной правитель также слѣдуетъ за своимъ небеснымъ образцомъ. Стоитъ посмотрѣть типичную офіціальную біографію великаго восточнаго царя. Она движется въ рамкахъ небесной драмы. Будущій царь рождается чудеснымъ образомъ такъ же, какъ молодой богъ—спаситель міра, временно скрывается во тьмѣ и неудачахъ и вновь воскресаесть въ побѣдахъ. Царь долженъ поэтому самъ воспроизводить великій міровой циклъ, ежегодное потускнѣніе или страданіе бога и его возрожденіе. Въ христіанской Византіи сохранилось еще довольно живое отраженіе этой драматической роли правителя. Пасхальный обычай требовалъ, чтобы царь явился передъ народомъ съ атрибутами похороненнаго божества, со знаками пребыванія Христа въ могилѣ, съ крестообразнымъ скипетромъ, указывавшимъ символически на пройденныя страданія и смерть; въ то же время его бѣлая одежда, его торжественное выступленіе среди свѣтлыхъ гимновъ свидѣтельствовали о возрожденіи. Вѣроятно, въ Вавилонѣ все это было еще гораздо опредѣленнѣе и драматичнѣе. Придворные чины, высшая бюрократія, которая потомъ повторяется въ поздней римской имперіи, въ Карловой монархіи, въ Сициліи, въ Англіи эпохи Плантагенетовъ, тоже, повидимому, представляла копію небеснаго двора; она, согласно теоріи,

воспроизводила іерархію свѣтилъ, подвижныхъ и неподвижныхъ фигуръ небеснаго свода.

Характеръ этого священно-политическаго строя можно было бы еще иначе выразить. Въ Вавилонѣ на землѣ, реально господствуетъ свѣтское государство, церковь есть научное построение, сумма философіи, на землѣ нѣтъ противоположности свѣтской власти и духовной, церкви и государства. Храмы и священники не противопоставлялись свѣтской власти и правительственнымъ учрежденіямъ; это были ея органы и совѣтчики; это были своего рода бюрократическіе кадры. Можно думать, что вторая бюрократія была довольно значительна. Нѣкоторое понятіе объ этомъ мы получаемъ изъ данныхъ устройства новоперсидскаго государства, продолжавшаго, повидимому, почти на той же территоріи вавилонскія традиціи. Тамъ существовало множество мубедовъ, священниковъ, соединенныхъ въ іерархію и имѣвшихъ во главѣ верховнаго мубед-ин-мубеда. Онъ вѣнчалъ шаха. Но это былъ все-таки только чинъ высшей бюрократіи, котораго вѣрнѣе будетъ сравнивать не съ католическимъ римскимъ папой, а съ патріархомъ въ Византіи.

Эта форма и перешла потомъ въ христіанскую Европу, но рядомъ съ ней постоянно жила и обнаруживала свое вліяніе церковь независимая. Какъ она возникла?

Въ старинномъ Вавилонѣ не видно противоположности церкви и государства. Ея вообще нѣтъ, до тѣхъ поръ, пока не нарушена цѣлость господствующей общественной среды. Но политическая жизнь въ странахъ стариннаго Востока была полна превратностей. Культурная страна нѣсколько разъ подвергалась разгрому и завоеванію со стороны племенъ, вторгавшихся изъ степей и горныхъ областей. Само государство династіи Хаммураби было уже



результатомъ завоеванія, составляло надстройку надъ болѣе старой организаціей, отъ которой были усвоены техническіе приемы, богатство, наука и вѣрованія. Мы не знаемъ, какими послѣдствіями во всемъ кругѣ вѣрованій могли отразиться болѣе старинныя катастрофы, происходившія въ этомъ краю. Но то, что случилось позднѣе, особенно судьбы іудейскаго народа, позволяетъ догадываться о переворотахъ раннихъ.

Въ началѣ VI в. до Р. Х. вавилонскій царь Навуходоносоръ завоевалъ Іерусалимъ и переселилъ часть іудеевъ въ равнину Евфрата. Отсюда плѣнники и эмигранты принесли потомъ назадъ въ Сирію ученіе о Мессіи, благую вѣсть о предстоящемъ спасеніи міра или о міровой катастрофѣ. Эти идеи самостоятельной церкви, враждебной или, по крайней мѣрѣ, чуждой государству, іудеи нашли, повидимому, готовыми на вавилонской почвѣ. Тамъ были уже многочисленныя группы общества, находившіяся въ положеніи, аналогичномъ новымъ вынужденнымъ колонистамъ. Вавилонъ много разъ подчинялся чуждому завоевателю; страну покоряли то эламиты, то ассиріяне, то халдеи. Вавилонъ долго былъ вассаломъ Ассиріи, оставаясь священнымъ городомъ въ родѣ средневѣковаго Рима или арабской Мекки въ турецкой державѣ, или Царьграда въ рукахъ невѣрныхъ. Самъ завоеватель Іерусалима, Навуходоносоръ, былъ представитель чуждаго старому Вавилону халдейскаго элемента. Всѣ эти завоеватели приблизительно такъ же относились къ Вавилону, какъ въ свое время германцы къ Риму. Масса вавилонянъ была такимъ же подчиненнымъ классомъ у себя дома, какъ и насильственно къ нимъ переселенные іудеи. Двѣ покоренныя придавленные группы встрѣтились и объединились во взглядахъ.

Теперь можно себѣ представить, какія идеи нашли іудеи у своихъ собратьевъ по несчастью. Подчиненный завоевателями, культурный народъ потерялъ самостоятельное отечество. У власти сидятъ невѣрные. Слѣдовательно, уже нельзя земное государство считать копіей небеснаго царства. Гармонія двухъ міровъ нарушилась, и небесный оригиналъ не имѣетъ болѣе соотвѣтствующаго повторенія на землѣ. Но въ его реальности нельзя сомнѣваться; если на землѣ происходитъ кризисъ, то надо обратно заключить о кризисѣ на небесахъ. Видимо, это затянувшаяся катастрофа потускнѣнія, которая разрѣшится новымъ возрожденіемъ. А тѣмъ временемъ небесный оригиналъ, небесное царство остается объединяющей идеей для разгроmlеннаго общества, его идеальнымъ отечествомъ. Прежняя теорія учила, что возвраты свѣтлыхъ дней должны повторяться періодически, что вѣка, чередуясь, отдѣляются другъ отъ друга катастрофами и просвѣтлѣніями. Это—неизбѣжный и вѣрный ходъ вещей. Поэтому теперь, во время долгаго кризиса, съ небеснымъ царствомъ соединяются большія, но отдаленныя ожиданія. Оно далеко, оно оторвалось отъ земли, но оно придетъ, спустится на землю, снова воплотится въ идеальномъ правителѣ или избавителѣ, и народъ называетъ его Мессіей, махди, мистическимъ Фридрихомъ (т.-е. царемъ мира) и т. п.

Среди угнетенія даннаго момента мысль о желанномъ наступленіи новаго вѣка получаетъ особенно острый характеръ. Все сдвигается въ одинъ великій ожидаемый актъ, въ одно рѣшительное и окончательное просвѣтленіе послѣ долгаго мрака: небесное царство опять войдетъ въ свои права на землѣ, его представители непосредственно низойдутъ на землю и поднимутъ къ счастью, силѣ и власти подавленный, покинутый народъ. Люди,



конечно, не только вѣрятъ, ждутъ втайнѣ, но они повѣряютъ другъ другу свои ожиданія, соединяются въ общины посвященныхъ, пропагандируютъ, пріобрѣтаютъ прозелитовъ. У нихъ являются новые вожди и учителя, конечно, тайные.

Вотъ когда можно говорить о возникновеніи настоящей, реальной церкви, самостоятельной и независимой отъ государства. Церковь теперь—организация, связанная съ кругомъ ожиданій стѣсненной массы. Мы могли бы назвать церковь предварительной организацией будущаго возрожденнаго національнаго государства. Можно найти еще иную формулу опредѣленія, можно сказать, что церковь образуетъ рамки или цѣль для своего рода мистическаго патріотизма.

Организация будущаго, конечно, во всемъ копируетъ организацию настоящаго, т.-е. свѣтское государство. У нея есть свои руководители, но они занимаютъ совершенно другое положеніе. Если въ обществѣ поработленномъ остались старые священники, то они, конечно,—не чиновные іерархи, не бюрократія, получающая отблескъ власти свыше, а тайные, можетъ быть, даже преслѣдуемые вожди вѣрующихъ.

Въ ранней христіанской церкви на почвѣ имперіи, вѣроятно, повторились порядки и идеи старинной вавилонской церковной оппозиціи. Очень характерно поведеніе руководителей оппозиціонной церкви. Они подчиняются по виду свѣтскимъ властителямъ («нѣтъ власти, кромѣ какъ отъ Бога»; «надо терпѣть и дурныхъ правителей» и т. д.). Но они не служатъ этой власти; они принадлежатъ къ другой, высшей общинѣ. Они готовы соединиться около Мессіи, Махди и т. д. и они готовы выдать новымъ пришельцамъ своихъ повелителей, навязавшихся имъ

господь. Іудейская община передается отъ персовъ въ подчиненіе македонянамъ, христіанская церковь безъ спора предоставляетъ римскую имперію варварамъ, и т. д.

Съ теченіемъ времени оппозиціонные круги выработали стройную, увѣренную теорію двухъ царствъ, небеснаго и земного. Вполнѣ отчетливо эта теорія выражена въ книгѣ пророка Даніила, которая возникла, повидимому, въ эпоху національной борьбы іудейства съ греческимъ государствомъ Селевкидовъ. Въ этомъ произведеніи поздней, до извѣстной степени, революціонной іудейской литературы можно видѣть въ свою очередь прототипъ знаменитаго «Государства Божія» Августина, книги, служившей какъ бы каноническимъ завѣщаніемъ ранняго христіанства всему Средневѣковью.

У Даніила двѣ малхуть, два царства, въ греческомъ переводѣ, двѣ βασιλείαι. Одна — земная: это страшная, чуждая, вызывающая ненависть языческая государственная сила. Ей противопоставляется Божья малхуть, т.-е. торжество израильскаго Бога на землѣ; но ея торжество лишь ожидается въ будущемъ; прошлое и современность принадлежатъ темной, чуждой земной державѣ.

Для патріотовъ, для сторонниковъ независимости тутъ была опора, была ясная цѣль въ перспективѣ. При наличности такого ученія, такой вѣры, никогда нельзя было положиться на спокойствіе массы, и мы видимъ, что исторія Іудеи при греческихъ Антиохахъ и за два вѣка римскаго владычества полна непримиримой національной борьбы, полна ожесточенныхъ возстаній. Программа движенія звучитъ неизмѣнно: установить на землѣ царство небесное, т.-е. дать торжество церкви. Борьба эта до тѣхъ поръ длится, пока народъ ждетъ Мессію, или привѣтствуетъ Его именемъ возставшаго избавителя, пока господствуютъ



щая сила послѣ колоссальнаго истребленія не счищаетъ съ мѣста всю непокорную оппозиціонную націю въ буквальномъ смыслѣ слова.

Однако, вмѣстѣ съ волнами вынужденной эмиграціи на западъ, въ среду самихъ завоевателей идетъ идея церкви, идеаль небеснаго царства, таинственная организація, въ которую слагаются подчиненные и угнетенные. Достаточно извѣстно, въ какой мѣрѣ христіанство составляло іудейскую секту, насколько оно держалось первое время почти исключительно элементами іудейскаго происхожденія, евреями діаспоры. Также давно замѣчено, что господствующій народъ, римляне, вплоть до своей гибели, съ приходомъ варваровъ, т.-е. даже послѣ офіціального торжества христіанства, оставались враждебны восточному ученію о близкой катастрофѣ міра, о Мессіи, избавителѣ людей отъ страданій, и т. д. Въ этомъ національномъ различіи ясно отразились два настроенія, двѣ психологіи, господь и подчиненныхъ.

Цезарь, Августъ и послѣдующіе римскіе властители находились подъ сильнѣйшимъ впечатлѣніемъ восточныхъ теорій о божественности власти; культъ императоровъ вѣдь прямо заимствованъ отсюда. Всѣ ихъ преемники, византійскіе цари, средневѣковые западные императоры, московскіе цари жадно усваивали тѣ же теоріи. Но въ самой римской имперіи масса новыхъ подданныхъ вовсе не раздѣляла ихъ. Порабощенный Востокъ отмстилъ за себя: одновременно съ абсолютизмомъ пришла въ имперію и распространилась его оппозиціонная копія, идея церкви, вѣра въ будущее небеснаго царства; она организовалась, консолидировалась въ видѣ большого союза христіанскихъ общинъ. Не даромъ главный нервъ этой организаціи—ожиданіе катастрофы міра, т.-е. паденія языческаго госу-

дарства, ожиданіе великаго переворота, послѣ котораго должно наступить тысячелѣтнее царство, т.-е. счастливый вѣкъ. Это ожиданіе необыкновенно сильно въ первые вѣка христіанства, оно играетъ большую роль въ средневѣковыхъ европеейскихъ народныхъ возстаніяхъ вплоть до великой крестьянской войны въ Германіи въ 1525 г. Во всякомъ сектантскомъ движеніи непременно есть мысль о судѣ Божьемъ на землѣ, т.-е. о великой перестановкѣ отношеній власти и имущества, о великомъ передѣлѣ земли, о низверженіи богопротивной темной силы, держащей господство. Черезъ цѣлый рядъ вѣковъ, государствъ, націй, культуръ тянется и проявляется та же близость двухъ теорій, государственной и церковной, и обнаруживается ихъ взаимная вражда.

Правители считаютъ свою власть отраженіемъ небеснаго свѣта, выраженіемъ небесной гармоніи; оппозиція, недовольные, притѣсненные считаютъ, напротивъ, гармонію нарушенной, признають, что земная власть досталась дьявольской силѣ, и что истинное Божье царство впереди, въ будущемъ. Тѣ и другіе читають свою вѣру въ небесныхъ знакахъ, строятъ свою систему на астрологіи. Оттого и получаютъ двѣ церкви, такъ рѣзко не похожія: одна офиціальная, бюрократическая, опирающаяся на знаки согласія божьяго и земного царства; другая тайная, независимая, или еретическая, сектантская, — организація будущаго; она читаетъ и видитъ другіе знаки: смыслъ ихъ тотъ, что темныя силы настоящаго на землѣ свергли, отодвинули Божье царство; но оно должно придти, ему принадлежитъ будущее.

Соціологическія построенія пріучили насъ видѣть въ политическихъ и общественныхъ учрежденіяхъ, въ монархіи, республикѣ, рыцарствѣ, судѣ присяжныхъ и т. п.



общечеловѣческія формы, которыя какъ будто бы могутъ возникать въ любой физической, т.-е. географической и расовой, средѣ и которыя лишь отвѣчаютъ опредѣленнымъ ступенямъ общаго культурнаго развитія. Мы не всегда замѣчаемъ, что наши опредѣленія эволюціоннаго мѣста того или другого учрежденія односторонни, страдаютъ недосказанностью. Мы забываемъ, нерѣдко, что формы общественнаго быта имѣютъ опредѣленное географическое или національное происхожденіе такъ же, какъ финиковая пальма, пшеница, верблюдъ, лошадь и т. п.— не общіе типы земной поверхности, а виды опредѣленнѣйшаго района, хотя съ теченіемъ времени они и могутъ быть занесены далеко отъ первоначальной своей родины.

Разсматривая историческія формы съ этой соціально-географической точки зрѣнія, мы можемъ считать республику, демократію, теорію народнаго верховенства, народный судъ, обычай ежегоднаго избранія очередныхъ правителей—продуктомъ кантональнаго быта островковъ и приморскихъ долинокъ Балканскаго и Апеннинскаго полуострововъ. Съ той же точки зрѣнія можно считать абсолютную монархію и всемірную церковь продуктомъ большихъ организацій, неизмѣнно слагавшихся на широкихъ аллювіальныхъ равнинахъ Передней Азіи и опиравшихся на сложную старинную науку звѣздохетства. Для объясненія такой своеобразной теоріи, какъ ученіе о божественности власти, едва ли можно найти какую-нибудь другую опору, кромѣ астрологической философіи. Но изъ той же культурно-географической среды, отъ аргументовъ той же науки о небесныхъ циклахъ идетъ ученіе о Спасителѣ міра и о торжествѣ великой справедливой общины на землѣ, которое способно по временамъ принимать такой грозный общественный смыслъ.

## Сумерки людей.

Самая трудная задача нашей науки состоитъ въ томъ, чтобы понять языкъ, на которомъ выражались люди предшествовавшихъ поколѣній, чтобы распознать ихъ чувства и мысли. На первый взглядъ все такъ чуждо намъ. Когда мы смотримъ на фигуры въ тогахъ и сандаліяхъ, когда правители зовутся консулами и архонтами, когда Богъ носить имя Зевса или Яхве, когда мы читаемъ старинныя привѣтствія и обращенія, намъ все это кажется театральнымъ и далекимъ, какими-то разставленными декорациями. Надо умѣть проникнуть глубже и найти за ними живыхъ людей, такихъ же, какъ и мы, открыть тѣ же, что у насъ, увлеченія и слабости, тѣ же колебанія чувствъ и настроеній, тѣ же порывы къ лучшему строю жизни, тѣ же подъемы энергіи въ упорной работѣ и борьбѣ, тѣ же приступы злой разрушающей апатіи.

И вотъ, если намъ удастся перевести выраженія окаменѣвшихъ обрывковъ старины на нашъ ежедневный языкъ, тогда историческая картина пріобрѣтаетъ необыкновенный интересъ. Она сливается, отождествляется съ нашей собственной жизнью. Мы видимъ въ старинныхъ людяхъ самихъ себя, мы сознаемъ ясно, что переживаемыя нами волненія и желанія роднятъ насъ съ человѣчествомъ всѣхъ временъ, потому что въ нихъ вложено то самое, чему многія поколѣнія отдали свои горячія силы и свою пытливую мысль.



Нерѣдко можно встрѣтить недовольство и протестъ противъ такого приближенія къ намъ старины. Говорятъ: нельзя модернизировать античный міръ; онъ жилъ своей особенной, навсегда исчезнувшей жизнью, мы портимъ его заснувшую гармонію своимъ комментариемъ, взятымъ изъ оборота новѣйшихъ отношеній. Я не знаю, что именно сказывается въ этомъ осужденіи модернизациі, въ этихъ запретахъ говорить понятнымъ языкомъ: неспособность ли строгихъ цензоровъ видѣть общечеловѣческія черты въ жизни всѣхъ вѣковъ, неумѣнье ли чуютъ въ чужестранцѣ человѣка, если онъ принадлежитъ къ другой расѣ и не такъ одѣтъ, какъ мы? или это—намѣренное выгораживаніе какого-то условнаго міра, масками котораго пользуется лицемеріе нашихъ современниковъ, когда имъ нужно скрыть свое собственное безсиліе? Вѣдь очень удобно успокоиться отъ всякихъ порывовъ на мысли, что прошлое—лишь интересный романъ, сказка, неспособная повториться; подражать ея героямъ могутъ только дѣти.

Какъ бы то ни было, позвольте мнѣ не вести васъ этой дорогой и не слушаться этихъ предостереженій. Напротивъ, мнѣ хотѣлось бы показать, въ какой мѣрѣ близки намъ переживанія далекаго прошлаго, какъ непосредственно мы можемъ ощущать біеніе сердець у людей общества, давно сошедшаго съ лица земли. Я ищу момента широкой и свободной общественной и политической жизни въ античномъ мірѣ; я представляю себѣ Римъ, столицу большой державы, съ крупными заморскими владѣніями, зимой 64 года до Р. Х.

## I.

Тѣсныя, неправильно ползущія улочки, окружающія большую торговую площадь, римскій форумъ. переполнены

народомъ. Мѣстами толпа еще гуще, гдѣ узкая дорога почти перегорожена высокими лѣсами вокругъ новой постройки. Здѣсь недавно былъ большой пожаръ, а можетъ быть, упалъ, развалился цѣлый домъ, и новый владѣлецъ мѣста, спекулянтъ хлѣбной торговли, Постумій Пиргензисъ, у котораго уже около 50 домовъ въ Римѣ, спѣшитъ вывести опять казарму мелкихъ квартиръ, такой же карточный домикъ изъ тонкихъ стѣнокъ кирпича съ высокими чердаками. Каменщики и плотники, черноватые низкорослые рабочіе, живо взбѣгаютъ по доскамъ, и сверху, точно изъ-подъ небесъ, слышны ихъ звонкіе голоса. Вотъ кому всегда есть работа въ этомъ колоссальномъ городѣ, который все растетъ и горитъ, и застраивается опять.

Въ экипажахъ здѣсь не ѣздятъ. Верховой не продерется сквозь толпу. Вотъ остановились носилки, которыя держать дюжіе бронзовые мавры; изъ нихъ выглядываетъ бритый курчавый старикъ со строгимъ лицомъ. Это старѣйшій сенаторъ, Квинтъ Лутацій Катулъ, спѣшитъ въ засѣданіе высокой коллегіи. Его свита, нѣсколько рыжеватыхъ галловъ, въ одинаковыхъ синихъ ливрейныхъ костюмахъ, стараются растолкать толпу.

Сегодня на улицѣ можно узнать сенсационныя новости съ дальняго Востока. На форумѣ, у денежной конторы банкира Рабирія, взобрался на столъ человекъ, выкрикивающій вѣсти громкимъ голосомъ. Вотъ эти устные депеши. Знаменитый фельдмаршалъ республики, Кней Помпей, два года тому назадъ посланный для защиты богатѣйшихъ азіатскихъ владѣній народа римскаго, идетъ отъ успѣха къ успѣху. Говорятъ, онъ почти достигъ высокой каменной стѣны, за которой кончается Азія. Уже въ третій разъ онъ касается въ своихъ походахъ Океана, облегаю-



щаго сушу на земномъ шарѣ. Генералъ республики свергнулъ блистательныхъ царей съ прозваніями Непобѣдимыхъ Спасителей, Явленныхъ Боговъ, и вступилъ въ ихъ резиденцію, огромную Антиохію. Онъ приближается къ Іерусалиму, священной столицѣ самага многочисленнаго народа на свѣтѣ.

Эти вѣсти доставлены не государственной почтой; ихъ привезли моремъ на быстроходныхъ судахъ вѣстовые, которыхъ держать на свой счетъ римская финансовая биржа. Вѣдь безъ ея королей, безъ этихъ римскихъ Рокфеллеровъ и Вандербильтовъ немыслимы громадныя колоніальныя завоеванія. Рабірій, Помпоній Аттикъ, Пинній, Планцій и др. послѣдовательно уклоняются отъ крупныхъ военныхъ и политическихъ должностей. Они предпочитаютъ вѣсь, вліяніе въ обществѣ и промышленныя выгоды такъ же, какъ современные американскіе милліардеры, не берутъ поста президента, министровъ и губернаторовъ. Они подготовили завоеваніе Востока: своими ссудами они втянули царьковъ въ неоплатные долги; цѣлыя области заложены и перезаложены имъ. Владѣтельный князь передъ смертью не имѣетъ выбора наслѣдника; ему остается завѣщать въ пользу великой республики все свое достояніе, всю свою націю: иначе явятся распродавать ее съ молотка римскіе кредиторы. Походъ Помпея на востокъ—дѣло ихъ рукъ: они рекомендовали его настойчиво народу и послали ликвидировать дѣла своихъ несостоятельныхъ должниковъ.

Въ числѣ тѣхъ, кто слушаетъ передачу вѣстей съ театра войны, есть восточные купцы, торгующіе въ Римѣ тонкими матеріями, художественной мебелью, пряностями, парфюмеріей, ювелирными вещами. Они выдѣляются изъ массы рѣзкими чертами лица, темными бородами, широ-

кими складками длиннаго платья. Ихъ народъ въ старинной дружбѣ съ римлянами, и всѣ помнятъ, что республика помогла въ свое время храбрымъ Маккавеямъ освободить Іерусалимъ отъ греческаго деспота. Теперь они встревожены: римскій завоеватель не хочетъ щадить прежнихъ друзей. И слышно, что воинственные патріоты Іудеи укрѣпляются на Сіонской горѣ, въ огромномъ храмѣ. Самоувѣренный римлянинъ, у котораго въ ногахъ валялись коронованныя особы, будетъ осаждать священный домъ Яхве. Ііеужели онъ войдетъ въ таинственную внутренность Святая Святыхъ, которой не видѣлъ еще ни одинъ иновѣрецъ, и куда самъ первосвященникъ іудейскій вступаетъ лишь разъ въ годъ.

Часть фोरума, которая ближе всего къ Капитолію, къ цитадели Рима и храму высшаго Бога, загорожена. Стража пропускаетъ внутрь ограды только римскихъ гражданъ, полноправныхъ членовъ великой республики. У римскаго народа нѣтъ парламента, представительнаго собранія, важные вопросы по-старому рѣшаются на всенародныхъ сходкахъ. Приглашенія прибыть на такую сходку посылаются римскимъ гражданамъ во всѣ концы Италіи и даже въ заморскія области.

По всему видно, что Римъ переживаетъ дни сильнѣйшаго политическаго возбужденія. Участники народнаго собранія тѣсно стоятъ на всемъ пространствѣ, окружающемъ ораторскую трибуну; многіе взобрались на уступы прилегающихъ зданій, вскарабкались на столбы и карнизы. Съ захватывающимъ вниманіемъ слушаютъ они рѣчи талантливыхъ ораторовъ, которыхъ выставила партія популяровъ, т.-е. народниковъ, защищающихъ интересы бѣдпоты, безработныхъ, малоземельныхъ или вовсе лишенныхъ земли крестьянъ.



У популяровъ свои взгляды на успѣхи римскаго оружія, на притокъ великихъ богатствъ въ Римъ и на ихъ примѣненіе. Недавно массы провожали въ могилу одного изъ народниковъ, адвоката Лицинія Макра, горячаго, нервнаго, раздражительнаго пессимиста, кончившаго самоубійствомъ. Лициній неустанно совѣтовалъ народу римскому не отдавать больше жертвъ всепожирающему богу войны; граждане должны отказываться систематически отъ военной службы и этимъ способомъ заставить, наконецъ, господъ правителей въ сенатѣ заняться внутренними дѣлами, приняться за помощь бѣднымъ и безработнымъ, за надѣленіе земель разоренныхъ крестьянъ.

Безвременно погибшаго Лицинія стараются замѣнить люди болѣе молодого поколѣнія. Вотъ толпа встрѣчаетъ аплодисментами высокую фигуру Кая Юлія Цезаря. Это—патрицій старинной фамиліи, нѣсколько запоздавшій въ своей политической карьерѣ изъ-за родства съ крамольными демократами, которые сопротивлялись счастливой звѣздѣ всесильнаго перваго монарха Рима, Суллы. Цезарь возвращается въ высшемъ обществѣ, гдѣ умѣютъ въ одинъ вечеръ съ изяществомъ прожить цѣлыя состоянія, но онъ въ то же время проникнуть самой живой симпатіей къ простому народу. Въ Римѣ Цезарь одинъ изъ самыхъ сильныхъ проповѣдниковъ новаго евангелія бѣдныхъ. Литературно образованные люди увѣряютъ, что его соціализмъ—чисто ученый и вычитанъ у греческихъ революціонеровъ; но рѣчи Цезаря такъ просты, что, кажется, какъ будто онъ подслушалъ ихъ съ голоса самаго народа.

«Кто истинный обладатель неизмѣримыхъ богатствъ, притекающихъ въ Римъ со всего свѣта?—спрашиваетъ Цезарь.—Кто настоящій завоеватель міра? Что могли бы

сдѣлать блестящіе императоры и разодѣтые столичные офицеры, если бы не безконечно трудная работа солдата? А вѣдь солдатъ выходитъ изъ среды земледѣльцевъ; армія, это—крестьянство Италіи. Если же истинный владѣтель огромнаго достоянія—трудовой народъ, онъ долженъ получить все пріобрѣтенное, всю прибыль полностью на положенныя имъ траты и жертвы. Но бѣдному нужны не жемчуги и не золотые слитки, запрятанные въ ризницы храмовъ, ему нужна земля и домъ. Мыслимо ли, чтобы кормильцы великаго государства, чтобы создатели его силы, которые провели полжизни въ переходахъ и сто разъ глядѣли въ глаза смерти, были лишены обезпеченія своей старости?—Крестьянинъ, который самъ пашетъ, знаетъ хорошо, сколько земли ему нужно. Всѣмъ слѣдуетъ дать земли поровну».

«Въ старину люди умѣли сообща работать и поровну дѣлиться, да и теперь у дикарей нѣтъ страшной пропасти между богатыми и бѣдными, и всѣмъ хватаетъ земли. Но если такъ заботятся о равенствѣ достатка люди, близкіе къ животнымъ, не сознавшіе еще справедливости, то неужели великій народъ, дающій законъ всему свѣту, народъ римскій, такъ высоко поднявшій свободу и достоинство человѣка, не сможетъ сбросить злыя послѣдствія неправды, насилія и обмана, создавшихъ неравенство?»

Съ горящими глазами, не проронивъ ни одного слова, слушалъ Цезаря Децій, крестьянинъ, пѣшкомъ прошедшій по Апеннинскимъ тропинкамъ съ далекаго сѣвера. Онъ давно уже въ Римѣ; въ свое время онъ явился жаловаться на малоземелье, заявить о великой нуждѣ своей общины и ходатайствовать о новыхъ надѣлахъ. Но пока, потерявшись въ громадномъ городѣ, Децій долженъ былъ пристроиться носильщикомъ въ гавани, у большихъ скла-



довъ, гдѣ разгружаются корабли, входящіе въ Тибръ съ моря. Званіе римскаго гражданина спасаетъ его отъ голода: предъявивши билетъ, онъ получитъ въ толпѣ другихъ просителей, осаждающихъ амбары имени Гракха, мѣшокъ муки, который придется поберечь и распредѣлить на цѣлый мѣсяцъ.

Вотъ рядомъ съ Цезаремъ другой социалистъ, выступающій съ обширнымъ проектомъ націонализаціи земли, молодой трибунъ Сервилій Руллъ. Это нѣсколько угловатый человѣкъ кабинетнаго, теоретическаго образованія, еще недавно бывшій студентомъ одной изъ греческихъ высшихъ школъ на Востокѣ. Онъ сильно волнуется, поднимаясь на кафедру; онъ чувствуетъ всю громадность взятой на себя задачи—обратить въ практическія предложенія великій идеалъ социальной справедливости. Онъ долго готовился къ главной своей рѣчи; въ поздніе ночные часы онъ перечитывалъ драгоцѣннѣйшую книгу демократической партіи, рѣчи и обращенія къ народу двухъ великихъ трибуновъ, братьевъ Гракховъ. Сервилій Руллъ развертываетъ широкую картину.

«Народъ римскій долженъ проснуться изъ своего оцѣпенѣнія. Пусть онъ призоветъ когда-нибудь къ отвѣту своихъ императоровъ. На театръ войны слѣдуетъ отправить народныхъ комиссаровъ, и Помпей долженъ имъ дать отчетъ въ громадной добычѣ, взятой въ столицахъ восточныхъ державъ. Рудники, лѣса, парки финиковыхъ пальмъ, виноградники, бальзамные сады, всѣ бывшія имѣнія князей и царьковъ должны пойти на продажу. Составится національный фондъ. Народъ не долженъ выпускать изъ своихъ рукъ управленіе этой новой казной. Не надо принимать услугъ важныхъ сенаторовъ, богатыхъ обладателей виллъ, которые сами стали какими-то вла-

дѣтельными особами, держать по нѣскольکو тысячъ рабовъ и не знаютъ счета своихъ десятинъ. Надо выбрать изъ популяровъ комиссію народнаго землеустройства: имѣя въ распоряженіи огромный непреодолимый капиталъ, комиссія устранить съ рынка всѣхъ конкурентовъ и закупить массу земли, которую и нарѣжетъ бѣднымъ и малоземельнымъ».

Къ концу рѣчи Сервилій Рулла освободился отъ волненія и невольно перешелъ въ горячій, проповѣдническій тонъ. «Пусть кончатся всѣ эти походы, сдѣлавшіе ненавистнымъ на свѣтѣ римское имя; вернемъ самостоятельность покореннымъ націямъ и соединимся съ ними въ великомъ мирномъ союзѣ».

Сервилія Рулла заставляютъ на другой и на третій день повторить весь планъ реформы въ подробностяхъ. Онъ долженъ отвѣчать на самые разнообразные вопросы. Слушатели прерываютъ постоянно, все время сыплются ядовитыя замѣчанія. Римская толпа очень воспріимчива, отлично вникаетъ, быстро схватываетъ, она находчива и остроумна. Да это и не толпа, не случайное сборище. Замѣтно выдѣляются костюмомъ, повадкой союзы ремесленниковъ и рабочихъ. Вотъ группа кузнецовъ и оружейниковъ; у нихъ свои значки, своя касса; они составляютъ клубъ и часто собираются вмѣстѣ, чтобы столкнуться, какъ вести себя при такихъ-то выборахъ и голосованіяхъ. Они твердо знаютъ хартію вольностей римскаго народа. Хорошо помнятъ они параграфъ о личной неприкосновенности, который гласитъ такъ: «римскій гражданинъ свободенъ отъ тѣлеснаго наказанія; всякій, кто подвергнетъ римскаго гражданина ударамъ, пыткамъ или смерти, будь это высшій сановникъ, подлежитъ самъ смерти».



Денежная аристократія Рима сильно встревожена предложеніями народниковъ. Чѣмъ хорошимъ для царей биржи окончится эта агитація въ пользу великаго раздѣла земли, этотъ призывъ къ освобожденію покоренныхъ окраинъ?

Опасность очень велика, и высокофинансовый міръ Рима спѣшитъ выставить противъ Рулла лучшаго оратора столицы, Марка Туллія Цицерона. Этому уроженцу глухого городка, адвокату по профессіи, необыкновенно повезло. Онъ уже достигъ высшей должности консула, т.-е. сталъ главою исполнительной власти и предсѣдателемъ сената, и обязанъ этимъ исключительно своему таланту. Римскіе суды, гдѣ онъ создалъ себѣ извѣстность, представляютъ очень трудную арену: они открыты для широкой гласности; государственныхъ прокуроровъ нѣтъ, обвиненіе и защита одинаково составляютъ дѣло частныхъ лицъ; только люди очень находчивые, неутомимые въ дебатахъ, выдерживаютъ эту карьеру и пробиваются впередъ.

Цицеронъ безконечно изобрѣтателенъ на яркіе, ослѣпительные обороты рѣчи. Его слова надолго врѣзаются въ память. Всѣ знаютъ фразу изъ одного знаменитаго процесса: «мы забыли смертные приговоры; они закрыты для насъ не только туманомъ сѣдой старины, но и свѣтомъ свободы». Правда, соперники Цицерона смѣются надъ азіатской пышностью его изложенія, когда безъ счета переливаются избыточные сравненія и эпитеты. Но это и не самое цѣнное его качество. Онъ—великій мастеръ чисто римскаго искусства отвѣчать на всѣ перерывы, откликаться на личные нападки, онъ легко импровизируетъ ѣдкій отвѣтъ противнику, умѣетъ высмѣять врага на-смерть, уничтожить въ одномъ засѣданіи репутацію человѣка.

Отвѣчая народнической партіи, Цицеронъ юмористически изображаетъ, какъ Сервилій Руллъ, безвѣстный молодой человѣкъ, поѣдетъ комиссаромъ въ Азію и вызоветъ властнымъ приказомъ самого непобѣдимаго фельдмаршала, Помпея, безотлагательно пріѣхать въ точный день и часъ въ свою канцелярію. Конечно, генералъ почтительно явится и отдастъ все до копейки, что онъ забралъ въ походахъ, осадахъ и конфискаціяхъ. Зоркимъ глазомъ привычнаго оратора Цицеронъ замѣчаетъ, что среди собравшихся преобладаютъ горожане, у которыхъ нѣтъ представленія о земельныхъ угодьяхъ Италіи и провинцій. «Смотрите, граждане, кажется, молодой трибунъ хочетъ васъ наградить изъ всякихъ болотъ, полныхъ отравъ и міазмовъ, или высохшихъ пустырей раскаленной земли, не дающихъ расти ни одной былинкѣ!» Въ заключеніе рѣчи Цицеронъ говоритъ увлекательно о величіи римской колониальной державы, о блескѣ столицы, созданной завоеваніями. «Неужели, граждане, вы откажетесь отъ этого солнечнаго свѣта республики и броситесь переселяться въ какія-то неизвѣстныя дали?»

Предстоятъ еще рѣчи, еще дебаты, еще голосованія въ клубахъ, прежде чѣмъ верховный народъ въ торжественномъ собраніи выскажется о судьбѣ имперіи и о великомъ раздѣлѣ земли. Мы видѣли Римъ въ минуту сильнаго напряженія, когда ни одинъ человѣкъ не оставался чуждымъ общественнымъ дѣламъ.

## II.

Посмотримъ тотъ же Римъ столѣтіе спустя. На первый взглядъ, культуры больше, техника всюду торжествуетъ. Нѣтъ больше темныхъ, извилистыхъ, грязнова-



тыхъ переулковъ вокругъ форумъ. Городъ перерѣзанъ широкими аллеями и проспектами. Мрачный ржавый кирпичъ спрятался въ предмѣстья; всюду блещутъ на солнцѣ ослѣпительно бѣлые мраморные фасады общественныхъ зданій и дворцовъ, и видъ на нихъ не загороженъ безобразнымъ сосѣдствомъ казармъ съ мелкими квартирами.

Больше всего настроили Цезари. Еще первый Цезарь, въ молодости радикалъ и социалистъ, въ послѣдствіи геніальный стратегъ и крупнѣйшій колоніальный завоеватель, наконецъ, послѣ истребительной гражданской войны, обоготворенный неограниченный повелитель Рима,—еще первый Цезарь хотѣлъ усладить римлянамъ потерю политической вольности праздниками, увеселеніями, раздачами. О томъ же самомъ усердно хлопотали его преемники, обратившіе его имя въ сіяющій титулъ своей власти. У народа есть теперь правильный публичный органъ, сообщающій вѣсти со всего свѣта, нѣчто въ родѣ официальной газеты, подъ громкимъ названіемъ «Ежедневныя дѣянія народа римскаго». Есть великолѣпное крытое помѣщеніе для народныхъ собраній, народный дворецъ имени божественнаго Юлія.

Бѣда только въ томъ, что теперь нечего голосовать и некого выбирать. Консуловъ и трибуновъ назначаютъ по предварительному уговору государя и сената. Народъ собираютъ только для того, чтобы объявить ихъ имена; толпа можетъ доставить себѣ удовольствіе поаплодировать или пошикать, но она не знаетъ напередъ, какого кандидата преподнесутъ изъ таинственной канцеляріи, гдѣ раздаются награды и отличія. О дебатахъ совсѣмъ забыли: законы объ устройствѣ земли, объ управленіи огромными имѣніями народа римскаго давно не отдаются на разсмотрѣніе самого народа: министры императорскаго двора

входятъ въ соглашеніе съ сенатомъ, обсуждаютъ въ закрытыхъ засѣданіяхъ и пишутъ рѣшеніе. Когда законъ готовъ и уже вступилъ въ силу, на самомъ видномъ мѣстѣ площади появляется его текстъ, гравированный на какомъ-нибудь вѣчномъ матеріалѣ, на мѣди или камнѣ, во всеобщее свѣдѣніе.

Есть еще совсѣмъ новый видъ законовъ, которые показались бы стариннымъ римлянамъ оскорбительной выдумкой раболѣпной Азіи: это—приказы Цезаря или распоряженія его намѣстниковъ и чиновниковъ. Въ Римѣ всего виднѣе приказы по городу городского префекта. Его постоянно можно встрѣтить разъѣзжающимъ въ сопровожденіи патруля какихъ-то звѣрскихъ инородческихъ лицъ. Онъ не терпитъ никакихъ скопищъ. Вчера городской префектъ разбиралъ дѣло о незаконныхъ собраніяхъ на Авентинскомъ холмѣ; присудилъ 50 человѣкъ къ высылкѣ изъ города и 40 къ отдачѣ въ каторжныя работы; послѣднихъ повезутъ въ цѣпяхъ и отдадутъ въ эргастуль помѣщику, который уже давно входилъ съ прошеніемъ дать ему даровыхъ рабочихъ для сбора винограда. Сегодня префектъ будетъ судить только что арестованнаго молодого поэта-провинціала, который въ пламенныхъ стихахъ изобразилъ гибель послѣдняго республиканца, Брута, и пытался прочитатъ свою поэму передъ публикой, выходявшей изъ храма Кастора и Поллукса на форумѣ.

Политическіе клубы и кружки строжайше запрещены. Власти легализуютъ только похоронныя и пенсіонныя кассы, позволяютъ собираться только на кружковые пикники и обѣды. Одинъ видъ союзовъ особенно рекомендуется римлянамъ. Въ каждомъ участкѣ города обыватели, надѣвши свои парадныя платья, соединившись вокругъ своего почетнаго старосты, могутъ собираться для чествова-



нія цезаревыхъ дней: занятіе ихъ въ томъ, чтобы развѣшать украшенія, ленты, гирлянды и флаги на домахъ и особенно у статуи императора, пропѣть гимны и закончить торжественный день общимъ обѣдомъ съ поздравительными тостами. Староста, такъ наз. магистръ,—лицо официальное; онъ надѣваетъ особый мундиръ и отвѣчаетъ за спокойствіе собравшихся на праздникъ.

По временамъ Цезарь справляетъ великій день своего царствованія. Тогда приглашаютъ всѣ легализованные союзы, всѣхъ обывателей съ ихъ старостами. Предстоитъ большое всенародное молебствіе, народное представленіе въ театрѣ и циркѣ, большой обѣдъ, раздача денегъ, хлѣба, плащей. Цезарь любитъ, чтобы официальные истолкователи его воли объясняли смыслъ торжественнаго дня. Вотъ что говоритъ праздничный гимнъ, сочиненный придворнымъ стихотворцемъ. Небесныя силы послали на землю много несчастій и тяжелыхъ испытаній за грѣхи рода человеческого; но страданія людей искупили имъ миръ и прощеніе, и небо шлетъ теперь великаго примирителя. Въ Цезарѣ воплощенъ и вѣстникъ небесъ, и онъ самъ—богъ, спаситель міра. Его приказы—божьи письма и посланія; онъ несетъ евангелія, благія вѣсти свыше. Во всѣхъ городахъ имперіи выставляются памятные доски, на которыхъ написано: «день рожденія нашего бога (т.-е. Цезаря) есть для всего міра начало евангелія, его ради людямъ открывшагося». Новый богъ—не только общій родоначальникъ новаго вѣка благоденствія; мало того, каждое его новое пришествіе, по-гречески «парусія», напр., его въѣздъ въ городъ, приноситъ новое счастье людямъ.

По всѣмъ городамъ имперіи новому богу курятся өи-міамы, и возносятся молитвы іереи и архіереи. Въ Римѣ императоръ еще стѣсняется, соблюдаетъ нѣкоторую по-

казную простоту. Всюду красуется старый республиканскій гербъ S. P. Q. R., т.-е. сенатъ и народъ римскій. Императоръ долженъ являться въ среду народа на большіе бѣга въ циркѣ, долженъ выбирать себѣ партію наравнѣ съ простыми обывателями, надѣвать значокъ синихъ или зеленыхъ. Но это—пустые комплименты; они только образуютъ мишуру блистательнаго рабства.

Еще одна черта у этихъ политически стертыхъ людей. Римляне пристрастились къ спиритизму. Есть кружки, занимающіеся общеніемъ съ потустороннимъ міромъ. Есть подробныя описанія привидѣній, цѣлыя руководства съ указаніемъ пріемовъ, какъ отгонять духовъ или какъ пользоваться ихъ услугами. Только и слышны разговоры о магическихъ средствахъ противъ всѣхъ болѣзней, противъ лихорадки, меланхоліи, противъ дурного глаза, противъ страха смерти; жадно добиваются узнать таинственное имя могучаго волшебника, именемъ котораго можно избавляться отъ бѣсовъ, мучающихъ человѣка. Большой успѣхъ имѣютъ магнетизеры, чудотворы и утѣшители, отыскивающіе психически возбужденныхъ и нервно разстроенныхъ людей. Вотъ рѣчистый ловкій сиріецъ устроился въ качествѣ духовника при важномъ магнатѣ. Сенаторъ проводитъ съ нимъ цѣлые вечера, заставляетъ вызывать тѣни всѣхъ извѣстныхъ волшебниковъ и святыхъ: онъ пострадалъ отъ немилости Цезаря и готовъ идти на союзъ съ бѣсами, чтобы вернуть расположеніе властителя. По улицамъ среди простого народа ходятъ проповѣдники въ темныхъ рясахъ, подпоясанныхъ веревкой, босые, съ мѣшкомъ за спиной; они шепчутъ молитвы, причитаютъ и плачутъ и взываютъ къ покаянію.

Гдѣ же теперь старые римляне, гдѣ эта стальная непреклонная гордая раса, куда дѣвался тотъ благородный



видъ рода человѣческаго, который не можетъ жить внѣ атмосферы свободы и независимаго достоинства?

Римляне—все тѣ же несравненные техники, стратеги, инженеры, архитекторы, изслѣдователи. Несокрушимыми каменными полосами до сихъ поръ лежатъ ихъ дороги. Чуть не до сердца центральной Аѳрики можно найти слѣды экспедицій неутомимыхъ искателей, настоящихъ предшественниковъ Стэнли и Ливингстона. Но во что обратился народъ, двѣсти лѣтъ выславшій непобѣдимые легионы на западъ и на востокъ?—Италія бѣднѣла людьми, а въ колоніяхъ на окраинахъ появлялась новая раса чиновниковъ, чуждыхъ мѣстной жизни, высокомерныхъ и недоступныхъ, по старой привычкѣ отличныхъ счетчиковъ и бухгалтеровъ, но въ то же время жадныхъ, безжалостныхъ вымогателей. Римлянинъ становится синонимомъ бюрократа. Громкозвучная роль замирителей всего свѣта раздробилась на мелочныя притязанія податныхъ инспекторовъ, офицеровъ охранной стражи, таможенныхъ смотрителей.

Нація, какъ живая сила, кончилась, замолкла вмѣстѣ со своими шумными собраніями. Остался ея внѣшній обликъ, какъ высохшее дерево со всѣми вѣтвями; но обмѣна крови, круговорота жизненныхъ силъ нѣтъ. И этотъ тяжелый, окаменѣвшій колоссъ давитъ, какъ мертвецъ, то живое, что ему досталось подъ власть. Онъ задавилъ и то великое освободительное движеніе, которое поднималось на Востокѣ.

### III.

Послѣ Помпея римляне не разъ вступали на священную почву Іерусалима. Нѣсколько разъ водружали на вратахъ великаго храма золотыхъ орловъ, знакъ римскаго господства. Трудно нарисовать себѣ то впечатлѣніе, которое

производило это символическое дѣйствіе на энергичный народъ, охваченный въ это время настоящимъ пламенемъ политическаго воскресенія.

Громадный храмъ съ его множествомъ портиковъ, колоннадъ, съ обширными дворами, которые были загорожены тройными высокими крѣпостными стѣнами, былъ не только средоточіемъ богомольцевъ, прибывавшихъ постоянно со всѣхъ концовъ свѣта, какъ Римъ въ средніе вѣка, какъ нынѣшняя Мекка. Нѣтъ, это была также неприступная крѣпость-твердыня, градъ Божій на землѣ; около него вращались всѣ мысли патріотовъ, мечтавшихъ о возрожденіи страны, и къ нему въ дѣйствительности устремлялись борцы освободительнаго движенія, чтобы занять крѣпкую опору и начать отсюда соединеніе разсѣяннаго народа.

Здѣсь, въ этихъ залахъ, дворахъ и переходахъ храма, передавались съ лихорадочнымъ интересомъ вѣсти о новомъ возстаніи неутомимаго героя Іуды Галилеянина съ его дружиной. Уже разъ осужденные, отовсюду изгнанные, они опять появились въ неприступныхъ горныхъ гнѣздахъ и ущельяхъ Галилеи и Заіорданья. Эти палестинскіе гарибальдійцы передавали изъ рода въ родъ заклятье непримиримой борьбы противъ Рима. Ни одинъ изъ сыновей и внуковъ Іуды Галилеянина не умеръ своей смертью: одни погибли на крестѣ, другіе въ битвѣ, третьи покончили самоубійствомъ, чтобы не достаться живьемъ врагу. Они провозглашали Божье царство, т.-е. независимость республиканской Іудеи. Когда приходила вѣсть о новомъ движеніи, собравшіеся у храма спрашивали: не находится ли среди возставшихъ Мессія, давно желанный избавитель народа?

На томъ же храмовомъ дворѣ съ замираніемъ сердца,



съ болью передавали и другія вѣсти; вчера римляне казнили святого человѣка и въ насмѣшку прибили къ кресту вывѣску: «царь іудейскій».

Завоеватели очень хорошо видѣли, что храмъ открываетъ просторъ для большихъ митинговъ, для распространенія воззваній къ народу, для выступленія пророковъ, т.-е. политическихъ поэтовъ и ораторовъ, для большихъ религіозно-національных демонстрацій; и римляне сдѣлали все, что могло довести характерную мысль и вѣру народа до величайшей степени остраго напряженія.

Римскій гарнизонъ былъ помѣщенъ въ непосредственномъ сосѣдствѣ съ храмомъ. На сѣверъ отъ храмовой горы высилась другая, гдѣ другъ римлянъ, Иродъ Великій, построилъ себѣ дворецъ, назвавши его, въ честь римскаго покровителя своего, Антоніей. Эта Антонія была обращена въ римскія казармы. Широкіе сходы, двѣ большія лѣстницы спускались къ храмовому двору съ нависшей надъ нимъ Антоніи. Солдаты могли во всякую минуту сбѣжать внизъ, сплоченными рядами врѣзаться въ толпу и разсѣять всякое сборище. Въ большіе праздники эта зависимость отъ завоевателей, этотъ наглядный плѣнъ іудейскаго народа чувствовался особенно тяжело. Сойдясь на свое великое національное торжество, настроенныя на политическій тонъ по преимуществу, массы видѣли въ двухъ шагахъ римскія пики, чувствовали себя подъ угрожающимъ взоромъ поработителя. Трудно представить себѣ болѣе рѣзкое прикосновеніе къ тому органу народной жизни, гдѣ всего сильнѣе билось ея сознанье.

Не даромъ такъ настойчиво повторяется одинъ мотивъ во всѣхъ фантазіяхъ и планахъ народныхъ возстаній: вдохновенный вождь зоветъ борцовъ въ пустыню; тамъ, на границѣ должны собраться освободительныя дружины.

идти на Іерусалимъ, штурмовать стѣны, если онѣ сами не упадутъ чудомъ, и истребить римскій гарнизонъ, стоящій въ святомъ мѣстѣ.

И въ дѣйствительности, въ теченіе двухсотъ лѣтъ отъ вступленія Помпея въ Святое Святыхъ до императора Адріана, который стеръ съ лица земли всѣ камни и само имя Іерусалима, самыя страшныя битвы кипѣли около Сіонской горы.

Завоеватель хорошо понималъ смыслъ захвата и уничтоженія этихъ символовъ. Знакомъ великаго разгрома самобытнаго іудейства въ 70 году послѣ Р. Х. до сихъ поръ стоитъ въ Римѣ тріумфальная арка Тита, одинъ изъ самыхъ красивыхъ памятниковъ римскаго фोरума: на немъ побѣдитель отчетливо изобразилъ драгоцѣнную добычу, унесенную навсегда изъ разрушеннаго храма. Это—золотой семирукій свѣтильникъ, который римляне отдали въ новую церковь, построенную божеству Замиренія. Вы видите, что римляне знали страшную двусмысленность этого выраженія, проклятую игру словомъ, которое можетъ означать и отдыхъ освобожденнаго, и покой кладбища, и молчаніе замурованнаго.

Но неудержимое влеченіе возстановить старый градъ Божій повторилось еще разъ. Среди полной, повидимому, безнадежности собрались патріоты въ Палестинѣ, 60 лѣтъ спустя послѣ гибели Іерусалима. Во главѣ ихъ сталъ какой-то замѣчательный организаторъ, настоящее имя котораго даже не дошло до насъ; онъ остается въ исторіи со своимъ популярнымъ прозваніемъ Бар-Кохебы, сына звѣздъ, прозваніемъ, отразившимъ въ себѣ сверкнувшія снова надежды народа. Когда поднялось это послѣднее возстаніе, при императорѣ Адріанѣ, эмигранты опять искали опоры на священной горѣ у обломковъ сгорѣвшаго



града Божія. Здѣсь въ новой импровизированной крѣпости Бар-Кохеба, можетъ быть, потомокъ Іуды Галилеянина, чеканилъ монеты возрожденной республики съ надписью: «Свобода Іудеи».

Но и этого Мессію сломилъ военно-бюрократическій колоссъ Рима. За большой истребительной катастрофой слѣдовало злое размельченное мщеніе; всюду разыскивали потомковъ Давида, потому что изъ этого рода долженъ, по вѣрованію народа, возстать избавитель и основатель справедливой освобожденной общины. Осудить на смерть Давидова потомка, т.-е. просто іудейскаго патріота, всякаго прикосновеннаго къ вѣрѣ въ освобожденіе—таковъ былъ самый характерный розыскъ со стороны властей, напуганныхъ грознымъ движеніемъ.

#### IV.

Но теперь, по крайней мѣрѣ, можно было открыть храмъ богини Замиренія. Теперь безъ остатка была истреблена та безпокойная раса людей, которая вмѣсто сытости и отдыха ищетъ еще какихъ-то цѣлей жизни? Теперь опять всѣ непрекословно будутъ платить подати Кесарю, кланяться его статуѣ и почтительно дрожать передъ всякимъ его отраженіемъ въ лицѣ любого римскаго бюрократа? Наступили какіе-то тяжелые, глубокіе сумерки, и тѣни сгущаются все больше. Но все-таки свѣтъ не погасъ совсѣмъ, и нѣтъ полного торжества побѣдителя.

Правда, не осталось никакихъ слѣдовъ объединяющаго символа на святой горѣ, нѣтъ въ живыхъ потомства отважныхъ предшественниковъ и предвѣстниковъ Мессіи. А между тѣмъ гдѣ-то живутъ и распространяются рѣчи о новомъ градѣ Божіемъ, о государствѣ и обществѣ буду-

щаго. И слово Мессія не исчезло: оно переведено по-гречески: «Христосъ», и распространяется среди людей другой рѣчи, захватило еще одну большую націю. И даже въ самомъ Римѣ есть кружки, враждебные существующему государству, которые ожидаютъ какого-то великаго дня и часа общаго избавленія.

Кружки эти при всемъ стараніи римскихъ властей обнаружить ихъ существованіе, узнать ихъ уставы, списки ихъ членовъ, остаются неуловимы. Вѣдь нельзя же преслѣдовать всѣмъ разрѣшенныя вечернія общія трапезы? Вѣдь не стоитъ вести войну съ похоронными кассами, да и какая опасность отъ почитанія умершихъ и украшенія ихъ могилъ?

Къ счастью для римскихъ инквизиторовъ, есть несдержанные люди, есть откровенные поступки, сразу обнаруживающіе опасную секту и ея убѣжденія. Цѣлый рядъ лицъ отказывается идти въ военную службу; есть случаи отказа принести присягу вѣрноподданства при вступленіи въ должность, и это вдругъ сдѣлаетъ не какой-нибудь Каллистъ или Поликарпъ, одно имя которыхъ показываетъ, что они инородцы, нѣтъ—настоящій римлянинъ старинной фамиліи, Ацилій Глабріонъ. Въ Цезаревъ день, въ день воскресенія Спасителя міра, блистательнаго Сотера и Сальватора, на нѣкоторыхъ домахъ нѣтъ цвѣтовъ, гирляндъ и флаговъ. Наконецъ, по временамъ арестуютъ молодыхъ людей, дерзнувшихъ на враждебную манифестацію передъ самымъ престоломъ живого бога, передъ статуей императора.

И вотъ что говорятъ эти преступники на судѣ, напр., Сперать изъ Сцилли въ Нумидіи, должно быть, мавръ, научившійся говорить по-латыни: «не признаю я нынѣ существующей державы, я знаю лишь моего владыку, го-



сударя государей, императора всѣхъ народовъ». — За этимъ отвѣтомъ, сохраненнымъ въ житіи мученика, мы можемъ представить себѣ продолженіе. «Имя твоего государя?» — спрашиваютъ судьи. Но обвиняемый не говоритъ имени. Имя неизвѣстно, какъ у Баръ-Кохебы, котораго умѣли, однако, назвать его вѣрные друзья. Никто не скажетъ также, когда будетъ парусія, пришествіе истиннаго народнаго вождя, но инквизиторъ слышитъ знакомое прозваніе, и оно звучитъ кличемъ заглушенной, но не уничтоженной оппозиціи. «Мы его зовемъ Мессіей, Христомъ, истиннымъ Сотеромъ и Сальваторомъ», говоритъ обвиняемый. «Онъ привлечетъ всѣхъ труждающихся и обремененныхъ въ новую общину, соберетъ за своей трапезой всѣхъ бѣдныхъ и забитыхъ. Его господство будетъ осуществленіемъ правды, которой нѣтъ въ державѣ этого вѣка. Оттого въ общинѣ истинной все обернется въ противоположность порядкамъ вашего несправедливаго государства: первые, т.-е. нынѣ владыки, будутъ послѣдними, а послѣдніе, т.-е. порабощенные, будутъ первыми».

Судьба такого откровеннаго признанія Сперата очевидна: ему предстоитъ вѣнецъ мученика — смерть. Но не всѣ члены преслѣдуемыхъ кружковъ были такъ безумно отважны. Другіе, напротивъ, безъ устали ходатайствовали передъ властями о разрѣшеніи мирныхъ общинъ и союзовъ, ссылались на свое миролюбіе, на свой отказъ отъ политики и въ доказательство приводили выраженія изъ книгъ авторитетныхъ учителей своихъ, что всякая власть отъ Бога, что надо терпѣть всякаго, даже и дурного правителя, какъ божье наказаніе.

Однако, въ кружкахъ читали съ увлеченіемъ и другую книгу, которую нельзя было показать властямъ. Въ ней подъ прозрачными иносказаніями, въ пламенныхъ крас-

кахъ, на какія способна восточная фантазія, предрекалась близкая гибель развращеннаго Вавилона, царствующаго надъ всѣмъ міромъ, и возстановленіе чистаго, справедливаго града Божія. Читатель очень хорошо понималъ, о какомъ Вавилонѣ шла рѣчь. Конечно, не о полузабытомъ, разрушенномъ городѣ на Евфратѣ. Вавилонъ былъ привычнымъ словомъ, подъ которымъ разумѣли страшнаго, ненавистнаго деспота, Римъ. Ясно было также, кого разумѣютъ подъ нечестивымъ звѣремъ, поставившимъ себѣ статую и убивавшимъ тѣхъ, кто ей не кланялся.

«Придетъ великая гроза съ Востока, загрохочутъ военныя колесницы, какъ саранча и скорпіоны падутъ на страну длинноволосые наѣздники въ сверкающихъ панцыряхъ и огненныхъ шлемахъ. Ангелъ Божій высушитъ воду въ Евфратѣ и уравниетъ имъ пути; они не оставятъ камня на камнѣ въ городахъ». Такъ ждетъ прихода страшныхъ враговъ Рима оппозиція, задавленная, но не умершая. Но пусть не боятся справедливые! «Трава и поля страны, зелень деревьевъ останутся нетронуты; и тебя, божій народъ, не коснется губительная коса смерти. Страшный гнѣвъ Божій изольется на тѣхъ, кто опьянѣлъ отъ пролитой крови святыхъ и пророковъ. Рухнетъ великій городъ, погибнетъ его денежная сила, исчезнутъ его купцы-князья міра!»

Какъ бы хотѣлось римскимъ властямъ уничтожить эту книгу! Но не слѣдовало ли понимать всѣ эти метаморфозы духовно, не разумѣлся ли подъ грядущимъ царствомъ Божиимъ загробный міръ, община спасенныхъ отъ мукъ ада и введенныхъ въ райское блаженство? Римскіе инквизиторы, можетъ быть, напрасно беспокоились. Они привыкли соединять слова: «евангеліе, пришествіе, спасенье, властелинъ и благодѣтель міра и людей» съ именемъ Це-



заря. Можетъ быть, тайные кружки лишь въ невинномъ подражаніи примѣняли тѣ же слова къ безвѣстному вождю притѣсненныхъ?

Отчего не разрѣшить людямъ такіе эпитеты для области, не имѣющей, повидимому, никакого отношенія къ общественной жизни? Отчего не дать каждому простора спасти свою душу тѣмъ способомъ, какой кто находитъ лучшимъ? И это тѣмъ легче, что римляне никогда не преслѣдовали за вѣру. Да большой разницы въ вѣрованіяхъ тогда и не было между людьми разныхъ религій. Кто же сомнѣвался въ существованіи единого Бога вселенной, въ святости и чистотѣ исполнителей его воли, святыхъ и ангеловъ? Кто не признавалъ грѣховности людей и необходимости для нихъ божественной помощи, чудснаго спасенія? Нѣтъ, очевидно, розыскъ былъ не религіозный а политическій, и римскіе инквизиторы хорошо понимали, что «небесное царство, близкое пришествіе великаго избавителя, новый градъ Божій, община справедливыхъ»,—всѣ эти слова надо разумѣть въ самомъ реальномъ и непосредственномъ смыслѣ: въ нихъ надо видѣть отрицаніе существующаго порядка, приготовленіе новаго, лучшаго строя жизни.

Можно ли и вообще допустить, чтобы огромная растущая секта занята была только мыслью о загробной жизни или думала о ней больше, чѣмъ о земной? У кого возможно вообще такое настроеніе? Старые, больные люди, экстатики, тѣ, кто потерялъ половину чувствъ и мыслей, могутъ лѣчить себя мечтой о новой жизни, которую они способны будто бы еще разъ начать. За этой мечтой забывать реальную жизнь никогда не могутъ молодые, сильные и здоровые, никогда не могутъ этимъ жить цѣлыя поколѣнія, и никогда не было такой безумной и несчаст-

ной эпохи, чтобы этой мысли отдавались лучшіе люди своего времени.

Христіане первыхъ вѣковъ остались въ глазахъ послѣдующихъ поколѣній людьми идеальной силы. Это—не ошибка, которую мы повторяемъ безсознательно за прежними почитателями. Но мы не окажемъ услуги великой памяти этихъ отважныхъ, независимыхъ, стойкихъ и гордыхъ людей, этихъ мужественныхъ борцовъ за соціальную справедливость и человѣческое достоинство, если будемъ представлять ихъ блѣдными тѣнями, получеловѣками, для которыхъ окружающее было только краткій сонъ, только спѣшное приготовленіе къ путешествію въ райскія высоты.

Люди эти жили въ страшное сумеречное время, время злой общественной апатіи. Они могли переговариваться между собой лишь условнымъ языкомъ. Однако они не отчаялись, и къ намъ донеслись изъ дали временъ ихъ призывы и упованія. Пусть все закрылось потомъ чуждыми лицемѣрными, тусклыми толкованіями. Мы можемъ проникнуть сквозь туманъ и понять настроеніе тяжелаго сумеречнаго вѣка и вѣру лучшихъ его людей въ наступленіе новаго дня. Ихъ голосъ служить намъ порукой, что благородный видъ рода человѣческаго никогда не погибнетъ.

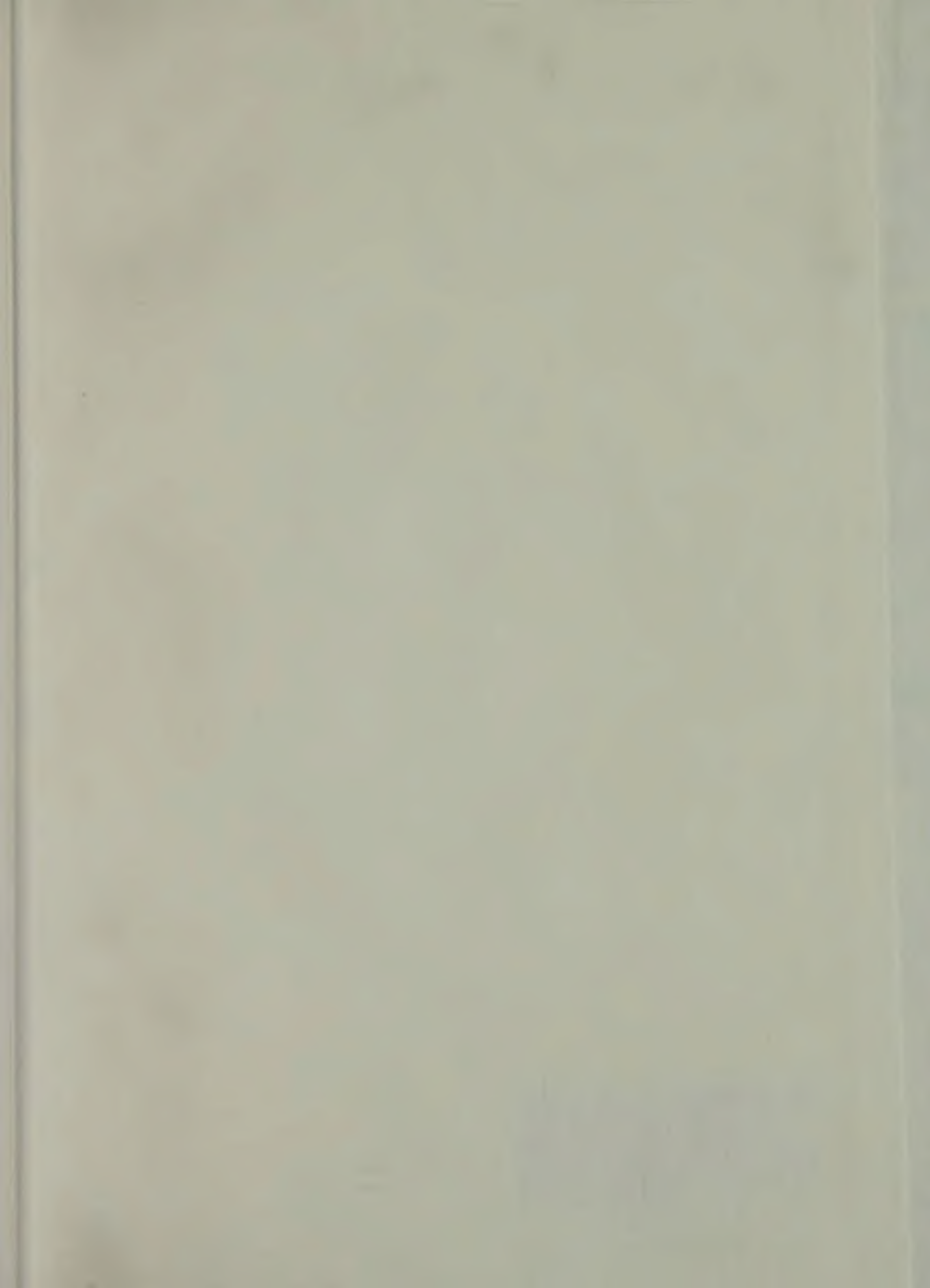




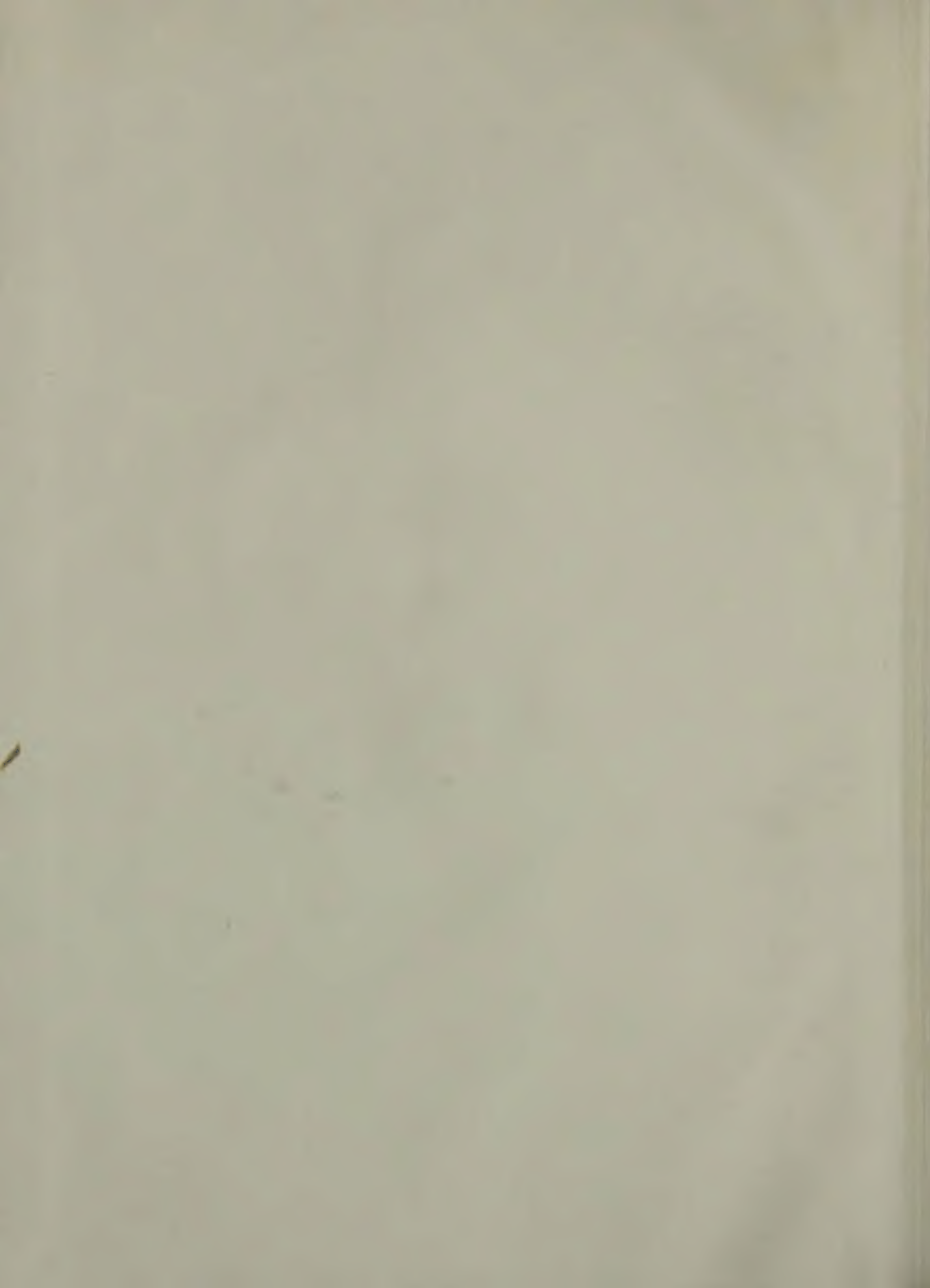














318202010

Государственная библиотека Югры



